### Долорое Клейборн

#### Стивен Кинг

Что ты сказал, Энди Биссет? Понимаю ли я свои права так, как ты их мне объяснил? Господи! Что делает некоторых мужчин такими тупыми?

Нет, не перебивай, а просто выслушай меня. Мне кажется, тебе придется слушать меня всю ночь, так что успеешь привыкнуть к моим возражениям. Конечно, я поняла все, прочитанное тобой! Неужели я выгляжу так, будто растеряла все свои мозги со времени нашей последней встречи в супермаркете? Это было в понедельник днем, если ты не забыл. Я еще сказала, что ты получишь чертей от жены за покупку вчерашнего хлеба: сохранишь копейку — потеряешь миллион, как говорит народная мудрость, — клянусь, я была права, разве не так?

Я отлично понимаю свои права, Энди: моя мама учила меня никогда не позволять себя дурачить. Но и обязанности свои я знаю, помогай мне Бог.

Все, что я скажу, может быть использовано в суде против меня, так, кажется, ты сказал? Сотри эту дурацкую ухмылку с лица, Фрэнк Пролкс. Конечно, теперь ты вон какой отчаянный полицейский, но я-то помню времена, когда ты бегал в обмоченных штанишках с такой же глупой улыбкой на мордашке. Не так уж и давно это было. Дам тебе маленький совет — когда имеешь дело с такой старой перечницей, как я, лучше прибереги усмешку для другого случая. Я же тебя насквозь вижу.

Ладно, пошутили и будет; хорошего понемножку. Я собираюсь рассказать вам такое, чего хватило бы на всех грешников в аду и что может быть использовано против меня в суде, если кто-нибудь захочет засадить меня за решетку за старые дела. Самое смешное, что живущие на нашем острове осведомлены почти обо всем, так что я всего лишь ворошу старое дерьмо, как говорил старина Нили Робишо, когда бывал в подпитии. А пьян он был постоянно, это может подтвердить любой, кто его знал.

Но все же мне нужно рассказать об одном дельце, поэтому я и пришла сюда сама. Я не убивала эту суку Веру Донован — неважно, что вы думаете по этому поводу сейчас, но я собираюсь убедить вас в этом. Я не сталкивала ее с этой проклятой лестницы. Я не буду возражать, если ты, Энди, посадишь меня за старые грехи, но мои руки не запачканы кровью этой старой мегеры. Думаю, ты поверишь мне, когда я закончу свой рассказ, Энди. Ты всегда был хорошим мальчиком и превратился в порядочного и славного мужчину. Но не слишком-то задирай нос; ты вырос таким же, как большинство мужчин, у которых всегда под рукой найдется женщина постирать им белье, вытереть нос и развернуть на 180 градусов, если вдруг они ступят на дурную дорожку.

Да, перед тем как начать, я хотела бы задать вопрос: я знаю тебя, Энди, и, конечно же, Фрэнка, но кто эта женщина с магнитофоном?

О Господи, Энди, я знаю, что это стенографистка! Разве я не говорила тебе, что мама научила меня уму-разуму? В ноябре мне стукнет шестьдесят шесть лет, но я еще не выжила из ума. Я знаю, что женщина с магнитофоном и блокнотом — стенографистка. На своем веку я столько перевидала судебных заседаний.

Как тебя зовут, милая?

Ага... и откуда же ты?

Да брось ты, Энди! Какие там у тебя еще дела нынешним вечером? Может, ты собрался подловить парочку бродяг, намывающих золото без лицензии? Твое сердце просто разорвется от такой удачи. Ха! Вот, так-то лучше.

Тебя зовут Нэнси Бэннистер, ты из Кеннебанка, а я — Долорес Клейборн и живу здесь, на острове Литл-Толл. Мы уже выяснили, что нам придется поработать на совесть, рока вы не убедитесь, что я не вру. Так что, если я буду говорить слишком быстро или слишком медленно, скажите мне, не стесняйтесь. Я хочу, чтобы вы поняли каждое слово. Начну с того, что двадцать девять лет назад, когда шеф полиции Биссет еще ходил под стол пешком, я убила своего мужа Джо Сент-Джорджа.

Мне противно вспоминать об этом, Энди. Не знаю, отчего ты так удивляешься. Ты ведь знаешь, что я убила Джо. Да и все на Литл-Толле знают. Просто ни у кого нет доказательств. Я ни за что бы не призналась перед Франком Пролксом и Нэнси Бэннистер из Кеннебанка, если бы не эта, самая ужасная выходка со стороны старой мегеры Веры Донован. В ее репертуаре их было не так уж и много, если это может хоть как-то утешить вас.

Нэнси, дорогая, подвинь этот магнитофон поближе ко мне — если уж что-то должно быть сделано, то делать это нужно хорошо. И зачем это японцы выдумали такие маленькие глупые штучки? Да, конечно... но мы-то обе знаем, что эта запись может засадить меня в женскую исправительную колонию до конца моих дней. Однако у меня нет выбора. Клянусь всеми святыми, я всегда знала, что Вера Донован погубит меня — я поняла это, как только увидела ее. Посмотри, что вытворила эта проклятая старая вешалка — что она сделала со мной. Теперь-то уж она крепко вцепилась зубами в мои кишки. Вот так и поступают с тобой богачи: если они не могут забить тебя, то тогда уж точно зацелуют до смерти.

Что?

О Господи! Я перейду к главному, Энди, если ты оставишь меня в покое! Я как раз решаю, с чего мне начать — с конца или с начала. А как насчет того, чтобы немного выпить?

Ха, плевать я хотела на твой кофе! Можешь залить себе в глотку хоть целый кофейник, а мне лучше дай стакан воды, если ты такой уж жадный, что зажал глоточек виски из бутылки, стоящей у тебя в шкафчике. Я не...

Ты имеешь в виду, откуда мне это известно? Те, кто не знают тебя так хорошо, как я, могут подумать, что ты только вчера появился на свет, Энди Биссет. Ты что же, думаешь, жители острова судачат только о том, как я убила собственного мужа? Черт побери, это старые новости. А этот напиток и сейчас находится в тебе.

Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был хорошим мальчиком, только вот на тебя было жалко смотреть, когда мать давала тебе оплеуху в церкви за поганую привычку ковырять в носу. Иногда ты так далеко засовывал палец в нос, что просто удивительно, как это ты не расковырял все свои мозги. Чего это ты краснеешь? Еще не родился такой ребенок, который бы не раздобыл немного зеленого золота из недр своей сопелки. В конце концов, ты был достаточно воспитан, чтобы не запускать руку в штаны, по крайней мере в церкви, а ведь полно таких пацанов, которые никогда...

Да, Энди, хорошо — я уже перехожу к главному.

И вот что, давайте договоримся. Я буду рассказывать не с начала и не с конца, а с середины, постепенно двигаясь в обе стороны. А если тебе это не понравится, Энди Биссет, то ты можешь записать все это на листках с пометкой «совершенно секретно» и отослать своему капеллану.

У нас с Джо было трое детей, и, когда он умер летом 1963-го, Селене было пятнадцать, Джо-младшему — тринадцать, а Малышу Питу — всего-навсего девять. Джо не оставил мне и ломаного гроша...

Мне кажется, тебе надо как-то отметить это, Нэнси. Я просто старуха с отвратительным характером, ругающаяся на чем свет стоит, но чего можно ожидать при такой паскудной жизни?

Так о чем это я? Что я говорила?

А... да. Спасибо, милочка.

Джо оставил мне только лачугу в Ист-Хед да шесть акров земли, почти заросших ежевикой и сахарным тростником, который, сколько его ни вырубай, все равно лезет наружу. Что еще? Дай-ка вспомню. Три грузовичка, но на них уже невозможно было ездить — два пикапа-подборщика и один для перевозки груза — четыре корда [Корд (мера дров) равен 3,63 кубических метра. (Здесь и далее прим. переводчика).] леса, счет от бакалейщика, счет от торговца скобяными товарами, счет из нефтяной компании, счет из похоронного бюро... А для полного счастья, еще и недели не пролежал Джо в земле, как заявился Гарри Дусетт с проклятой долговой распиской, и в ней черным по белому было написано, что Джо должен ему двадцать долларов за пари на бейсбольном матче.

Он оставил все это мне, но уж не думаете ли вы, что Джо оставил мне какую-нибудь страховку? Вот уж нет, сэр! Хотя, возможно, этот факт был благословением Господним, особенно в той ситуации. Но дело совсем в другом; сейчас я пытаюсь рассказать вам, что Джо Сент-Джордж вовсе и не был мужчиной; он был мельничным жерновом, висевшим на моей шее. Даже хуже, потому что жернов не напивается вдрызг, а потом не приходит домой, пропитанный запахом пива, да еще горя желанием кинуть пару палок поутру. Конечно, все это еще не могло стать причиной его убийства, но для начала было вполне достаточно.

Остров — не совсем подходящее место для убийства, должна я вам сказать. Всегда найдется человек, сующий нос не в свои дела, когда ты наконец-то решишься на такое. Вот почему я убила его именно тогда и именно так, но я еще доберусь до этого. Сейчас же достаточно будет сказать, что я сделала это три года спустя после гибели мужа Веры Донован в автомобильной катастрофе где-то под Балтимором — они жили в этом городе, когда не приезжали на лето в Литл-Толл. В те времена все болтики и шурупы в голове Веры Донован были еще крепко и надежно завинчены.

Видите ли, оказавшись по милости Джо абсолютно без денег, я попала в чертовски затруднительное положение — мне казалось, в мире нет более отчаявшегося и растерянного человека, чем одинокая женщина с тремя детьми на руках. Я уже подумывала о том, чтобы уложить свои манатки и попробовать устроиться в какую-нибудь бакалейную лавку в Джон-спорте или пойти работать официанткой в один из тамошних ресторанчиков, когда эта безмозглая кошка решила перебраться на наш остров и жить здесь круглый год. Многие подумали, что она тронулась умом, приняв такое решение, но я вовсе не удивилась — она и до этого много времени проводила здесь.

Парень, работавший у Веры в те дни (я не помню его имени, но ты знаешь, о ком я говорю, Энди, — тот придурок, носивший такие облегающие штаны, что выставлял всему миру на обозрение свои огромные, как бочонки, яйца), вызвал меня и сказал, что Миссус (он всегда называл ее только так: Миссус; ну разве это не глупо?) хотела бы знать, не соглашусь ли я работать у нее полный рабочий день в качестве экономки. Ну что ж, я работала у нее в летнее время с 1950 года, поэтому вполне естественно, что она сначала обратилась ко мне, а не к кому-нибудь другому, но тогда это казалось мне подарком в ответ на все мои молитвы. Я сразу же согласилась и проработала у Веры вплоть до вчерашнего утра, когда она разбила свою тупую башку о ступеньки лестницы.

Чем занимался ее муж, Энди? Кажется, он делал самолеты?

Ах, вот как. Да, я действительно слышала об этом, но ты же знаешь, как болтливы люди на острове. Наверняка я знаю только то, что они были обеспеченными людьми, очень обеспеченными, и Вера унаследовала все богатство после смерти мужа — кроме того, конечно, что забрало у нее правительство, но, я думаю, эта сумма была просто мизерной по сравнению с тем, что эта семейка задолжала казне. Майкл Донован слыл хитрой бестией, к тому же у него был желчный характер. Старый лис. И хотя никто не верил в это. Вера Донован, судя по последним десяти годам ее жизни, в хитрости и коварстве ни в чем не уступала своему мужу... хитрила она до последней минуты. Интересно, знала ли Вера, в какую пропасть ввергнет меня, если не просто умрет от сердечного приступа в своей постели, а сделает нечто другое? Я целый день просидела на шаткой лестнице в Ист-Хед, задавая себе этот... и еще тысячу других вопросов. Сначала я подумала, что нет, она не знала, потому что даже у овсянки было больше мозгов, чем у Веры Донован в последнее время, а потом я вспомнила, как она относилась к пылесосу, и подумала, возможно... вполне возможно, что она знала.

Но теперь это уже не имеет значения. Самое главное сейчас — то, что я попала из огня да в полымя, и мне необходимо защищаться, пока я еще не совсем поджарилась. Если только я еще смогу защититься.

Я начала с работы экономкой у Веры Донован, но потом стала кем-то вроде оплачиваемой компаньонки. Мне не понадобилось слишком много времени, чтобы почувствовать разницу. Как Верина экономка я должна была давиться дерьмом по восемь часов в день пять раз в неделю, а в качестве ее компаньонки мне приходилось делать то же самое двадцать четыре часа в сутки.

Первый сердечный приступ случился с Верой летом 1968-го, когда она смотрела по телевизору съезд демократов, проходивший в Чикаго. Приступ был незначительным, и Вера винила во всем сенатора Хьюберта Хамфри. «Я слишком долго смотрела на эту счастливую задницу, — говорила Вера, — от этого у меня поднялось чертово давление. Я должна была предвидеть, что к этому все и идет, но мне казалось, победить должен Никсон».

В 1975-м у Веры был более серьезный приступ, но теперь уже невозможно было обвинить в случившемся политиков. Доктор Френо сказал, что ей следует бросить курить и пить, но он мог бы и поберечь слова — такая породистая кошка, как Вера Поцелуй-Меня-в-Задницу Донован не будет прислушиваться к советам простого сельского врача, каковым был Чип Френо. «Я еще переживу его, — обычно говорила Вера, — и на его могиле выпью виски с содовой за упокой его души».

Какое-то время казалось, что именно так все и будет — он продолжал бранить ее, а Вера держалась на плаву, как лайнер «Куин Мэри». Но затем, в 1981 году, Вера наткнулась на огромный риф, а ее управляющий домом погиб в автомобильной катастрофе на материке в следующем году. Вот тогда-то я и перебралась жить к ней. Это было в октябре 1982 года.

Так ли уж это было необходимо? Не знаю. Кажется, нет. У меня было «социальное обеспечение», как называла это Хэтти Мак-Леод. Не так уж и много, но дети уже выросли. Малыш Пит предстал перед Высшим Судом — бедная заблудшая овечка, так что мне удалось скопить немного деньжат. Жизнь на острове всегда была дешевле, чем на материке. Так или иначе, но не было крайней необходимости перебираться жить к Вере.

Но к тому времени мы уже привыкли друг к другу. Мужчине это трудно понять. Мне кажется, Нэнси, с ее блокнотом, карандашами и магнитофоном, частично понимает меня, жаль, что ей здесь не дано право слова. Мы привыкли друг к другу, как привыкают к своему соседству две старые летучие мыши, висящие вниз головой в одной и той же пещере уже много лет, хотя их и нельзя назвать лучшими друзьями. Разница была невелика. Единственное, что изменилось в моей жизни, — теперь в шкафу рядом с моей рабочей одеждой висели выходные платья, потому что к концу 1982 года я проводила у Веры все дни и почти все ночи. С деньгами стало немного получше, но не настолько, чтобы внести первую плату за «кадиллак», — понятно, о чем я говорю? Ха!

Мне кажется, я сделала это в основном потому, что больше никого не было рядом с ней. У Веры был поверенный в делах по имени Гринбуш, но он жил в Нью-Йорке и не собирался приезжать на Литл-Толл, чтобы она могла орать на него из окна своей спальни, что простыни нужно вешать на шесть прищепок, а не на четыре, он не собирался убирать ее гостиную и менять ей белье, вытирая ее толстую задницу, пока она обвиняла бы его в краже десяти центов из фарфоровой копилки-свиньи и кричала, что отдаст его за это под суд. Гринбуш умыл руки; это я подтирала за ней дерьмо, выслушивала весь этот бред о простынях, пыли и фарфоровой копилке.

Ну и что из этого? Я не ждала никакой награды, мне не нужна была медаль за самоотверженность. В своей жизни я выгребла столько дерьма, а еще больше выслушала (не забывайте — как-никак я была замужем за Джо Сент-Джорджем почти шестнадцать лет), но я же не стала от этого рахитичкой. Мне кажется, я прилепилась к ней потому, что у нее больше никого не было; ей пришлось выбирать между мной и домом для престарелых. Дети никогда не проведывали ее, и мне было жалко Веру именно по этой причине. Я вовсе не ждала, что они будут активно вмешиваться в ее жизнь, помогать и ухаживать за ней, но я не видела причин, почему бы им не забыть старую ссору, чем бы это там ни было, и не провести день или даже уик-энд с ней. Не сомневаюсь, Вера была заслуживающей презрения стервой, но ведь она была их матерью. К тому же она была уже стара. Конечно, теперь я знаю намного больше, чем тогда, на..

Что?

Да, это правда. Сдохнуть мне на этом месте, если я вру, как любят говорить мои внуки. Ты можешь позвонить Гринбушу, если не веришь мне. Представляю, какая появится умильная, приторно-елейная статейка в местной газете о том, как все было чудесно; когда новость вырвется наружу, именно так и будет, так бывает всегда.

Ну что ж, у меня для тебя тоже есть новость — не было ничего замечательного и чудесного. Душевный онанизм, вот что это было. Что бы здесь ни случилось, люди скажут, что я полоскала Вере мозги и она плясала под мою дудку, а потом я убила ее. Энди, мне известно это так же, как и тебе. Никакая сила ни на земле, ни на небесах не запретит людям предполагать самое ужасное, если им это нравится.

Но, черт побери, в этом нет ни единого слова правды. Я же ничего не заставляла делать Веру, да и она сделала так не потому, что любила меня или я ей нравилась. Мне кажется, она могла сделать так потому, что считала себя должницей, — Вера могла считать, что очень многим обязана мне, но не в ее правилах было сообщать кому-либо о своих решениях. Возможно, сделанное ею было выражением благодарности... не за то, что я убирала за ней дерьмо или меняла грязные простыни, а за то, что я была рядом, когда по ночам ее обступали тени прошлого, а зайчики из пыли выбирались из-под кровати. Пока ты не понимаешь этого, я знаю, но ты поймешь. Прежде чем открыть дверь и выйти из этой комнаты, я обещаю, что ты все поймешь.

Вера была стервой по трем причинам. Я знала женщин, которые имели больше причин для подобного звания, но и трех причин хватало для безумной старухи, почти полностью прикованной к инвалидной коляске и кровати. Этого было вполне достаточно для такой особы.

Первая причина стервозности заключалась в самой ее натуре. Вера просто не могла не быть стервой. Помнишь, что я говорила о прищепках? Простыни нужно было вешать на шесть прищепок, и упаси Бог использовать только четыре! Ну так вот, это только один пример.

Все должно было делаться определенным образом, уж коли ты работаешь на миссис Поцелуй-Меня-в-Задницу Веру Донован, и не приведи Господь забыть хоть одну мелочь. Она сразу же говорила, каким образом все должно было делаться, а я расскажу тебе, как все делалось. Если человек забывал о чем-то в первый раз, то знакомился с острым как лезвие язычком Веры. Забыв дважды, он лишался зарплаты за неделю. Ну а если вы умудрились забыть в третий раз, то вас увольняли, даже не выслушав извинений. Это было правилом Веры Донован, и я сразу же усвоила его. Было очень трудно, но мне казалось это нормальным. Если вам дважды сказали, что выпечку, вынув из духовки, нужно ставить только на эту полочку, а не на подоконник, чтобы она там побыстрее остыла, как частенько это делают задрипанные ирландцы, а вы так и не усвоили этого, то вряд ли вам когда-нибудь удастся запомнить это.

Три оплошности — и вы оказываетесь за дверями, вот такое было правило, исключений быть просто не могло, поэтому мне пришлось столкнуться с множеством разных людей, проработав столько лет в этом доме. Я частенько слышала, как люди говорили, что работать у Веры Донован — все равно что пройти сквозь дверь-вертушку. Можно сделать один круг или два, а некоторым удается прокрутиться даже десять, а то и двенадцать раз, но в конечном итоге все равно оказываешься на улице. Поэтому, когда я впервые устроилась к Вере на работу (это было в 1949 году), я шла туда, как в пещеру к разъяренному дракону. Но она оказалась вовсе не такой уж страшной, как о ней говорили. Если держать ухо востро, то можно было удержаться на своем месте. Мне это удавалось, так же как и придурку-управляющему. Только вот все время приходилось быть начеку, потому что она была такой пронырой и лучше разбиралась в натуре местных жителей, чем те, кто приезжал на наш остров только на летний отдых... к тому же Вера могла быть подлой. Даже в те времена, когда на нее еще не свалились другие проблемы, она была ужасно ехидной. Для нее это было своеобразным хобби.

— Что тебе здесь нужно? — спросила меня Вера, когда я пришла устраиваться на работу. — По-моему, тебе лучше сидеть дома, присматривать за ребенком и готовить вкусные обеды для «света твоих очей».

— Миссис Калем с удовольствием будет присматривать за Селеной четыре часа в день, — ответила я. — К тому же я смогу работать только неполный рабочий день, мэм.

— А мне и нужна служанка на полдня, именно так и написано в моем объявлении о найме в местной газете, если я не ошибаюсь, — моментально парировала Вера, только обнажив свой острый язычок, а не полосуя меня им, как лезвием бритвы, как это бывало впоследствии. Насколько я помню, в тот день Вера вязала. О, эта женщина вязала со скоростью света — за день она могла свободно связать целую пару носков, даже если приступала к работе после десяти утра. Но, как она говорила, для этого ей нужно было быть в настроении.

— Да, м-м-м, — ответила я, — именно так там и было сказано.

— Меня не зовут Дам-м-мм, — проворчала она, откладывая вязанье в сторону. — Меня зовут Вера Донован. Если я возьму тебя на работу, то ты будешь звать меня миссис Донован (по крайней мере, пока мы не узнаем друг друга достаточно хорошо, чтобы произвести некоторые изменения), а я буду называть тебя Долорес. Ясно?

— Да, миссис Донован, — ответила я.

— Ну что ж, неплохо для начала. А теперь ответь на мои вопросы. Что ты делаешь здесь, тогда как тебе нужно управляться по хозяйству в собственном доме, Долорес?

— Мне бы хотелось заработать немного денег на Рождество, — ответила я. Я заранее придумала такой ответ на тот случай, если она спросит. — И если вы останетесь довольны моей работой (и если мне понравится работать у вас, конечно), то, может быть, я останусь работать и дольше.

— Если тебе понравится работать у меня, — повторила Вера, закатив глаза, как будто она услышала самую непроходимую глупость в своей жизни, — как это кому-то могло не понравиться работать на великую Веру Донован? Затем она повторила еще раз.

— Деньги на Рождество. — Вера сделала паузу, внимательно разглядывая меня, а потом еще более саркастично повторила: — Деньги на P-a-a-жди-и-и-ство!

Как она и подозревала, я пришла устраиваться на работу потому, что в моем доме не было и крупинки риса [Игра слов: Christmas — Рождество и rice — рис.], к тому же мое замужество уже тогда было далеко не безоблачным, и единственное, чего она хотела, так это чтобы я вспыхнула и отвела взгляд. Тогда бы она знала наверняка. Поэтому я не покраснела и не отвела глаз, хота мне было всего лишь двадцать два, к тому же Вера попала в самую точку. Никому в мире я не призналась бы, в каком затруднительном положении я находилась, — даже под самыми ужасными пытками. Объяснение насчет того, что деньги нужны мне на Рождество, было достаточным для Веры — неважно, насколько саркастично это звучало в ее устах. Единственное, в чем я позволила себе признаться, так это в том, что с деньгами в это лето в моем доме было немного туговато. И только годы спустя я смогла признаться в настоящей причине того, почему я предстала перед ликом разъяренного дракона: мне нужно было найти способ вернуть хоть немного денег из тех, которые Джо пропивал или проигрывал в покер. В те дни я еще верила в то, что любовь женщины к мужчине и мужчины к женщине сильнее, чем пристрастие к выпивке или картам, — такая любовь, считала я, обязательно поднимается ввысь, как сливки в кувшине с молоком. Но за последующие десять лет я многое поняла. Жизнь — отличный учитель.

— Ладно, — произнесла Вера, — посмотрим, что получится, Долорес Сент-Джордж... но даже если ты и удержишься на месте, то учти: если через год я замечу, что ты снова беременна, то больше я тебя в своем доме не увижу.

Дело было в том, что уже тогда я ходила на втором месяце, но и в этом я бы ни за что не призналась. Я хотела получать десять долларов в неделю за свою работу, и я получила их, и, вы уж мне поверьте, я отработала каждый цент. В то лето работа так и горела в моих руках, и когда приблизился День Труда [Праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября.], Вера предложила мне продолжить работу и после их отъезда в Балтимор — кто-то ведь должен был поддерживать порядок в таком огромном доме, — и я согласилась.

Я работала почти до самого рождения Джо-младшего и снова приступила к работе, даже не докормив его грудью. Летом я оставляла его с Арлен Калем: Вера не потерпела бы плачущего младенца в своем доме — кто угодно, только не она, — но когда они с мужем уезжали, я приводила с собой Джо-младшего и Селену. Девочку уже вполне можно было оставлять и без присмотра. Хотя ей шел только третий годик. Селена была вполне самостоятельным ребенком. А вот Джо-младшего я брала с собой на работу каждый день. Он сделал свои первые шаги в хозяйской спальне, но, можете мне поверить, Вера даже не догадывалась об этом.

Она позвонила мне через неделю после родов (сначала я не хотела посылать ей открытку с сообщением о рождении ребенка, но потом решила, что если она подумает, будто я просто набиваюсь на подарок, то это ее проблемы), поздравила меня с рождением сына, а потом сказала то, что казалось мне настоящей причиной ее звонка, — она оставляет меня на работе. Я думаю, Вере хотелось польстить мне, и я действительно была польщена. Это был самый весомый комплимент, который только могла отвесить женщина типа Веры Донован, и для меня такая похвала значила намного больше, чем чек на двадцать пять долларов, полученный мною от Веры по почте в декабре того же года. Вера была тяжелым человеком, но честным, к тому же она всегда была настоящей хозяйкой в своем доме. Ее муж большую часть времени проводил в Балтиморе, редко бывая на острове, но даже когда он приезжал сюда, все равно сразу было понятно, кто тут главнокомандующий. Может быть, в его подчинении и находились сотни две или три помошников, бегающих перед ним «на цырлах», но на Литл-Толле хозяйкой была Вера, и когда она приказывала ему снять туфли и не тащить грязь на ее ослепительно чистый ковер, он подчинялся.

И, как я уже говорила, она все делала по-своему. Всегда и во всем! Я не знаю, откуда она почерпнула свои привычки, но зато я знаю, что она была их рабой. Если что-либо делалось иначе, чем этого хотела Вера, то у нее начинали болеть голова, или желудок, или еще что-нибудь. Вера столько времени тратила на проверку сделанной работы, что, как частенько мне казалось, для нее было бы спокойнее и лучше самой выполнять всю работу по дому.

Котелки и кастрюли нужно было чистить пастой фирмы «Спик энд Спэн» — это было одним из правил. Только «Спик энд Спэн». Не приведи Господь, если она застукает тебя за мытьем посуды другой пастой!

Когда речь шла о глажении белья, то обязательно нужно было пользоваться специальным пульверизатором, разбрызгивая жидкий крахмал на воротнички рубашек и блузок, к тому же предполагалось, что, прежде чем разбрызгать крахмал, на воротничок будет положен кусочек марли. В кусочке этой чертовой марли нет никакого смысла, а кому как не мне знать об этом, ведь я перегладила тысяч десять рубашек и блузок в ее доме, но если она войдет в гладилку и застукает тебя за глажением рубашки без этой чертовой марли или, по крайней мере, если этот кусок дерьма не будет висеть на конце гладильной доски, то помогай вам Бог!

Мусорные бачки, стоявшие в гараже, были еще одним пунктиком Веры. Бачков было шесть. Раз в неделю за отбросами приезжал Сонни Квист, и управляющий или кто-нибудь из служанок должен был отнести эти бачки обратно в гараж в ту же минуту, в ту же секунду, как только Сонни уезжал. К тому же нельзя было составить их в гараже как попало, нужно было выстроить их в ряд по два вдоль восточной стены, перевернув крышки вверх дном и прикрыв ими бачки. Если вы забудете сделать все именно так, то вам не миновать грозы.

В доме было три коврика для ног: один — перед парадным входом, второй — у двери во двор, а третий — около двери черного хода, на которой вплоть до прошлого года, когда мне настолько осточертел ее вид, что я сняла ее, висела табличка: «ВХОД ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ». Раз в неделю я должна была выносить эти коврики в конец сада и хорошенько выбивать из них пыль веником. Я действительно должна была заставить всю пыль вылететь из них. И уж тут Веру почти невозможно было провести. Конечно, она не каждый раз наблюдала за процессом выбивания ковриков, но в большинстве случаев именно так оно и было. Стоя в патио, Вера наблюдала за этим, глядя в бинокль своего мужа. К тому же после чистки ковров их нужно было уложить подобающим образом, то есть так, чтобы посетители, к какой бы двери они ни подошли, могли прочитать написанное на них изречение: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». Положи коврик неправильно, и тебе уже ничто не поможет.

Таких мелочей было неимоверное количество. В старые добрые времена, когда я еще работала приходящей горничной, можно было услышать всяческие пересуды и сплетни о Вере Донован. Их семью в пятидесятых обслуживало множество людей, но обычно громче всех поносила Веру какая-нибудь сопливая девчонка, нанятая на полставки, а потом погоревшая на какой-то мелочи, потому что забыла об одной и той же веши три раза подряд. И она еще смела тараторить каждому встречному-поперечному, что Вера подлая, грубая старая крыса, да к тому же еще и ненормальная. Возможно, Вера и была сумасшедшей, а может быть, и нет, но я скажу вам одну вещь — она никогда никого ни к чему не принуждала. Я лично так думаю: тот, кто помнит, кто с кем спит в «мыльных операх», которыми нас пичкают вечерами по телевизору, может запомнить, что посуду нужно мыть только пастой «Спик энд Спэн», а коврики следует класть подобающим образом.

Так, ну а теперь о простынях. В данном случае ошибаться было вообще нельзя. Простыни нужно было вешать очень аккуратно, используя на каждую ровно шесть прищепок. Только шесть, и ни в коем случае не четыре. А если уж ты умудрилась уронить простыню в грязь, то не было никакой нужды ждать трех предупреждений. Бельевые веревки были натянуты во дворе как раз под окном спальни Веры Донован. Год за годом она подходила к этому окну и кричала мне:

«Так, а теперь шесть прищепок, Долорес! Помни об этом! Шесть, а не четыре! Я считаю, у меня до сих пор отличное зрение!» Она...

Что, милочка?

Глупости, Энди, оставь ее в покое. Это очень естественный вопрос, но ни у одного мужчины в мире не достаточно мозгов, чтобы задать его.

Я отвечу тебе, Нэнси Бэннистер из Кеннебанка, штат Мэн — да, у Веры была сушилка. Отличная, большая сушилка, но нам запрещалось сушить в ней простыни, если только синоптики не предсказывали проливные дожди в течение пяти дней. «У порядочных людей на кровати должны лежать простыни, высушенные на улице, — говорила Вера, — потому что они приятно пахнут. От ветра, на котором они полощутся во время сушки, они вбирают столько свежести, что только от одного этого будут сниться приятные сны».

Вера во многом заблуждалась и городила чепуху, но только не о запахе свежести, исходящем от простынь; в этом я согласна с ней на все сто. Каждый может унюхать разницу между простыней, засунутой в сушилку, и простыней, которую хорошенько потрепал южный ветер. Но сколько было зимних дней, когда температура опускалась до десяти градусов, а сильный сырой ветер дул с востока, прямо с Атлантики. В такие дни я с удовольствием отказалась бы от этого запаха. Развешивать белье в такой собачий холод — просто пытка. Невозможно понять этого, пока сама не попробуешь, а уж попытавшись один раз, никогда не забудешь.

Когда несешь корзинку с бельем и выходишь на улицу, от простынь валит пар, верхние простыни такие теплые, что ты даже подумаешь (если никогда не делала этого прежде): «О, все на так уж и плохо». Но к тому времени, когда ты повесишь первую простыню, да еще на шесть прищепок, парок исчезает. Простыни все еще влажные, но теперь они уже холодные, очень. И пальцы у тебя тоже мокрые и тоже холодные. Но ты вешаешь следующую простыню, и следующую, пальцы у тебя краснеют, деревенеют, их движение замедляется, плечи начинают болеть, а рот, в котором зажаты прищепки, чтобы освободить руки, которым нужно хорошо развесить эти проклятые простыни, начинает сводить судорога, но самое ужасное — это, конечно, пальцы. Если бы они просто онемели, все было бы по-другому. Ты почти желаешь этого. Но пальцы сначала краснеют и, если простынь достаточно много, то становятся бледно-лилового цвета, как лепестки таинственной лилии. К окончанию всей процедуры руки в полном смысле этого слова превращаются в клешни. Однако самое ужасное, что ты знаешь, что случится, когда ты наконец-то вернешься в дом с пустой корзинкой и с ощущением жара, сжигающего твои руки.

Сначала пальцы начинает покапывать, потом в местах их соединения с ладонью появляется пульсация — однако чувство это настолько глубокое, что скорее напоминает плач, чем простую пульсацию; как бы мне хотелось объяснить тебе так, чтобы ты понял, Энди, но я не смогу. Похоже, Нэнси Бэннистер понимает, хотя и не совсем, потому что одно дело вывешивать белье зимой на материке, и совсем другой коленкор, когда это приходится делать на острове. Когда руки начинают согреваться, то кажется, что в них завелся целый рой разъяренных пчел. Поэтому ты растираешь их каким-нибудь кремом и ждешь, когда же пройдет зуд, к тому же ты знаешь, что абсолютно неважно, сколько втереть в руки крема или обыкновенного бараньего жира; к концу февраля кожа на руках уже настолько потрескавшаяся, что ранки начинают кровоточить, если сжать ладонь в злой кулак. А иногда, даже после того как руки отошли от холода и ты уже лежишь в кровати, тебя может разбудить плач рук, ноющих от воспоминаний о пережитой боли.

Тебе кажется, я шучу? Можешь смеяться сколько угодно, если тебе смешно, но мне что-то не хочется. Этот плач можно даже услышать — так всхлипывают малые дети, потерявшие свою мать. Звук исходит из таких глубин, а ты просто лежишь и прислушиваешься, отчетливо сознавая, что ты все равно снова выйдешь на мороз, ничто не сможет помешать этому, ведь все это женская работа, которую не может понять ни один мужчина, да он и знать не хочет об этом.

А пока ты проходишь через весь этот ад: немеющие руки, лиловые пальцы, ноющие плечи, сопли, текущие из носа и замерзающие на кончике губы, — чаще всего Вера стоит или сидит в своей спальне и взирает на все. Лоб нахмурен, губы искривлены, а руки нервно потирают одна другую — все ее существо пребывает в таком напряжении, как будто идет сложнейшая хирургическая операция, а не простое развешивание простынь для просушки на ледяном зимнем ветру. Сначала она изо всех сил пытается сдерживаться, но внутри у нее все начинает кипеть, и, не выдержав. Вера распахивает окно спальни, высовывается наружу, холодный восточный ветер откидывает ее седые волосы назад, и она вопит «Шесть прищепок! Помни, ты должна вешать на шесть прищепок! Не дай Бог ветер сдует мои новые простыни на землю! Ты попомнишь меня тогда! Тебе лучше сделать все как надо, я все вижу и считаю!»

К началу марта я уже мечтала только об одном: взять топорик и врезать им между глаз этой громкоголосой суке. Иногда я даже видела, как убиваю ее, но мне кажется, какая-то часть Веры ненавидела себя за эти крики — так же как и я вся тряслась от злости, выслушивая ее вопли.

Это было первой причиной, почему Вера была сукой, — она просто не могла удержаться от этого. Действительно, ей было даже хуже, чем мне, особенно после сердечных приступов. К тому времени стирки было уже меньше, но она все равно так же бесновалась; как и раньше, хотя большинство комнат были уже закрыты, а постельное белье убрано в шкафы.

Но самым ужасным для нее было то, что к 1985 году уже прошло то время, когда она могла удивлять и поражать людей, — к тому времени она уже полностью зависела от меня. Если я не подниму ее из кровати и не посажу в инвалидную коляску, то она так и пролежит весь день. Дело в том, что Вера сильно поправилась — со ста тридцати (столько она весила в начале шестидесятых) стала весить сто девяносто, превратившись в рыхлый, колышущийся бочонок, заплывший жиром. Многие на закате своих лет худеют, превращаясь в высохшую воблу, — кто угодно, но только не Вера Донован. Доктор Френо говорил, что это происходит потому, что ее почки отказываются выполнять положенную им работу. Наверное, так оно и было, но сколько было дней, когда я считала, что она толстеет только для того, чтобы досадить мне.

Но и это еще не все; ко всему прочему она почти ослепла. Сердечные приступы сделали свое дело. Острота зрения, которой так гордилась Вера, пропала. Правда, иногда она немного видела левым глазом и чертовски хорошо — правым, но большую часть времени, как говорила сама Вера, она смотрела как бы сквозь плотный серый тюль. Представляешь, как это сводило ее с ума, ее, которая всегда и вечно за всеми приглядывала. Несколько раз Вера даже плакала из-за этого, а ведь она была твердым орешком, ее нелегко можно было довести до слез... даже после стольких лет страдании, когда жизнь пыталась поставить ее на колени, Вера все еще оставалась сильной духом.

Что, Фрэнк? Старческий маразм?

Я не знаю этого наверняка, и это правда. Но я так не думаю. Но если это и так, то это не было похоже на старческий маразм, как это бывает у обыкновенных людей. И это я говорю вовсе не потому, что если это окажется правдой, то судья при подтверждении ее завещания сможет доказать его неправомочность. Пусть он подотрет себе задницу этой бумажкой; я хочу только одного, выбраться из всего этого дерьма, в которое Вера впутала меня. Но я все равно утверждаю, что чердак у нее не был абсолютно пуст, даже в последний момент. Может быть, несколько комнат и были сданы в наем, но нельзя было сказать, что у нее не все дома.

Я это утверждаю в основном потому, что бывали дни, когда она соображала так же хорошо, как и в молодости. Обычно в эти дни она и видела отлично, и помогала поднять себя с постели, и даже проделывала несколько шагов до кресла-каталки. Так что в такие дни Вера вовсе не напоминала мешок с пшеном. Я пересаживала ее в кресло-каталку, чтобы сменить белье на кровати, а она с удовольствием подъезжала к своему окну — тому, которое выходило в сад и с которого открывался вид на гавань. Однажды Вера сказала мне, что сошла бы с ума, если бы ей пришлось днями и ночами лежать в кровати, глядя на потолок и стены спальни, и я верю ей.

Но были, конечно, и другие дни — дни, когда она не только не узнавала меня, но и вряд ли понимала, кто она сама такая. В такие дни Вера напоминала лодку, сорвавшуюся с прикола, только вот океаном, в котором она заблудилась, было время — например, она думала, что сейчас утро 1947 года, хотя на дворе был вечер 1974-го. Но ведь были же у нее и хорошие дни. Хотя со временем их становилось все меньше и меньше, а приступы все учащались и учащались — удар, как называют их старики, — но все же были и дни просветления. Ее хорошие дни одновременно были плохими для меня, потому что тогда она проявляла всю свою паскудную сущность, если я позволяла ей делать это.

Вера была подлой. И это вторая причина, почему она была сукой. Эта женщина, если хотела, могла быть такой склочницей, что вам и не снилось. Даже прикованная к постели, закутанная в пеленки и прорезиненные трусы, она могла быть настоящей Горгоной. Кутерьма, которую создавала Вера в дни уборки, может послужить вполне наглядным примером. Она не устраивала головомойки каждую неделю, но, клянусь Богом, она слишком часто учиняла их по четвергам, чтобы это могло быть простым совпадением.

По четвергам в доме Донованов производилась генеральная уборка. У них огромный дом — невозможно по-настоящему оценить его размеры, не побывав внутри, — но большей частью дома теперь не пользуются. Дни, когда полдюжины девушек с подобранными под косынку волосами натирали полы, мыли окна, снимали паутину с потолка, давным-давно прошли. Иногда я заглядываю в эти мрачные комнаты, смотрю на зачехленную мебель и вспоминаю, как выглядел этот дом в пятидесятые, когда летом здесь устраивались вечеринки и на лужайке перед домом развешивались разноцветные японские фонарики — как я отлично помню это! — у меня мороз идет по коже. Под конец яркие краски всегда уходят из жизни, задумывались ли вы над этим когда-нибудь? Под конец все выглядит таким серым и тусклым, как заношенное платье.

Последние четыре года единственной открытой частью дома оставались кухня, главная гостиная, столовая, солярий, откуда открывался вид на бассейн и патио, и четыре спальни на втором этаже — ее, моя и две комнаты для гостей. Эти две спальни не отапливались зимой, но содержались в чистоте и порядке на тот случай, если вдруг дети приедут проведать Веру.

Даже в последние несколько лет я нанимала двух девушек из поселка помогать мне в дни уборки. Служанки менялись очень часто, но где-то с 1990 года это всегда были Шона Уиндхэм и Сюзи, сестра Фрэнка. Я не могу управиться без них, хотя до сих пор большую часть работы делаю сама и ко времени ухода девушек домой после уборки по четвергам почти валюсь с ног от усталости. Работы, однако, остается еще уйма — погладить, составить список покупок на пятницу и, конечно, приготовить ужин для Ее Милости. Как говорится, дураков работа любит.

Только перед любыми такими вещами вылазила вся ее сучья сущность.

Тело ее функционировало регулярно. Я подсовывала судно под Веру каждые три часа, и она старалась изо всех сил. В полдень в горшке, кроме мочи, оказывался твердый комочек испражнений.

В любые дни, кроме четвергов.

Не каждый раз, но по четвергам, когда Вера чувствовала себя достаточно хорошо, я могла рассчитывать на большие неприятности... и на боль в позвоночнике, из-за которой я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Даже анацин-3 не помогал. Всю свою жизнь я была здорова как лошадь, и до сих пор я здорова, но шестьдесят пять — это шестьдесят пять. И ничего с этим не поделаешь. В шесть часов утра я вытаскивала из-под Веры судно и обнаруживала там всего несколько капель вместо обычной половины содержимого этой посудины. То же самое в девять. А в полдень вместо мочи и колбаски там вообще могло ничего не оказаться. Тогда я начинала понимать, что мне предстоит вынести. Единственными днями, в которые я четко знала, к чему мне готовиться, были те, когда я не выносила мочу из-под Веры в ночь со среды на четверг.

Я вижу, что ты сдерживаешься, чтобы не рассмеяться, Энди, оставь это — смейся, если тебе смешно. Хотя лично мне было не до смеха, но теперь все закончилось, а то, о чем ты думаешь, — не что иное как правда.

Этот драный мешок сам вел счет своему дерьму, похоже было, что она копила, чтобы навалить все за один раз, — наверное, для Веры это было своеобразным развлечением... но только я должна была вечно отступать. Отступать, хотела я того или нет.

Большую часть дня в четверг я занималась тем, что носилась как угорелая вверх по лестнице, пытаясь вовремя подоспеть к ней, и иногда мне это даже удавалось. Но что бы ни происходило с ее зрением, слух у нее оставался отличным, и она знала, что я никогда не позволю ни одной девушке из поселка пылесосить ее великолепный абиссинский ковер. И когда она слышала, что я включаю пылесос в гостиной, она приподнимала свою старую, уставшую фабрику по производству дерьма и начинала платить дивиденды.

Но потом я все-таки придумала способ подстеречь ее. Я кричала одной из девушек, что решила пропылесосить в гостиной. Я кричала достаточно громко, даже если обе девушки находились рядом в столовой. Потом я включала пылесос. но вместо того, чтобы пользоваться им, поднималась по лестнице и замирала на верхней ступеньке, держась рукой за перила и напоминая преследователя бандитов, притаившегося и поджидающего свою добычу.

Пару раз я поднялась слишком быстро. Так что моя хитрость ни к чему не привела. Это было похоже на дисквалификацию бегуна за ложный старт. Нужно было ворваться тогда, когда мотор будет работать уже достаточно быстро, чтобы его можно было мгновенно остановить, но до того, как она успеет навалить в свои огромные трусы. И я преуспела в этом. Вы бы тоже наловчились, если бы знали, что вам придется поднимать стодевяностофунтовую тушу старой леди, если вы ошибетесь во времени. Похоже было, что вы имеете дело с ручной гранатой, начиненной дерьмом вместо взрывчатки.

Я поднялась наверх; Вера лежала на кровати (рот перекошен, лицо покраснело от напряжения, локти зарылись в матрас, ладони сжаты в кулаки) и стонала:

«М-м-м-ма! М-м-м-а-а-а! МММААА!»

Я вам вот что скажу: единственное, что ей было нужно, так это пара полосок свисающей с потолка клейкой бумаги, чтобы ловить мух, и каталог мод, чтобы она могла просматривать его прямо в постели.

О Нэнси, перестань прикусывать щеки — как говорят, лучше уж вынести все наружу и пережить стыд, чем держать это в себе и переносить боль. К тому же в этом есть и действительно смешная сторона; дерьмо всегда смешно. Спроси любого ребенка. Конечно, когда все уже позади, мне тоже немного смешно, а это уже кое-что, разве не так? Неважно, что я оказалась в такой тяжелой ситуации, зато Дерьмовые Четверги Веры Донован наконец-то больше не имеют ко мне никакого отношения.

Как она могла быть сумасшедшей, если слышала мое приближение? Она была такой же сумасшедшей, как медведь, забирающийся в улей за медом,

— Что ты делаешь наверху? — спрашивала меня Вера капризно-ворчливым тоном, к которому она прибегала, когда я ловила ее на горячем. — Сегодня день генеральной уборки. Долорес! Иди, занимайся своим делом! Я не звонила, и ты не нужна мне!

Но теперь я уже не боялась Веры.

— А мне кажется, я нужна тебе, — отвечала я. — Это ведь не «Шанелью №5» несет от твоей задницы, ведь так?

Иногда Вера пыталась даже ударить меня по рукам, когда я вытягивала из-под нее простыню и одеяло. Она пронзала меня взглядом, будто хотела превратить меня в камень, если я не оставлю ее в покое, нижняя губа Веры отвисала и дрожала от обиды, как у ребенка, не желающего идти в школу. Однако ничто не могло остановить меня. Кого угодно, но только не Долорес, дочь Патриции Клейборн. Я вытаскивала из-под нее простыню за три секунды, и не больше пяти секунд уходило на то, чтобы стянуть с Веры трусы, била она меня по рукам или нет. В большинстве случаев после короткого сопротивления Вера сдавалась, потому что была поймана на горячем, и мы обе знали об этом. Оснащение Веры было уже настолько старо, что процесс, набравший обороты, уже невозможно было повернуть вспять, Я подставляла под нее судно, и когда спускалась вниз, чтобы теперь уже действительно пропылесосить ковер, Вера была абсолютно пуста, к тому же — куда девался весь ее капризно-приказной тон! Вера знала, что на этот раз проиграла, а больше всего на свете она ненавидела проигрывать. Даже впав в детство, эта мадам страдала от подобных неудач.

Некоторое время все так и продолжалось, и я уже начала думать, что выиграла не только пару баталий, но и всю войну в целом. Но, по-видимому, я еще плохо знала Веру.

Подошел день уборки — это было года полтора тому назад — когда я все сделала, как всегда, и приготовилась к забегу наверх и к тому, чтобы застукать ее. Мне даже начинала в какой-то мере нравиться все это; так часто случалось и в прошлом, особенно когда у нас с ней бывали минуты перемирия. К тому же я знала, что на этот раз Вера планирует целый «торнадо» из дерьма, если, конечно, я не поспею вовремя. Все было как всегда, кроме одного: у нее был не просто день просветления, а целая неделя. Вера вела себя вполне разумно — в понедельник она даже попросила положить дощечку на ручки ее кресла, чтобы разложить парочку пасьянсов, совсем как в былые дни. Но по мере того, как наполнялся ее кишечник, настроение все больше и больше ухудшалось; а ведь она ничего не выдавливала из себя с самых выходных. Я понимала, что именно в этот четверг Вера постарается воздать мне сполна.

Когда я в полдень вытянула из-под нее судно и увидела, что оно сухое, как обглоданная кость, я сказала ей:

— Не кажется ли тебе, Вера, что ты сможешь сделать кое-что, если как следует поднатужишься?

— О Долорес, — ответила Вера, глядя на меня мутно-голубыми глазами с выражением такой невинности, которая может быть только у маленького козленка, — я и так старалась изо всех сил, мне даже стало больно. Скорее всего, у меня запор.

Я сразу же согласилась с Верой:

— Наверное, так оно и есть, и если ты не сможешь облегчиться в ближайшее время, мне придется скормить тебе целый флакончик слабительного.

— Но мне кажется, что все обойдется само собой, — возразила Вера и улыбнулась. К тому времени она была абсолютно беззубой, не могла Вера носить и протезы, если не сидела в кресле, так как могла проглотить вставные челюсти и задохнуться. Когда она улыбалась, лицо ее напоминало печеное яблоко. — Ты знаешь меня, Долорес, — я считаю, что природа сама справится с проблемой.

— Я отлично знаю тебя, — пробормотала я.

— Что ты сказала, дорогая? — спросила Вера таким сладким голоском, что ее устами да мед бы пить.

— Я сказала, что не могу стоять и ждать, когда ты опорожнишься, — ответила я. — У меня много работы по дому. Ты ведь знаешь, сегодня у нас генеральная уборка.

— Неужели? — притворно удивившись, спросила Вера, как будто не знала, какой сегодня день, с того самого мгновения, как только проснулась. — Тогда иди работай, Долорес. Как только потребуется, я позову тебя.

«Клянусь, что позовешь, — подумала я, — но только минут через пять после того, как это случится». Но, конечно же, этого я не сказала; я просто спустилась вниз. Я достала пылесос из кладовой, отнесла его в гостиную и подключила к розетке. Однако я не сразу открыла боевые действия; несколько минут я просто вытирала пыль. Я могла положиться на свое чутье, я ждала, когда нечто внутри меня подскажет, что пришло время действовать.

Когда это нечто заговорило и сказало, что уже пора, я крикнула Сюзи и Шоне, что собираюсь пылесосить ковер. Я кричала так громко, что меня могли услышать даже жители близлежащей деревушки, а не только Королева-Мать, лежащая наверху. Включив пылесос, я поднялась по лестнице и долго ждать в этот раз не стала — самое большее тридцать или сорок секунд. Я знала, что, услышав угрозу, Вера поторопится. Поэтому, поднимаясь по лестнице, я перескакивала через две ступеньки, и что вы себе думаете?

Ничего! Ни-че-го.

Кроме... Кроме того, как она смотрела на меня, вот и все. Так спокойно, но уверенно и удовлетворенно.

— Ты что-то забыла, Долорес? — проворковала Вера.

— Ага, — ответила я, — я забыла бросить эту работу пять лет назад. Прекрати это, Вера.

— Прекратить что, дорогая? — спросила она, щуря глаза, как будто не имела ни малейшего представления, о чем идет речь.

— Прекрати меня разыгрывать, вот что. Скажи мне прямо — нужно тебе судно или нет?

— Нет, — ответила Вера самым правдивым тоном, на какой только была способна. — Я уже сказала тебе это! — Она еще раз улыбнулась мне. Вера не сказала ни слова, но ей и не нужно было ничего говорить. «Я провела тебя, Долорес, — говорил ее вид, — я отлично провела тебя».

Но я не сдалась. Я знала, что в ее кишках накопилось достаточно дерьма, и я знала, что Вера отлично отыграется на мне, если начнет раньше, чем я успею подсунуть под нее судно. Поэтому я спустилась вниз и подождала минут пять возле включенного пылесоса, а потом снова побежала. Но только на этот раз Вера уже не улыбнулась мне, когда я вошла. Она лежала на боку и спала... или мне это только показалось. Я действительно подумала, что она задремала. Вера обманула меня, а знаете, что говорят умные люди: обманешь меня однажды — позор тебе, обманешь меня дважды — позор мне.

Когда я спустилась вниз второй раз, я действительно принялась пылесосить ковер. Закончив работу, я убрала пылесос на место и отправилась проверить Веру еще раз. Она сидела в кровати, откинув одеяло и спустив прорезиненные трусы на жирные ляжки. Наделала ли она в штаны? Великий Боже! Вся кровать была в дерьме, сама она была измазана дерьмом, дерьмо было на ковре, на кресле-каталке, на стенах. Даже на занавесках было дерьмо. Было похоже, что она набирала дерьмо пригоршнями и разбрасывала его, как дети бросают друг в друга грязью, купаясь в пруду.

Взбесилась-ли я? Да я орала как сумасшедшая!

— О Вера! Ах ты грязная СУКА! — орала я на нее. Я не убивала ее, Энди, но если я когда-нибудь и сделала бы это, то именно в тот день, когда увидела, во что она превратила комнату, и когда вдыхала тот запах. Правильно, я хотела убить ее; нет смысла обманывать. А она просто смотрела на меня с тем самым идиотским выражением, какое бывало у нее, когда ум начинал подшучивать над ней... но я отлично видела чертиков, пляшущих в ее глазах, и я отлично знала, кто и над кем подшучивает в этот раз. Обманешь меня дважды — позор мне.

— Кто это? — спросила меня Вера. — Бренда, это ты, дорогая? Что, снова коровы разбрелись?

— Ты прекрасно знаешь, что на три мили вокруг нет ни одной коровы с 1955 года! — заорала я. Я пересекла комнату огромными шагами, и это было ошибкой, потому что одной туфлей я угодила в кучу дерьма, поскользнулась и упала на спину. Если бы я дошла до кровати, я действительно могла бы убить ее; я бы просто не смогла остановиться. Тогда я могла даже подорвать весь этот дом к чертям собачьим.

— Не-е-е-е-т, — ответила она, пытаясь подражать тону беззащитной старенькой леди, каковой она и была большую часть времени. — Не-е-е-е-т. Я ничего не вижу, к тому же у меня так сильно расстроился желудок. Мне кажется, у меня понос. Это ты, Долорес?

— Конечно, это я, старая вешалка! — ответила я, надрываясь от крика. — Я тебя просто убью!

Представляю, как Сюзи Пролкс и Шона Уиндхэм подслушивали тогда, стоя на лестнице, да вы уже и так успели допросить их, а уж они-то постарались подвести меня под монастырь. И не надо рассказывать мне сказки, Энди; у тебя такое правдивое, открытое лицо.

Вера поняла, что ей не удалось провести меня, по крайней мере на этот раз, поэтому она перестала прикидываться, как будто она совсем плоха, и перешла к самообороне. К тому же я, наверное, ее напугала. Оглядываясь назад, я тоже боюсь самой себя — но, Энди, если бы ты видел эту комнату! Как после обеда в аду.

— Я знаю, что ты это сделаешь, — заорала Вера в ответ. — Однажды ты действительно сделаешь это, ты, мерзкая сварливая карга! Ты убьешь меня так же, как убила своего мужа!

— Нет, мэм, — ответила я, — Не так. Когда я буду готова убрать тебя, я не буду утруждать себя приготовлениями, чтобы убийство выглядело как несчастный случай, — я просто вышвырну тебя из окна, и одной вонючей сукой на земле станет меньше.

Я схватила ее за грудки и приподняла, как будто я была Суперледи. Признаюсь, ночью поясница дала о себе знать, а на следующее утро я еле ходила, настолько сильной была боль. Я ездила к костоправу, он мне что-то вправил, после чего спину немного отпустило, но окончательно я так и не поправилась. Однако в тот момент я абсолютно ничего не чувствовала. Я вытащила Веру из кровати, как будто я была маленькой девчушкой, а она — пластмассовой куклой. Вера буквально тряслась от страха, и только понимание того, что она действительно испугалась, помогло мне взять себя в руки, но я была бы грязной обманщицей, если бы не сказала, что обрадовалась, увидев, насколько она напугана.

— О-ой-и-и! — визжала Вера. — О-о-о-ой-ии, не-е-е-т! Не выкидывай меня из окна! Не вышвыривай меня, не смей! Отпусти меня! Мне больно, Долорес! О-О-ОЙ-ИИ, ОТПУСТИ МЕНЯ-Я-Я!

— Ах ты дрянь ползучая, — выкрикнула я и швырнула ее в кресло-каталку так сильно, что могла бы выбить ей зубы... если бы они у нее еще были. — Посмотри, что ты наделала. И не пытайся убедить меня, будто ты не видишь, потому что я знаю, ты видишь. Просто посмотри!

— Извини, Долорес, — невнятно произнесла Вера. Она начала бормотать что-то, но я видела эти подлые танцующие искорки в ее глазах. Я видела их так же, как иногда можно увидеть рыбу сквозь толщу чистой воды, если, плывя в лодке, перегнуться через край и посмотреть в глубину. — Извини, я не хотела делать этого, я просто хотела помочь. — Вера всегда говорила так, когда она накладывала в постель, а потом размазывала дерьмо по простыням... однако в тот день она впервые решилась порукоприкладствовать. Я просто пыталась помочь, Долорес, — ну просто Божий одуванчик.

— Сиди молча, — отрезала я. — Если ты действительно не хочешь вылететь из окна, то тебе лучше послушаться меня. — Я даже не сомневалась, что обе эти девчонки стояли на лестнице и ловили каждое мое слово. Но в тот момент я просто кипела от злости, чтобы обращать внимание на подобные вещи.

У Веры хватило ума, чтобы заткнуться, как я ей и сказала, но вид у нее был очень довольный — а почему бы и нет? Она ведь сделала что хотела, — в этот раз именно она выиграла битву. И стало ясно как Божий день, что война вовсе не окончена. Я начала приводить комнату в порядок. На это ушло часа два, и к тому времени, когда я закончила, спина моя пела «Ave Maria».

Я уже рассказывала вам о простынях и по вашим лицам догадалась, что кое-что вы все же поняли. Труднее понять ее упорное стремление к такому беспорядку. Я имею в виду, что само дерьмо не колет мне глаза. Конечно, оно не благоухает ароматом роз, к тому же с ним нужно быть очень осторожным, потому что оно несет в себе микробы, как и сопли, слюна или зараженная кровь, но оно все же смывается. У кого был маленький ребенок, тот знает, что дерьмо очень легко отмывается. Так что дело было вовсе не в этом.

Самое ужасное — это то, насколько Вера была подлой в этом отношении. Насколько хитроумной. Она ждала благоприятного случая, а когда удача сопутствовала ей, то тут уж Вера разворачивалась вовсю, к тому же действовала она очень быстро, так как знала, что я не дам ей слишком много времени. Она совершала свои проделки целенаправленно, понимаешь, куда я клоню, Энди? Насколько позволяли ее затуманенные мозги, Вера заранее планировала свои действия — именно это камнем лежало у меня на сердце и угнетало мой дух, когда я убирала за ней. Пока я снимала все с кровати; пока я несла обгаженный матрас и перепачканные простыни и наволочки в комнату для стирки; пока я скребла пол, стены и подоконники; пока я снимала шторы и вешала новые; пока я снова застилала ей постель; пока я, сцепив зубы, мыла ее и надевала на нее чистую ночную рубашку и трусы и снова перекладывала ее на кровать (а она не только не помогала мне, но просто повисала на моих руках, хотя я отлично знала, что это был один из тех дней, когда она могла помочь мне, если бы захотела); пока я мыла пол и эту ее проклятую коляску — теперь я уже действительно должна была скрести, так как к тому времени лепешки уже успели присохнуть, — пока я делала все это, на сердце у меня лежал камень, а настроение хуже некуда. И это она тоже знала.

Она знала это и была счастлива.

Когда тем вечером я вернулась домой, то приняла анацин-3 от болей в спине, а потом легла в кровать, свернувшись калачиком, несмотря на невыносимую боль, и плакала, плакала, плакала. Казалось, я никогда не смогу остановиться. Никогда — по крайней мере после того старого дела с Джо — я не чувствовала себя такой разбитой и безнадежно несчастной. И такой пугающе старой.

Это вторая причина, почему Вера была сукой — из-за ее подлости.

Что ты сказал, Фрэнк? Делала ли она то же самое еще? Какой же ты наивный. Она сделала то же самое на следующей неделе, и через неделю снова. Потом не было так плохо, как в первый раз, частично потому, что она не могла уже сохранять такие большие дивиденды, а частично потому, что я уже была готова к этому. Я снова плакала ночью, когда это случилось во второй раз, и тогда, лежа в кровати и чувствуя себя несчастной и разбитой, я приняла решение. Я не знала, что случится с ней и кто будет заботиться о ней, но тогда меня не волновал такой вздор. Что касалось меня, то Вера могла страдать до самой смерти, лежа в своей загаженной постели.

Засыпая, я все еще всхлипывала, потому что мысль отделаться от Веры — несмотря на все мои благие порывы — только ухудшила мое настроение, но, проснувшись, я неожиданно почувствовала себя просто отлично. Мне кажется, это правда, что мозг человека не засыпает, даже если нам так и кажется; мозг продолжает думать, иногда у него это получается даже лучше, если постовой в его голове не надоедает ему обычной болтовней — что нужно сделать, что приготовить на завтрак, что посмотреть по телевизору и тому подобной чепухой. Это должно быть правдой, потому что причиной хорошего настроения, когда я проснулась утром, было то, что я знала, как Вера провела меня. Единственной причиной, почему я не поняла этого раньше, было то, что я недооценивала ее — да, даже я, которая знала, какой хитрой могла быть Вера время от времени. А как только я поняла ее трюк, то уже знала, что делать.

Мне было очень тяжело от мысли, что придется доверить одной из девушек пылесосить абиссинский ковер. Причина была в шуме пылесоса. Вот что я поняла, когда проснулась тем утром. Я уже говорила вам, что слух у нее был отличный; именно шум, производимый пылесосом, подсказывал Вере, действительно ли я пылесосю ковер или стою на верхней ступеньке, на стартовой отметке. Если пылесос просто включить, то звук будет такой: «зуууууу». Но когда ты пылесосишь ковер, то слышно два звука, и они плещутся, как волны. «ВХУУП» — когда толкаешь шланг вперед. И «зууп» — когда оттягиваешь шланг назад, готовясь к новому движению. «ВХУУП — зууп, ВХУУП — зууп, ВХУУП — зууп».

Эй, вы, оба, хватит вам кусать губы — лучше посмотрите на то, как улыбается Нэнси. По вашим лицам сразу можно понять, что вы никогда не держали пылесоса в руках. Если тебе действительно это кажется таким забавным, Энди, попробуй сам. И ты услышишь этот звук, однако представляю, как Мария упадет замертво, застав тебя за чисткой ковра в гостиной.

Тем утром я поняла, что она не только прислушивается, когда заработает пылесос, потому что толку от этого мало. Она ждет, когда же пылесос загудит так, как он и должен гудеть во время работы. И она не начинает разыгрывать свои грязные шуточки, пока не услышит тот специфический волнообразный звук:

«ВХУУП — зууп».

Я просто заразилась этой мыслью, но не могла сразу же опробовать ее, потому что именно тогда она опять стала чувствовать себя хуже и некоторое время справляла нужду прямо в судно. И я уже начала бояться, что теперь ей уже не выбраться из душевного разлада. Я знаю, насколько смешно это звучит, потому что управляться с Верой было намного проще и легче, когда она находилась в сдвинутом состоянии ума, но когда человек загорается подобной идеей, то он хочет обязательно проверить ее. И вы знаете, я чувствовала нечто к этой суке, кроме простого желания проучить ее. После сорока лет, проведенных вместе, было бы странно, если бы я ничего не чувствовала. Однажды она связала мне плед — это было задолго до того, как ей стало значительно хуже, но плед до сих пор лежит на моей кровати, и он отлично согревает в холодные февральские ночи, когда снаружи вовсю разыгрывается непогода.

Через месяц или полтора после того, как я проснулась с этой новой мыслью, Вера начала постепенно приходить в себя. Она смотрела «Джеопарди» [Популярная развлекательная игра типа «Что? Где? Когда?».] по маленькому телевизору, стоявшему в ее спальне, и бушевала, если игроки не знали, кто был президентом во время испано-американской войны или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». Она начала молоть старый вздор насчет того, что дети могут приехать погостить к ней перед Днем Труда. И, конечно, Вера настаивала на том, чтобы я посадила ее на стул, откуда ей будет удобнее наблюдать за тем, как я развешиваю простыни, и убеждаться, что я пользуюсь шестью прищепками, а не четырьмя.

Затем наступил четверг, когда в полдень я вытянула из-под нее судно, такое же сухое, как обглоданная кость, и такое же пустое, как обещания продавца машин. Не могу пересказать, как я обрадовалась, увидев этот пустой горшок. «Вот тут-то мы и начнем, старая лиса, — подумала я. — Теперь-то мы посмотрим». Я спустилась вниз и позвала Сюзи Пролкс в гостиную.

— Я хочу, чтобы ты сегодня пылесосила здесь, Сюзи, — сказала я ей.

— Хорошо, миссис Клейборн, — ответила она. Именно так обе девушки звали меня, Энди, — да и большинство местных жителей тоже зовут меня так. Я никогда не настаивала на этом, но так уж получилось. Похоже, они думают, что я была замужем за парнем по фамилии Клейборн... или, может быть, я просто хочу верить, что большинство из них не помнят Джо, хотя многие помнят его слишком хорошо. Лично мне все равно, так или иначе; мне кажется, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. В конце концов, я была замужем за ублюдком.

— Я не возражаю, — продолжала Сюзи, — но почему вы шепчете?

— Не обращай внимания, — ответила я, — просто говори тише. И ничего не разбей, Сюзанна Эмма Пролкс.

Ну так вот, она вспыхнула до корней волос, став похожей на пожарную машину; это выглядело очень смешно.

— Откуда вы знаете, что мое второе имя — Эмма?

— Это не твое дело, — отрезала я. — Я прожила на Литл-Толле целую прорву лет, и нет конца тому, о ком и что я знаю. Просто будь внимательной и осторожной, не поцарапай мебель и не разбей вазы из флорентийского стекла, а больше тебе не о чем беспокоиться.

— Я буду очень осторожной, — ответила Сюзи. Я включила пылесос, потом вышла в холл, сложила ладони рупором и крикнула:

— Сюзи! Шона! Я собираюсь пылесосить ковер!

Конечно, Сюзи стояла рядом со мной, и, надо вам сказать, лицо у девушки было сплошным вопросительным знаком. Я просто помахала ей руками, показывая, чтобы она занималась своим делом и не обращала на меня внимания. Сюзи послушалась.

На цыпочках я поднялась по лестнице и замерла на своем посту. Я знаю, насколько это глупо, но я не чувствовала подобного волнения с того самого дня, когда отец в первый раз взял меня на охоту, а ведь тогда мне было лет двенадцать. Ощущение было тем же самым: сердце бешено колотится в груди, а по животу гуляет холодок. В доме у Веры наряду с вазами из флорентийского стекла было много других ценных вещей, но я ни на секунду не засомневалась в честности Сюзи. Вы мне верите?

Я заставила себя выждать как можно дольше — минуту или даже полторы. А затем я ворвалась. И когда я влетела в спальню, так оно все и было: красное лицо, от потуг глаза превратились в щелочки, ладони сжаты в кулаки. Вера моментально открыла глаза, услышав, как открылась дверь. Жаль, что у меня не было фотоаппарата, — зрелище стоило того.

— Долорес, ты сейчас же выйдешь отсюда, — завизжала она. — Я пытаюсь вздремнуть, но я не смогу сделать этого, если ты будешь врываться ко мне, как разъяренная тигрица, каждые двадцать минут!

— Хорошо, — ответила я, — я уйду, но сначала я подставлю под тебя горшок. Судя по запаху, это единственное, что сейчас нужно твоему организму.

Вера ударила меня по рукам и начала осыпать проклятиями — о, на проклятия Вера была великой мастерицей! — но я не слишком-то обращала на это внимание. Я моментально подставила под нее судно, и, как говорится, все произошло просто великолепно. Когда дело было сделано, я посмотрела на Веру, а она — на меня, и ничего не надо было говорить. Видите ли, мы слишком долго знали друг друга.

«Вот так-то, старая карга, — говорило мое лицо. — Я снова застукала тебя, как тебе это нравится?»

«Не очень, Долорес, — отвечало ее лицо, — но все в порядке; только потому, что ты поймала меня, не думай, что и дальше у тебя это получится».

Однако мне это удалось. Было еще несколько приключений, но ничего подобного тому случаю, о котором я рассказывала, когда дерьмо было даже на шторах, больше не случалось. Это была ее последняя победа. Потом дни, когда она хорошо соображала, бывали все реже и реже; даже если и наступали времена просветления, то они были очень короткими. Я спасла свою ноющую спину, но радости мне это не доставило. Вера заставляла меня страдать, но она была человеком, к которому я привыкла и притерлась. Понимаете, о чем я говорю?

Можно еще стакан воды, Фрэнк?

Спасибо. От разговоров так хочется пить. А если ты решишь немного проветрить бутылочку, прячущуюся у тебя в столе, Энди, я ни за что не расскажу.

Нет? Ну что ж, ничего другого я и не ожидала от тебя.

Так о чем я говорила?

Ах, да. О том, какой она была. Третья причина, почему Вера была сукой, — самая ужасная. Она была сукой потому, что была печальной старенькой леди, вынужденной проводить все свое время в спальне на острове, вдалеке от мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это было плохо само по себе, но она к тому же теряла разум, ничего не делая... и какая-то часть ее знала, что она похожа на подмытый берег реки, готовый в любую минуту обрушиться в бурный поток.

Видите ли, Вера была очень одинока, и я не понимала — я никак не могла понять, почему она посвятила свою жизнь острову. По крайней мере, до вчерашнего дня. Но она была и подавлена, вот это я отлично понимала. Даже такая, Вера обладала ужасной, пугающей силой, как умирающая королева, до самого конца не желающая расставаться с короной; как будто сам Господь Бог с интересом иногда ослаблял хватку.

У Веры были хорошие и плохие дни — я уже говорила вам об этом. То, что я называю припадками, случалось с Верой как раз в промежутке, когда после нескольких дней просветления она переходила к целой неделе другой жизни в тумане или после одной или двух туманных недель — снова к ясности сознания. Когда происходил такой переход, казалось, что Вера еще нигде не находится... и какая-то часть ее знала об этом. Именно в это время Вера страдала от галлюцинаций.

Если только это были галлюцинации. Теперь я уже не так в этом уверена, как раньше. Может быть, я и расскажу вам об этом, а может быть, и нет — посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда подойдет черед этой части рассказа.

Мне кажется, они посещали ее не только по воскресным вечерам или посреди ночи; наверное, я запомнила это время лучше потому, что в доме было очень тихо, и Вера пугала меня до смерти, начиная вопить. Ощущение было такое, будто кто-то вылил на тебя ведро ледяной воды в жаркий летний полдень; до ее криков никогда в жизни я не думала, что мое сердце может разорваться, и никогда до этого я не представляла, что однажды смогу войти к Вере в спальню и найти ее мертвой. Однако то, чего она боялась, не имело никакого смысла. Я знала, что она боится, и я прекрасно знала, чего она боится, но я не могла понять почему.

— Провода! — иногда вопила Вера, когда я входила в спальню. Она вся скрючивалась на кровати, прижимая руки к груди, сморщенные губы западали и дрожали; она была бледна, как привидение, слезы сбегали по морщинистым щекам. — Провода, Долорес, останови провода! — И Вера всегда указывала в одно и то же место... на плинтус в дальнем углу спальни.

Конечно, на самом деле там ничего не было. Но для нее было. Вера видела, как провода пробиваются сквозь стены и тянутся прямо к ее кровати. Все, что нужно было делать, так это сбежать вниз, взять один из ножей для разделки мяса и вернуться с ним в спальню. Я опускалась на колени в углу — или ближе к кровати, если Вера вела себя так, будто провода пробрались поближе, — и делала вид, что отрезаю их. Я делала это, осторожно опуская лезвие, чтобы не повредить великолепный кленовый паркет, пока Вера не затихала.

Затем я подходила к ней и вытирала ей слезы фартуком или платочком, который всегда лежал у Веры под подушкой, целовала ее и говорила:

— Вот так, дорогая, — они ушли. Я отрезала эти проклятые провода. Посмотри сама.

Вера смотрела (хотя в эти дни, должна я вам сказать, она действительно ничего не могла видеть), потом она, все еще всхлипывая, обнимала меня и говорила:

— Спасибо, Долорес. Я думала, что в этот раз они доберутся до меня наверняка.

А иногда Вера называла меня Брендой, когда благодарила, — Бренда была экономкой в балтиморском доме Донованов. Иногда она называла меня Клариссой, которая была ее сестрой, умершей в 1958 году.

Бывали дни, когда, поднимаясь в спальню Веры, я находила ее наполовину свесившейся с кровати и кричащей, что к ней в подушку забралась змея. В другой раз, когда я вошла к ней в комнату, Вера сидела, с головой укрывшись покрывалом, и орала, что окна заворожили солнце, и теперь оно сожжет ее. Иногда Вера даже клялась, что чувствует, как шипят ее загоревшиеся волосы. Неважно, что шел дождь или на улице был непроглядный туман; она уверяла, что солнце изжарит ее заживо, поэтому я опускала шторы и успокаивала Веру, пока она не переставала плакать. Иногда я продолжала сидеть возле нее даже после того, как она успокаивалась, потому что я чувствовала, что она дрожит, как щенок после расправы, учиненной жестокими мальчишками. Она снова и снова просила меня осмотреть ее кожу и сказать, если я увижу ожоги. Я снова и снова повторяла ей, что ничего нет, и только после этого Вера иногда засыпала. А иногда она просто входила в ступор и разговаривала с отсутствующими людьми. Иногда она говорила по-французски, я не имею в виду, что она говорила по-французски так, как говорят на острове. Вера с мужем обожали Париж и ездили туда при любом удобном случае — когда с детьми, а когда и одни... Иногда, пребывая в хорошем настроении, Вера рассказывала о Париже — кафе, ночные клубы, галереи, лодки на Сене — мне нравилось слушать ее. Вера была прекрасной рассказчицей: слушая ее, вы почти видели то, о чем она говорила.

Но самое ужасное — этого она боялась больше всего — было не что иное, как зайчики из пыли. Вы понимаете, о чем я говорю: эти маленькие комочки пыли, собирающиеся под кроватью, в углах и под дверью и напоминающие стайку одуванчиков. Я знала, что Вера боится именно их, даже когда она не говорила об этом, и чаще всего мне удавалось быстренько успокоить ее, но почему она так боялась этих призраков, кем они казались ей на самом деле — этого я не знала, хотя однажды, мне кажется, я поняла. Не смейтесь, но это пришло ко мне во сне.

К счастью, истории с зайчиками из пыли повторялись не так часто, как случаи с солнечными ожогами или проводами в углу, но когда дело касалось их, я знала, что для меня настали тяжелые времена. Я знала, что все дело в зайчиках, даже если это случалось посреди ночи и я спала в своей комнате, плотно закрыв дверь, а Вера начинала стонать. Когда она была помешана на других вещах...

Что, милочка?

Нет, тебе нет нужды придвигать этот сверхсовременный магнитофон ближе; если ты хочешь, я буду говорить громче. Честно говоря, я самая громкоголосая сука, которая только встречалась вам в жизни; Джо любил повторять, что у него только одно желание, когда я прихожу домой, — засунуть комочки ваты в уши. Но от одного воспоминания, как Вера вела себя при появлении зайчиков, меня пробирает дрожь, и если я сбавила тон, так это всего лишь доказывает, что до сих пор я не могу забыть этого. Даже после ее смерти. Иногда я пыталась ругать Веру.

— Почему ты впадаешь в такие глупости, Вера? — говорила я. Но это не было обманом. По крайней мере, Вера не обманывала меня. Я все больше прихожу к мысли о том, как Вера покончила с собой, — она запугала сама себя до смерти этими зайчиками. И, думаю, это не так уж далеко от истины.

Так вот, я начала говорить, что, когда Вера была помешана на других вещах — змее в подушке, солнце, проводах, — она пронзительно кричала. Когда же дело касалось зайчиков, то она визжала, как недорезанный поросенок. В данном случае не было даже слов. Просто душераздирающий визг.

Я вбегала, а она рвала на себе волосы или раздирала себе лицо ногтями и становилась похожей на ведьму. Глаза ее были огромными и всегда смотрели куда-то в угол.

Иногда Вере даже удавалось произнести: «Пыльные зайчики, Долорес! О Господи, пыльные зайчики!» Но чаще всего Вера могла только визжать и безумствовать. Она прикрывала глаза ладонями, а потом снова убирала руки. Казалось, она не может смотреть, но и не смотреть она тоже не в силах, а потом она начинала царапать себе лицо. Я пыталась оторвать ее руки, но чаще всего она все же успевала пустить себе кровь, и каждый раз я удивлялась, как это выдерживает сердце этой старой и тучной женщины.

Однажды Вера просто свалилась с кровати и так и осталась лежать на полу, подвернув ногу. Я вбежала, а она лежит на полу, тарабаня кулаками по полу, как ребенок, бьющийся в истерике, пытаясь подняться. Это был один-единственный раз, когда я вызвала доктора Френо посреди ночи. Он примчался из Джонспорта на катере. Я позвонила ему, так как считала, что Вера сломала ногу, должна была сломать, судя по тому, как та была вывернута, к тому же она чуть не умерла от шока. Но этого не произошло — я не знаю, почему этого не случилось, но Френо сказал, что у нее только вывих, — и на следующий день у Веры начался один из периодов ремиссии, она ничего не помнила о событиях прошлой ночи. Несколько раз, во времена просветлении, я расспрашивала Веру о зайчиках из пыли, но она смотрела на меня так, будто это я сошла с ума, будто она не имеет ни малейшего представления, о чем я говорю.

После нескольких таких случаев я знала, что делать. Как только я слышала, что Вера визжит подобным образом, я вставала с кровати и выходила из спальни — вы же знаете, что моя спальня была рядом с ее, нас разделяла только кладовка, в которой я держала щетку для собирания пыли со времени первого приступа Веры. Я влетала в комнату, размахивая щеткой и вопя во все горло (только так я могла заставить услышать себя).

— Я добралась до них, Вера! — вопила я. — Я добралась до них! Держись!

Я с усердием подметала то место, куда указывала Вера, а потом ради предосторожности подметала вокруг. Иногда она успокаивалась после этого, но чаще всего продолжала кричать, что зайчики все еще прячутся под кроватью. Поэтому я вставала на четвереньки и делала вид, что подметаю и там. Однажды эта глупая, напуганная, жалкая колода чуть не свалилась с кровати прямо на меня, пытаясь наклониться, чтобы посмотреть самой. Она бы раздавила меня, как муху. Вот это была бы комедия!

Однажды, подметя во всех местах, которых она боялась, я показала Вере пустой совок для мусора и сказала:

— Вот, дорогая, видишь? Я подобрала их все до единого.

Сначала Вера взглянула на совок, а потом на меня, она вся дрожала, глаза почти утопали в слезах, напоминая камешки среди бурлящего потока, а потом прошептала:

— О Долорес, они такие серые. Такие ужасные. Убери их. Пожалуйста, убери их!

Я положила щетку и пустой совок около двери в своей спальне, чтобы они были под рукой на всякий случай, а потом вернулась назад, чтобы успокоить Веру. Да и самой успокоиться. А если вы думаете, что это мне было не нужно, то вы попробуйте вскочить в огромном старом музее, каковым был этот дом, среди ночи, когда за окнами завывает ветер, а внутри завывает безумная старуха. Сердце мое билось, как локомотив, я едва переводила дыхание... но я не могла позволить, чтобы Вера увидела, каково мне, иначе она не будет доверять мне, и что нам тогда делать?

Чаще всего после таких приступов я расчесывала Вере волосы — кажется, это успокаивало ее быстрее всего. Сначала она стонала и плакала, а иногда разводила руки в стороны и обнимала меня, утыкаясь лицом мне в живот. Я отлично помню, какими горячими бывали ее щеки и лоб после очередного светопреставления с зайчиками из пыли. И как иногда у меня вся ночнушка была пропитана слезами. Бедная старая женщина! Никто из присутствующих здесь не знает, что значит быть такой старой и видеть дьявола и не мочь объяснить, что это такое, даже себе самой.

Иногда даже полчаса, проведенные около нее с расческой, не помогали. Вера продолжала смотреть мимо меня в угол и очень часто, затаив дыхание, опускала руку в темноту под кроватью и отдергивала ее, как ошпаренная, как будто кто-то пытался укусить ее. Раз или два даже мне показалось, будто я увидела нечто движущееся внизу, и мне пришлось плотно закрыть рот, чтобы не закричать самой. Все, что я увидела, было всего лишь тенью движущейся руки Веры, я знала это, но это только показывает, до какого состояния она меня доводила, не так ли? О да, даже меня, хотя обычно я настолько же тверда, как и громогласна.

Когда ничего уже не помогало, я заглядывала под кровать вместе с ней. Вера обвивала мои руки своими и держалась за меня, положив голову на то, что осталось от моей груди, а я обхватывала ее своими руками и просто поддерживала, пока Вера не засыпала. Тогда я просто выползала из-под нее, очень медленно и осторожно, стараясь не разбудить, и возвращалась в свою комнату. Но были случаи, когда мне не удавалось сделать даже этого — обычно она будила меня воплями среди ночи, и я засыпала рядом с ней.

Именно в одну из таких ночей мне приснился сон о зайчиках из пыли. Только во сне это была не я. Я была ею, прикованной к постели, такой тучной, что не могла даже повернуться без посторонней помощи.

Я посмотрела в угол — то, что я увидела, напоминало голову, сделанную из пыли. Глаза ее закатились, губы обнажали целый ряд острых зубов, тоже образованных из пыли. Голова начала приближаться к кровати, но очень медленно, а когда она повернулась ко мне лицом, то глаза смотрели прямо на меня, и я увидела, что это Майкл Донован, муж Веры. Голова сделала еще один поворот, но теперь это уже было лицо моего мужа. Это был Джо Сент-Джордж, с подлой ухмылкой на лице, вооруженном огромными, острыми зубами. После третьего поворота это уже было какое-то незнакомое лицо, но оно было живое, и оно было голодное, и оно собиралось добраться поближе, чтобы съесть меня.

Просыпаясь, я так сильно вздрогнула, что чуть не свалилась с кровати. Было раннее утро, и первые лучи солнца уже позолотили пол спальни. Вера еще спала. Она обслюнявила мне всю руку, но у меня не было сил даже вытереть ее. Я просто лежала, вся в поту и дрожащая с головы до ног, пытаясь убедить себя, что я действительно проснулась и все нормально — как это обычно бывает после ужасного ночного кошмара. Но даже после этого какую-то долю секунды я все еще видела лежащую рядом с кроватью голову из пыли с пустыми глазницами, с устрашающими острыми зубами. Такой вот ужасный сон. Затем все исчезло; пол и углы комнаты были такими же чистыми и пустыми, как всегда. Но после этого я часто думала, уж не Вера ли послала мне этот сон; может быть, я увидела малую часть того, что видит она, когда так пронзительно визжит. Может быть, я приняла на себя какую-то часть ее страхов и сделала их своими. Как вы думаете, может такое произойти в реальной жизни или так случается только на страницах дешевых газетенок? Не знаю... но я знаю, что этот сон испугал меня до смерти.

Ладно, не обращайте внимания. Эти вопли по вечерам в воскресенье и визги среди ночи как раз и были той третьей причиной, почему Вера Донован была сукой. Но все равно это было очень печально. Вся ее стервозность покоилась на печали и грусти, однако это не мешало мне временами страстно желать свернуть ей башку. Мне кажется, что, когда Сюзи и Шона слышали, как я орала на нее в тот день, когда хотела убить ее... или когда меня слышали другие... или когда слышали, как мы обзываем друг друга... ну что ж, они должны были думать, что я, подобрав юбку, стану отплясывать джигу на ее могиле, когда Вера наконец-то отдаст концы. Наверное, ты уже слышал об этом вчера и сегодня — ведь так, Энди? Не отвечай; все, что мне надо узнать, написано у тебя на лице, как на рекламном щите. К тому же я знаю, как люди любят посплетничать. Они болтают обо мне и Вере, а сколько было пересудов обо мне и Джо еще когда он был жив, а уж после его смерти и подавно. Разве ты еще не заметил, что в этом благословенном местечке самое интересное, что может сделать человек, — внезапно умереть?

Вот мы и добрались до Джо.

К чему скрывать, я боялась этой части рассказа. Я уже сказала тебе, что убила его, так что с этим покончено, но самая трудная часть еще впереди: как... и почему... и когда это было сделано.

Я сегодня очень много думала о Джо, Энди, — честно говоря, даже больше о нем, чем о Вере. В основном я пыталась вспомнить, почему я вышла за него замуж, и сначала никак не могла. Я даже было запаниковала — совсем, как Вера, когда ей казалось, что в подушку к ней забралась змея. Потом я поняла, в чем проблема — я искала воспоминаний о любви, как будто была одной из тех глупеньких девушек, которых Вера обычно нанимала в июне и которые прогорали уже в середине лета, так как не могли следовать ее правилам. Я искала любви, но ее ценность была не очень-то велика даже тогда, в сорок пятом, когда мне было восемнадцать, а ему — девятнадцать, и все в этом мире казалось нам новым.

Знаешь, единственное, о чем я вспомнила, сидя сегодня на ступеньках и пытаясь вспомнить о любви? У него был красивый лоб. Я сидела с ним за одной партой, когда мы учились в средней школе — это было во время второй мировой войны, и я вспомнила его лоб — гладкий, без единого прыщика. На щеках и подбородке они были, а на крыльях носа виднелись даже черные угри, но вот лоб у него был гладкий и чистый, как густые сливки. Я помню, как хотела прикоснуться к его лбу... честно говоря, мечтала об этом; желая проверить, такой ли он гладкий, каким выглядит. И когда Джо пригласил меня на вечеринку, я согласилась и получила возможность потрогать его лоб, и тот оказался таким же гладким, как и выглядел, к тому же его обрамляли густые волнистые волосы. Я водила рукой по волосам Джо и по его гладкому лбу в темноте, в то время как джаз-бэнд в танцевальном зале наигрывал «Серенаду лунного света»... После нескольких часов сидения на этих проклятых ступеньках именно это вспомнилось мне, а ведь это так мало. Конечно, я вспомнила себя гладящей еще кое-что, кроме гладкого лба Джо, по прошествии многих недель, вот тут-то я и совершила ошибку.

Давайте сразу договоримся — я не пытаюсь сказать, что покончила с лучшими годами своей жизни, отдав их этой пивной бочке просто потому, что мне нравилось смотреть на его лоб во время учебы в седьмом классе. Нет, черт побери. Но я пытаюсь объяснить вам, что это было единственным любовным воспоминанием, которое я смогла извлечь из своей памяти. Сидеть сегодня на ступеньках в Ист-Хед и вспоминать прошлое... о, это была чертовски трудная работа. Впервые я поняла, как дешево смогла продать себя, возможно, я сделала это потому, что считала, что дешевка — это единственное, чего я была достойна. Я знаю, впервые в жизни я осмелилась подумать, что достойна большей любви, чем мог дать кому-либо Джо Сент-Джордж (кроме себя, возможно). Вам может показаться, что такая грубая старуха, как я, не может верить в любовь, но дело в том, что я верю.

Однако это не имеет ни малейшего отношения к тому, почему я вышла замуж за Джо, — я должна это сказать прямо сейчас. Шесть недель я уже носила девочку внутри себя, когда сказала, что люблю его и буду любить до смерти. Это было самым болезненным моментом... печально, но факт. Все остальное — обычные, глупые причины, но вот что я поняла в этой жизни: глупые причины порождают глупые браки. Я устала бороться со своей матерью. Я устала выслушивать ругань от своего отца. Все мои подружки уже повыскакивали замуж, у них были свои дома, и я тоже хотела быть такой же взрослой, как и они; я устала быть маленькой глупой девчонкой.

Он сказал, что хочет меня, и я поверила ему. Он сказал, что любит меня, и я тоже поверила ему... и после того, как он сказал мне это и спросил, чувствую ли я то же самое по отношению к нему, было бы невежливо сказать ему «нет».

Я боялась того, что могло случиться со мной, если я не скажу этого, — куда я пойду, что буду делать, кто поможет мне с ребенком.

Все это будет выглядеть достаточно глупо, если ты запишешь это, Нэнси, но самое смешное то, что я знаю дюжину женщин, с которыми я училась в школе, которые выскочили замуж по тем же самым причинам, и большинство из них до сих пор замужем, а многих поддерживает единственная надежда — пережить своего старика, похоронить его и таким образом навсегда стряхнуть это ничтожество с простынь.

Где-то к 1952 году я напрочь позабыла о его гладком лбе, а к 1956-му и от остальных частей не было никакой пользы; мне кажется, я начала ненавидеть его к тому времени, когда Кеннеди победил Айка, но тогда у меня и в мыслях не было убивать его. Единственной причиной, по которой я жила с Джо, было то, что моим детям нужен был отец. Ну разве это не смешно? Но это правда. Клянусь. Но клянусь и в другом: если бы Господь дал мне еще один шанс, я бы снова убила его, даже если бы это грозило мне геенной огненной и вечным проклятьем...

Мне кажется, все старожилы на Литл-Толле знают, что это я убила его, и знают почему: из-за того, как он упражнялся в силе своих кулаков на мне. Но в могилу его свело не то, что он бил меня. Правда заключается вот в чем, что бы там ни думали: он ни разу не ударил меня за три последних года нашего супружества. Я вылечила его от этой дури в конце 1960-го — начале 1961 года.

До этого он жестоко избивал меня, это так. И я терпела его побои — нет смысла отрицать. Первый раз это случилось на второй вечер после нашей свадьбы. На выходные мы поехали в Бостон — это был наш медовый месяц — и остановились в «Паркер-хаус». Знаете, мы были всего-навсего парочкой деревенских мышек и боялись заблудиться. Джо сказал: будь он проклят, если потратит двадцать пять долларов, полученных от моих родителей в приданое, на поездку в такси только потому, что не может найти обратной дороги в отель. Господи, ну разве он не тупица! Конечно, я тоже была такой... но единственное, чего во мне не было (и я рада, что это так), так это вечной подозрительности. Джо казалось, что все человечество только и думает о том, как бы обдурить его, и, мне кажется, чаще всего он напивался потому, что только тогда он мог засыпать, закрыв оба глаза.

Впрочем, к делу это не относится. Я собиралась рассказать о том, что в ту субботу мы спустились в ресторан, отлично пообедали, а потом снова поднялись в свою комнату. Помню, как Джо, идя по коридору, все время кренился вправо и держался за стену — он выпил четыре или пять банок пива за обедом, перешедшие в девять или десять к вечеру. Как только мы оказались в комнате, Джо уставился на меня и смотрел так долго и пристально, что я спросила, не увидел ли он что-нибудь странное.

— Нет, — ответил Джо, — но там, в ресторане, я заметил, как один из мужчин заглядывал тебе под подол, Долорес. Как раз в то место, где кончаются чулки. И ты знала, что он смотрит, ведь так?

Я чуть не сказала ему, что в углу мог сидеть сам Гэри Купер с Ритой Хэйворт, и то я не знала бы об этом, а потом подумала: «К чему такие объяснения?» Не имело никакого смысла спорить с Джо, когда он был пьян; я вступала в этот брак с открытыми глазами, и я не собираюсь обманывать вас на этот счет.

— Если мужчина заглядывал мне под подол, почему же ты не подошел к нему и не сказал, чтобы он закрыл глаза, Джо? — спросила я. Это была всего лишь шутка — может быть, я просто хотела переменить ход его мыслей, — но он воспринял это не как шутку. Вот это я помню, Джо не понимал шуток; честно говоря, у него вообще не было чувства юмора. Что-то, чего я не знала, взбесилось в нем; сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что в те годы я считала чувство юмора чем-то вроде носа или ушей — у одних людей они могут работать лучше, у других хуже, но у всех они должны быть.

Джо схватил меня, крутанул и пихнул ногой.

— До конца жизни никто, кроме меня, не должен знать, какого цвета у тебя нижнее белье, Долорес, — сказал он. — Ты слышишь меня? Никто, кроме меня.

Я действительно считала, что это входит в любовную игру, что он разыгрывает ревность, чтобы польстить мне, — вот какой простофилей я была. Конечно, это была ревность, но любовь не имела к этому никакого отношения. Точно так же собака вцепится в свою кость и начнет угрожающе рычать, если вы подойдете слишком близко. Тогда я этого еще не осознавала и смирилась. Я смирилась, потому что считала, что если муж бьет свою жену время от времени, то это является неотъемлемой частью замужества — не очень приятной частью, но мытье туалета тоже не очень-то приятная часть замужества, однако большинству женщин приходится делать это после того, как фата и свадебное платье сложены на чердаке. Разве не так, Нэнси?

Мой отец тоже время от времени бил мою мать; наверное, именно поэтому мне казалось это нормальным — лишь нечто, с чем нужно мириться. Я очень любила отца, и они с матерью очень любили друг друга, но он мог быть очень грубым, когда ему вожжа попадала под хвост.

Я помню, как однажды (мне тогда было лет девять) отец пришел после косьбы на поле Джорджа Ричардса, а мама еще не успела приготовить обед. Я уже не могу припомнить, что помешало ей, но я отлично помню, что случилось после его прихода. На нем были одни штаны (отец снял ботинки и носки на лестнице, потому что в них было полно соломы), а плечи и лицо обгорели на солнце. Волосы на висках взмокли от пота, ко лбу прилипли соломинки. Он выглядел разгоряченным и очень уставшим.

Он вошел в кухню. На столе стояла только стеклянная ваза с цветами. Отец повернулся к маме и спросил:

— Где мой ужин, курва?

Мать открыла было рот, но прежде чем она успела что-то сказать, отец пятерней сгреб ее лицо и с силой отшвырнул маму в угол. Я стояла в кухонных дверях и все видела. Он стал приближаться ко мне, опустив голову, волосы закрывали его глаза — каждый раз, видя мужчину, вот так идущего домой после тяжелого трудового дня, я всегда вспоминаю отца, — и я испугалась. Я хотела убраться с его пути, чувствуя, что и меня он может вот так же отшвырнуть, но ноги у меня будто налились свинцом. Но он бы никогда не смог сделать этого. Он просто взял меня за плечо своей огромной теплой рукой, отодвинул в сторону и вышел. Он сея у сарая, положив ладони на колени, свесив голову, как бы разглядывая свои руки. Он распугал всех кур, но потом они вернулись и стали копошиться у его ног. Я думала, он отшвырнет и их, только перья полетят, но и этого он никогда не смог бы сделать.

Потом я посмотрела на мать. Она все еще сидела в углу, прикрыв лицо кухонным полотенцем, и плакала. Скрестив руки, она обхватила грудь. Это я помню особенно отчетливо, хотя и не знаю почему — то, что ее руки были именно скрещены на груди. Я подошла и обняла ее. Почувствовав прикосновение моих рук, мама тоже обняла меня. Затем она отняла полотенце от лица, вытерла им глаза и сказала мне, чтобы я пошла спросить отца, хочет ли он бутылочку холодного лимонада или пива.

— Только обязательно скажи ему, что у нас только две бутылки пива, — сказала она. — Если он хочет больше, то ему лучше пойти в магазин или не начинать пить вообще.

Я вышла в нему, и отец ответил, что не хочет пива, а только стакан лимонада, чтобы утолить жажду. Я побежала выполнить его просьбу. Мама готовила ужин; ее лицо все еще было опухшим от слез, но она напевала какую-то песенку, и в ту ночь пружины на их кровати скрипели так же, как и в другие ночи. Никогда ничего больше не было сказано о случившемся. Происшествия такого рода в те дни назывались домашней наукой, это было частью мужской работы, а если я и вспоминала об этом впоследствии, то думала, что, наверное, мама заслужила это, иначе отец никогда бы не поступил так.

Было еще несколько случаев, когда я видела, как отец «учил» маму, но именно этот я запомнила больше всего. Я никогда не видела, чтобы он бил ее кулаками, как иногда бил меня Джо, но один раз он стеганул ее поперек спины куском мокрой парусины — это, наверное, было чертовски больно. Я помню, что красные следы от удара не сходили весь день.

Но теперь никто уже не называет это домашней наукой — этот термин просто выпал из обращения, — но я выросла с убеждением, что если женщина или дети переступили черту, то это мужская обязанность — вернуть их обратно. Меня не просто воспитали в таком духе, я была убеждена, что это правильно, — и не так-то легко разубедить меня. Но я знала, что мужчина, распускающий руки, не всегда действует в целях науки... но я все же очень долго позволяла Джо это делать. Наверное, просто я очень уставала от хлопот по дому, от работы у отдыхающих, от забот о подрастающих детях, от сглаживания конфликтов Джо с соседями, чтобы обращать на это особое внимание.

Замужество с Джо... о, проклятье! На что похоже любое замужество? Наверное, все семьи разные, но со стороны они выглядят совсем не так, как изнутри, должна я вам сказать. В том, какой люди видят супружескую жизнь и какова она на самом деле, обычно не больше скрытого смысла, чем искренности в родственном поцелуе. Иногда это ужасно, иногда забавно, но чаще всего это как в самой жизни: обе стороны — внешняя и внутренняя — вместе.

Люди думают, что Джо был алкоголиком, избивающим меня, а может быть, и детей. Они думают, что он делал это слишком часто, и в конце концов я отплатила ему. Это правда, что Джо пил, как и то, что иногда он ездил на собрания Анонимных алкоголиков в Джонспорт. Он запивал каждые пять или шесть месяцев, чаще всего вместе с такими забулдыгами, как Рик Тибодо или Стив Брукс — эти мужчины действительно были алкоголиками, — но потом он резко бросал пить, ну разве что рюмочку перед сном. Но не более того, потому что если перед ним поставить бутылку, то он пил, пока не увидит дна. Те алкоголики, которых я знала в свое время, никогда не стремились допивать бутылку до дна — ни Джим Бим, ни Старина Дюк. А настоящего пьяницу интересуют только две вещи: как бы допить то, что находится в стакане, и отправиться на поиски новой выпивки.

Нет, Джо не был алкоголиком, но он не возражал, если другие считали его таковым. Это помогало ему получать работу, особенно летом. Я считаю, что мнение людей об Анонимных алкоголиках со временем изменилось, — я знаю, что теперь о них говорят больше, чем раньше, — но не изменилось то, как эти люди пытаются помочь человеку, говорящему, что он хочет начать работать над собой самостоятельно. Однажды Джо не пил целый год — по крайней мере, он никому не говорил об этом, если даже и выпивал, — и Анонимные алкоголики устроили вечер в его честь в Джонспорте. Вручили ему торт и медальон. Так что после этого, когда он отправлялся наниматься на работу к кому-нибудь из отдыхающих, первое, о чем Джо сообщал, было то, что он излечившийся алкоголик.

— Если вы не захотите нанять меня по этой причине, я не обижусь, — говорил Джо, — но тогда мне не выдержать. Я уже целый год хожу на собрания, и там нас убеждают, что мы не сможем бросить пить, если не будем честными.

А потом Джо вытаскивал свою медальку и показывал ее. При этом он выглядел так, будто у него уже несколько дней крошки во рту не было. Я думаю, что некоторые едва сдерживали слезы, когда Джо нес всякую околесицу, рассказывая им о том, как тяжело ему было бороться с пристрастием к спиртному. Обычно они с радостью брали его на работу и платили по пятьдесят центов, а иногда и по доллару в час — намного больше, чем намеревались заплатить ранее. Вы, наверное, думаете, что эта хитрость раскрывалась сразу же после Дня Труда, но нет, уловка срабатывала удивительно хорошо, даже здесь, на острове, где люди видели его каждый день и знали лучше.

Это правда, что Джо часто избивал меня. Когда он набирался, то не очень-то церемонился со мной. Затем в 1960-м или 1961 году Джо, вернувшись домой после того, как помог Чарли Диспенсери вытащить лодку из воды, нагнулся, чтобы взять бутылочку кока-колы из холодильника, я увидела, что брюки его лопнули по шву. Я рассмеялась. Я не могла сдержаться. Джо ничего не сказал, но когда я подошла к плите, чтобы помешать капусту — в тот вечер я готовила тушеную капусту, я помню это так, будто все произошло только вчера, — он взял кленовую палку-ухватку и врезал мне поперек спины. О, какая это была боль! Вы понимаете, о чем я говорю, если кто-нибудь когда-нибудь бил вас по почкам. Это вызывает чувство жара и тяжести, почки внутри вас сжимаются, как бы собираясь оторваться от того, что их там держит, как иногда срывается с ручки тяжелое ведро. Я доковыляла до стола и плюхнулась на один из стульев. Я бы упала прямо на пол, если бы этот стул оказался хоть чуточку дальше. Я сидела и ждала, когда боль хоть немножечко отступит. Я не закричала, потому что не хотела испугать детей, но слезы ручьем катились по моему лицу. Я не могла сдержать их. Это были слезы боли, их невозможно ничем и ни перед кем сдержать.

— Никогда не смейся надо мной, сука, — сказал Джо. Он положил ухват обратно, а затем уселся читать «Америкэн». — Тебе давно пора бы это усвоить.

Прошло минут двадцать, прежде чем я смогла встать с этого стула. Мне даже пришлось позвать Селену, чтобы она прикрутила газ под овощами и мясом, хотя плита была всего в четырех шагах от меня.

— А почему ты сама не сделала этого? — спросила меня дочь. — Я смотрю мультики с Джоем.

— Я отдыхаю, — ответила я.

— Это правда, — заметил Джо, прикрываясь газетой, — она наболталась до изнеможения. — И засмеялся. Вот тут-то все и произошло: все случилось из-за этого смеха. В тот момент я решила, что больше он меня не ударит, не расплатившись за этот последний удар сполна.

Мы, как обычно, поужинали и, как обычно, посмотрели телепрограммы — я со старшими детьми на диване, а Малыш Пит — на коленях у отца в огромном кресле. Пит там и заснул, как всегда где-то в половине восьмого, и Джо отнес его в кроватку. Час спустя я отправила спать Джо-младшего, а Селена ушла в девять. Обычно я ложилась около десяти, а Джо сидел до полуночи, то засыпая, то просыпаясь, смотрел телевизор, дочитывал какую-то статью в газете, ковыряя в носу. Так что видишь, Фрэнк, ты не такой уж и плохой, некоторые люди так никогда и не отделываются от дурных привычек, даже когда они становятся совсем взрослыми.

В тот вечер я не отправилась спать в обычное время. Вместо этого я осталась с Джо. Теперь спина болела уже не так сильно. Уже хорошо, чтобы сделать то, что я хотела. Наверное, я волновалась, но даже если это и так, то я не ощущала этого. Я ждала, когда же Джо задремлет, и наконец-то он заснул.

Я встала, прошла в кухню и взяла со стола маленький кувшин для сливок. Я не специально искала именно его; он попался мне под руку только потому, что в тот вечер со стола должен был убирать Джо-младший, а он забыл поставить его в холодильник. Джо-младший постоянно забывал что-нибудь — убрать кувшин для сливок, накрыть масленку крышкой, положить хлеб в кулек, из-за чего хлеб по срезу всегда подсыхал за ночь, — а теперь, когда я смотрю на него, выступающего в теленовостях, дающего интервью или произносящего речь, то это единственное, о чем я способна думать... мне интересно, что бы подумали демократы, узнав, что их лидер в Сенате от штата Мэн в возрасте одиннадцати лет никогда не мог как следует убрать с кухонного стола. Однако я горжусь им, так что никогда, никогда не думайте иначе. Я горжусь им, хоть он и принадлежит к демократам.

Однако в тот вечер ему удалось оставить на столе самую нужную вещь; кувшин для сливок был маленьким, но тяжелым, к тому же он удобно умещался в моей руке. Я пошарила в ящике и нашла топорик с короткой рукояткой. После этого я снова вернулась в гостиную, где дремал Джо. Кувшином, зажатым в правой руке, я просто врезала Джо по голове. Кувшин разлетелся на тысячи кусочков.

Он резко вскочил, когда я сделала это, Энди. О, ты бы послушал его в тот момент! Громко?! Господи Боже и Сыне Божий Иисусе! Он орал, как бык, которому прищемило яйца садовой калиткой. Выпучив глаза, Джо прижимал руку к кровоточащему уху. По лицу стекали струйки сливок.

— Знаешь что, Джо? — сказала я. — Я уже больше не чувствую себя уставшей.

Я слышала, что Селена соскочила с кровати, но решила не оглядываться. Я должна была вынести все и держать оборону, если уж пошла на это, — когда Джо хотел, он был вертким, как змея. В опущенной левой руке я держала топорик, почти скрытый под фартуком. А когда Джо начал подниматься с кресла, я подняла топорик и показала ему.

— Если ты не хочешь получить по голове вот этим, Джо, тебе лучше посидеть, — сказала я.

На какое-то мгновение мне показалось, что он все равно встает. Если бы он сделал это, то прямо тогда ему и пришел бы конец, потому что я не шутила. Джо, поняв это, так и застыл, не касаясь ягодицами сидения кресла.

— Мамочка? — позвала Селена из своей спальни.

— Иди ложись спать, милая, — ответила я, не сводя взгляда с Джо ни на секунду. — Мы тут с твоим папой побеседуем немного.

— Все хорошо?

— А как же, — сказала я. — Ведь так, Джо?

— А-га, — выдавил из себя Джо. — Хорошо, как дождь.

Я слышала, как Селена сделала несколько шагов, но не сразу услышала стук закрываемой двери — прошло десять, а может, и пятнадцать секунд — я знала, что она стоит и смотрит на нас. Джо оставался в той же позе: одна рука на подлокотнике кресла, а ягодицы пляшут над сиденьем. Затем мы услышали, как закрылась дверь спальни Селены, и это, кажется, заставило Джо понять, как глупо он выглядит — полусидя, полустоя, прикрыв рукой ухо, и с этими струйками сливок, стекающими по щекам.

Джо опустился в кресло и отнял руку от уха. Рука и ухо были в крови, ухо сильно распухло.

— Ах ты сука, неужели ты думаешь, что это сойдет тебе с рук? — прошипел он.

— Мне? — спросила я. — Ну что ж, тогда тебе лучше запомнить следующее, Джо Сент-Джордж: что бы ты ни сделал мне, тебе достанется вдвойне.

Джо усмехнулся, как бы не веря своим ушам:

— Тогда мне остается только одно — убить тебя.

Я протянула ему топорик, еще прежде того, как эти слова вырвались из его груди. Я не собиралась делать этого, но как только я увидела, что он продолжает усмехаться, я поняла, что это единственное, что я могла сделать.

— Давай, — сказала я. — Только сделай это с одного удара, чтобы я не очень мучилась.

Джо взглянул на меня, потом на топорик, потом снова на меня. Удивление, написанное на его лице, было бы комичным, если бы ситуация не была настолько серьезной.

— А потом, когда ты сделаешь это, тебе лучше разогреть еду и хорошенько поесть, — сказала я Джо. — Ешь, пока не нажрешься, потому что тебя отправят в тюрьму, а я не слышала, чтобы там готовили что-нибудь вкусненькое. Сначала тебя заберут в Белфаст. Клянусь, у них найдется оранжевый костюмчик как раз твоего размера.

— Заткнись, курва, — процедил Джо.

Однако я продолжала:

— А после этого тебя переведут скорее всего в Шошанк, и я знаю, там не будут подавать горячий обед к твоему столу. Они не позволят тебе играть в покер по пятницам. Единственное, о чем я прошу, сделай все быстро и так, чтобы дети не увидели кровавого месива, когда дело будет сделано.

Потом я закрыла глаза. Я была уверена, что Джо не сделает этого, но уверенность ничего не значит, когда твоя жизнь висит на волоске. Это я отлично поняла в ту ночь. Я стояла, зажмурив глаза, не видя ничего, кроме темноты, размышляя, что я почувствую, когда топорик раскроит мне череп. Умирать буду — не забуду то ощущение. Помню, я еще обрадовалась, что наточила топорик дня два назад. Если уж он собирается убить меня, то уж лучше сделать это острым топором.

Мне показалось, я простояла так лет десять. А потом Джо грубо произнес охрипшим голосом:

— Ты собираешься ложиться спать или так и будешь стоять здесь, как Хелен Келлер?

Я открыла глаза и увидела, что он убрал топорик под кресло — я могла видеть только кончик рукоятки, высовывающийся из-под оборки чехла. Газета, которую читал Джо, лежала у его ног шалашиком. Джо наклонился, поднял ее и сложил — пытаясь вести себя так, будто ничего не случилось, — но из уха сочилась кровь, а руки сильно дрожали. На газете остались кровавые отпечатки его пальцев, и я решила сжечь эту проклятую газету, прежде чем пойду спать, чтобы дети не увидели ее и не спрашивали, что случилось.

— Сейчас я пойду переоденусь, но сначала мы должны все выяснить, Джо.

Он взглянул на меня, а потом медленно произнес:

— Тебе что, мало, Долорес? Это огромная, огромная ошибка. Лучше не дразни меня.

— А я и не дразню, — возразила я. — Дни, когда ты избивал меня, закончились, вот и все, что я хочу сказать. Если ты еще хоть раз ударишь меня, один из нас окажется в больнице. Или в морге.

Он очень долго смотрел на меня, Энди, а я смотрела на него. В его руках не было топорика, тот лежал под креслом, но это не имело значения; я знала, что стоит мне отвести взгляд, и тычкам и ударам никогда не наступит конец. В конце концов он посмотрел на газету и пробормотал:

— Помоги мне, женщина. Принеси мне полотенце, если уж не можешь сделать что-нибудь другое. У меня вся рубашка в крови.

Это был последний раз, когда Джо ударил меня. В душе Джо был трусом, однако я никогда не говорила об этом вслух — ни тогда, ни после. Это самое опасное, что можно сделать, потому что трус больше всего боится быть раскрытым, он боится этого даже больше смерти.

Конечно же, я знала об этой черте его характера; иначе я никогда не осмелилась бы ударить его по голове кувшином, если бы не чувствовала, что смогу одержать верх. Кроме того, сидя на стуле и превозмогая боль в почках после удара Джо, я поняла кое-что: если я не восстану против него сейчас, я никогда не восстану. Поэтому я взбунтовалась.

Знаете, стукнуть Джо по голове было легче легкого. Прежде чем я смогла сделать это, я разворошила воспоминания о том, как мой отец избивал мою мать. Вспоминать это было очень тяжело, потому что я любила их обоих, но в конце концов я смогла сделать это... возможно, потому, что я должна была сделать это. И хорошо, что сделала, хотя бы только потому, что Селена никогда не будет вспоминать, как ее мать сидит в углу и плачет, прикрыв лицо полотенцем. Моя мама терпела, когда отец задавал ей жару, но я не собираюсь осуждать их. Может быть, она вынуждена была терпеть, а может быть, таким образом отец выплескивал то унижение, которое ему приходилось терпеть от человека, на которого он работал каждый день. Тогда были совсем другие времена — большинство людей даже не понимает, насколько другие, — но это вовсе не значило, что я собиралась терпеть это от Джо только потому, что была достаточно глупой, когда вышла за него замуж. Когда мужчина бьет женщину кулаками или скалкой — это уже не домашняя наука, и я, наконец, решила, что не буду терпеть побои в угоду Джо Сент-Джорджу или любому другому мужчине.

Бывали времена, когда он пытался поднять на меня руку, но потом вспоминал. Иногда, когда он уже было заносил руку, желая, но не смея ударить, я видела по выражению его глаз, что он вспомнил о кувшине... а может быть, и о топорике тоже. А потом он делал вид, будто поднял руку только для того, чтобы почесать в затылке. Он впервые получил такой урок. Возможно, единственный.

В ту ночь, когда Джо ударил меня скалкой, а я ударила его кувшином, изменилось кое-что еще. Мне бы не хотелось говорить об этом — я принадлежу к тому поколению, которое считает, что происходящее в спальне должно оставаться за закрытыми дверями, — но я считаю, что об этом лучше рассказать, потому что это одна из причин, почему все произошло именно так, а не иначе.

Хотя мы были женаты и жили под одной крышей еще два года — скорее, даже три, — только несколько раз Джо попытался предъявить на меня свои права. Он...

Что, Энди?

Конечно, я имею в виду, что он был импотентом. О чем же еще я говорю — о его правах носить мое нижнее белье, если ему так уж приспичит? Я никогда не отвергала его; просто он потерял способность делать это. Он никогда не был тем, кого называют «мужчина на каждую ночь», даже в самом начале, к тому же он не был долгоиграющим любовником — чаще всего это происходило так: трам-бам — благодарю, мадам. Однако он все равно с удовольствием забирался наверх раз или два в неделю... до того, как я ударила его молочником.

Частично это произошло из-за алкоголя — в последние годы он пил намного больше, — но я не думаю, что вся причина была только в этом. Я помню, как однажды он скатился с меня после двадцати минут безуспешных попыток, а его маленький писюн так и висел, беспомощный, как лапша. Я не помню, сколько времени прошло с той ночи, о которой я рассказывала вам, но я знаю, что это было уже после нее, так как помню — как у меня ныли почки, и я еще мечтала поскорее встать и принять аспирин, чтобы хоть как-то унять боль.

— Вот, — чуть ли не плача сказал Джо. — Надеюсь, ты довольна, Долорес? Ведь так?

Я ничего не ответила. Иногда, что бы женщина ни сказала мужчине, все будет расценено неправильно.

— Довольна? — повторил Джо. — Ты довольна, Долорес?

Я снова промолчала, просто лежала, смотрела в потолок и прислушивалась к завыванию ветра. В ту ночь он дул с востока и доносил шум океана. Мне всегда нравился этот звук. Он успокаивал меня.

Джо повернулся, и я ощутила запах пива, противный и кислый.

— Темнота обычно помогала, — произнес Джо, — но теперь даже это бесполезно. Я вижу твою уродливую морду даже в темноте. — Он вытянул руку, схватил меня за грудь и потряс ею. — А это, — произнес он. — Плоская, как блин. А внизу у тебя еще хуже. Господи, тебе нет еще и тридцати пяти, а трахаться с тобой — все равно что изваляться в грязи.

Я хотела было сказать: «Если ты можешь хоть в лужу всунуть свой ваучер, Джо, почему бы тебе не радоваться этому?» Но я сдержалась. Патриция Клейборн научила меня не быть дурочкой, как вы помните.

Потом наступила тишина, и я уже было решила, что он наговорил достаточно гадостей, чтобы заснуть, и собиралась выскользнуть из-под одеяла и принять аспирин, когда Джо снова заговорил... но теперь, в чем я была абсолютно уверена, он плакал.

— Лучше бы я никогда не встречал тебя, — произнес он, а потом добавил: — Почему ты не отрубила его тем проклятым топором, Долорес? Результат был бы тот же самый.

Как видите, не только я одна думала, что удар молочником — и последовавшее за этим разъяснение ему того, что в доме произошли изменения, — имел какое-то отношение к его проблемам. Я все так же молчала, ждала, собирается ли он заснуть или снова попытается поднять на меня руку. Он лежал голый, и я знала, куда нанесу первый удар, если он все же попытается. Очень скоро послышался его храп. Не знаю, было ли это последним разом, когда Джо попытался быть мужчиной со мной, но если это и не так, то очень близко к тому.

Никто из его друзей даже не догадывался о случившемся — и уж, конечно, он ни под каким соусом не рассказал бы им, что его жена вытрясла из него душу ударом кувшина, а его ваучер больше никогда не поднимет головку. Кто угодно, только не он! Так что когда другие рассказывали, как они избивают своих жен, Джо тоже распространялся о том, как проучил меня за то, что я не вовремя открыла рот или купила себе новое платье, не спросив у него разрешения.

Откуда я знаю? Ну что ж, иногда я держала открытыми уши, а не рот. Я знаю, слушая меня весь вечер, трудно в это поверить, но это правда.

Я помню, как однажды, когда я работала у Маршаллов, — Энди, ты помнишь Джона Маршалла, он еще все время говорил о постройке моста на материк? — у входной двери зазвонил колокольчик. Во всем доме я была одна и, поспешив к двери, споткнулась о ковровую дорожку и упала, сильно ударившись о каминную полку. На руке остался огромный синяк, как раз повыше локтя.

А через три дня, когда синяк из темно-коричневого превратился в желто-зеленый, как это обычно бывает, я натолкнулась на Иветт Андерсон. Она выходила из магазина, а я входила. Она посмотрела на синяк, а когда заговорила, то голос ее так и дрожал от сочувствия. Только женщина, увидевшая нечто, сделавшее ее счастливее, чем свинью, валяющуюся в луже, может говорить таким тоном.

— Какие же мужчины ужасные, Долорес, — сказала она.

— Ну что ж, иногда да, но иногда и нет, — ответила я. Я не имела ни малейшего представления, о чем это она говорит, — меня больше всего волновало, успею ли я купить свиные отбивные или их расхватают до меня.

Иветт погладила меня по руке — той, на которой не было синяка, и сказала:

— Мужайся. Что ни делается, все к лучшему. Я пережила такое, кому как не мне знать. Я помолюсь за тебя, Долорес. — Она произнесла эти слова так, будто дала мне миллион, а потом пошла своей дорогой. Заинтригованная, я вошла в магазин. Я могла бы подумать, что она потеряла разум, но любому, кто провел с Иветт хотя бы один день, ясно, что терять там абсолютно нечего.

Я стояла, наблюдая, как Скиппи Портер взвешивает отбивные, на руке у меня висела хозяйственная сумка. Я сделала уже половину покупок, когда до меня наконец-то дошло. Откинув голову, я рассмеялась, смех исходил из глубины души, так смеются, когда абсолютно не могут сдержаться. Скиппи оглянулся на меня и спросил:

— С вами все в порядке, миссис Клейборн?

— Да, — ответила я. — Просто я вспомнила одну смешную историю. — И снова зашлась смехом.

— Хорошо, коли так, — согласился Скиппи и снова повернулся к весам. — Да благословит Господь Портеров, Энди; сколько я их знаю, это по крайней мере единственная семья, которая знает, как делать свое дело. — А я все еще заливалась смехом. Несколько людей посмотрели на меня, будто я сошла с ума, но меня это не волновало. Иногда жизнь настолько чертовски забавная штука, что вы просто должны смеяться.

Иветт была замужем за Томми Андерсоном, а Томми был одним из собутыльников Джо и его партнером по игре в покер в конце пятидесятых — начале шестидесятых. Они собирались у нас дома, чтобы обмыть последнюю сделку Джо — он продал старенький пикап. У меня был выходной, и я вынесла им кувшин с чаем со льдом в надежде удержать их от выпивки хотя бы до захода солнца.

Скорее всего, Томми увидел синяк, когда я разливала чай. После моего ухода он, наверное, спросил Джо, что случилось, а может, просто намекнул. В любом случае, Джо Сент-Джордж не был приятелем, упускающим возможность — по крайней мере, не такую. Когда я обдумывала это по дороге домой, меня интересовало одно: что Джо сказал Томми и другим, что, по его словам, я сделала — забыла поставить его тапочки на печку, чтобы они были теплыми, когда он станет надевать их, или слишком разварила бобы, готовя в субботу ужин. Что бы там ни было, Томми пришел домой и сказал Иветт, что Джо Сент-Джорджу пришлось немного проучить жену. А я лишь всего-навсего ударилась о каминную полку в доме у Маршаллов, когда бежала открывать дверь!

Вот что я имела в виду, когда говорила, что замужество имеет две стороны — внешнюю и внутреннюю. Люди, живущие на острове, смотрели на нас с Джо так же, как они смотрели и на другие семейные пары нашего возраста: не слишком счастливые, но и не слишком несчастные — просто как на двух лошадей, тянущих одну тележку... они могут не замечать друг друга, как раньше, они могут не ладить друг с другом, как ладили раньше, когда действительно замечали друг друга, но они все равно идут бок о бок по дороге, как если бы они шли по ней, продолжая любить друг друга.

Но люди — это не лошади, а семья — это не повозка, хотя мне кажется, что именно так это иногда выглядит со стороны. Люди на острове ничего не знали о молочнике или о том, как Джо плакал в темноте и говорил, что лучше бы он никогда не видел моего уродливого лица. Но и это было не самое ужасное. Самое худшее началось через год после прекращения нашей возни в постели. Разве не смешно, как люди смотрят на вещи и делают абсолютно неправильные выводы, почему это случилось. Но это вполне естественно, если помнить, что внутренняя и внешняя стороны брака не очень-то совпадают. То, что я собираюсь рассказать сейчас, касалось только нас, и до сегодняшнего дня я думала, что это никогда не выплывет наружу.

Оглядываясь назад, я думаю, что проблема по-настоящему возникла в 1962 году. Селена только что поступила в среднюю школу на материке. Она стала очень хорошенькой, и я помню, что в то лето, после первого года обучения, она была более дружна с отцом, чем в предыдущие несколько лет. Я боялась переходного возраста Селены, предвидя ссоры между ними, когда она начнет подрастать и сомневаться в правильности его суждений, а этого Джо не потерпел бы — ему казалось, что он имеет все права на нее.

Однако вопреки моим опасениям между ними установились теплые, дружественные отношения, и она часто наблюдала, как он работает в сарае, или устраивалась на ручке его кресла, когда мы смотрели телевизор по вечерам, и во время рекламных пауз спрашивала о том, как прошел его день. Джо отвечал ей спокойным, задумчивым голосом, от которого я уже отвыкла... но все еще могла вспомнить. Я помнила его со времени учебы в школе, когда я сказала ему о своем положении, а он согласился взять меня в жены.

Одновременно с этим Селена все больше отдалялась от меня. О, она по-прежнему помогала мне по дому, а иногда рассказывала о том, как прошел ее день в школе... но только если я уходила на работу или расспрашивала ее. Холодность появилась там, где ее раньше не было, и только намного позже я начала понимать, как все сходится и что корни ведут к той ночи, когда она вышла из своей спальни и увидела нас: папочку, прижавшего руку к окровавленному уху, и мамочку, стоящую рядом, с занесенным над его головой топориком.

Я уже говорила, что Джо никогда не упускал своих возможностей; и это была одна из них. Томми Андерсону он рассказал одну историю; то, что он рассказал своей дочери, было старой песней на новый лад — как говорится, скамья-то новая, да стены старые. Мне кажется, что сначала это произошло только из чувства мести; он знал, насколько сильно я люблю Селену, и он думал, что, рассказав ей, какой у меня грубый и ужасный характер — может быть, даже несколько опасный, — он отыграется на мне, и хотя ему так никогда и не удалось одержать верх, ему все-таки удалось сойтись с ней ближе, чем когда она была маленькой девочкой. А почему бы и нет? Селена всегда была мягкосердечной девочкой, а я никогда не встречала мужчину, более нуждавшегося в жалости и сочувствии, чем Джо.

Он вошел в ее душу, а попав туда, в конце концов должен был заметить, какой красавицей она становится, и захотеть получить нечто большее, чем просто благодарного слушателя, когда он говорит, или помощницу, чтобы передать деталь, когда он, засунув голову в капот, ремонтирует двигатель старенького грузовичка. И все то время, когда все это происходило, я крутилась поблизости, успевала на четырех работах, стараясь хоть что-нибудь сэкономить на образование детей. Я все замечала слишком поздно.

Она была живым, болтливым ребенком — моя Селена, всегда готовая услужить. Если вы хотели, чтобы она принесла что-то, она никогда не шла — она бежала. Повзрослев, она накрывала на стол, пока я была на работе, и мне даже не надо было просить ее об этом. Сначала у нее всегда что-нибудь подгорало, и Джо придирался к ней или высмеивал — он не раз доводил Селену до слез, — но к тому времени, о котором я вам рассказываю, он перестал делать это. Весной и летом 1962-го он вел себя так, будто каждый пирожок, сделанный ею, был для него амброзией, даже если корочка напоминала цемент, и он расхваливал мясное рагу, приготовленное ею, как если бы это был шедевр французской кухни. Селена была просто счастлива — конечно, любой человек был бы рад, — но она не кичилась этим. Она вовсе не была такой девочкой. Однако я должна вам кое-что сказать: когда Селена окончательно ушла из дома, она была лучшим кулинаром в свои худшие дни, чем я — в мои лучшие.

Что касается помощи по дому, то вряд ли матери следует желать лучшей дочери — особенно матери, которая вынуждена большую часть времени убирать за другими людьми. Селена никогда не забывала позаботиться о завтраках для Джо-младшего и Малыша Пита, когда они отправлялись в школу, и всегда успевала обвернуть их учебники в начале каждого года. Джо-младший мог бы и сам сделать хотя бы это, но Селена не оставляла ему такой возможности.

Она была очень старательной и усидчивой ученицей, но никогда не переставала интересоваться тем, что происходит вне стен ее дома, как делают это некоторые восприимчивые дети в этом возрасте. Многие дети в возрасте тринадцати или четырнадцати лет считают, что люди старше тридцати — дремучие, отсталые старики, и стараются выскользнуть за дверь, как только те появляются на пороге. Но только не Селена. Она приносила гостям кофе, пододвигала угощение, а потом усаживалась на стул у плиты и слушала разговоры взрослых. Неважно, кто говорил — или я с двумя-тремя своими приятельницами, или Джо со своими дружками, — Селена слушала. Она бы оставалась с ними даже во время игры в покер, если бы я ей разрешала. Но я не разрешала, потому что во время игры они крепко выражались. Этот ребенок смаковал разговоры, как мышка смакует кусочек сыра, а то, что не, может съесть, откладывает в загашник.

Потом Селена изменилась Точно не припомню, когда это началось, но я заметила это впервые в начале ее второго года обучения в школе — где-то ближе к концу сентября.

Первое, что я заметила, было то, что Селена перестала приезжать домой на более раннем пароме, как она это делала в прошлом году, хотя это и было для нее удобнее: она успевала выучить уроки, пока не появлялись мальчишки, прибрать в доме или начать готовить ужин. Вместо двухчасового парома она приезжала на том, который отправлялся с материка в четыре сорок четыре.

Когда я спросила ее об этом, она ответила, что ей удобнее делать домашнее задание в классе после уроков, и бросала на меня взгляд искоса, который яснее ясного говорил, что Селена больше не хочет говорить об этом. Мне показалось, что в этом взгляде был стыд, а возможно, и обман. Конечно, это обеспокоило меня, но я решила не торопить события, пока наверняка не пойму, что же здесь не так. Видите ли, разговаривать с ней было очень трудно. Я чувствовала дистанцию, возникшую между нами, и прекрасно понимала, откуда все идет: Джо, повисший над креслом и истекающий кровью, и я, занесшая над ним топорик. И впервые я поняла, что он, возможно, разговаривал с ней об этом. Придавая этому, так сказать, собственную окраску.

Я подумала, что если сильнее прижму Селену по поводу ее задержек в школе, мои проблемы с ней только увеличатся. Что бы я ни спросила ее, звучало бы так:

«Что ты задумала, Селена?», и если это звучало так для меня, тридцатипятилетней женщины, то как бы это звучало для девочки, не достигшей даже пятнадцатилетнего возраста? В этом возрасте очень трудно разговаривать с детьми: нужно ходить на цыпочках, как будто на полу стоит баночка с нитроглицерином.

Вскоре после начала учебного года в школе было родительское собрание, и я приготовилась к нему. Мне не нужно было говорить обиняками с классным руководителем Селены, и я спросила ее напрямую, знает ли она, почему Селена стала задерживаться в школе в этом году. Та ответила, что не знает, но вроде бы для того, чтобы успевать приготовить уроки. Я не сказала этого вслух, но подумала, что Селена в прошлом году вполне справлялась с этим и дома, сидя за письменным столом в своей комнате, так что же изменилось? Я могла бы сказать это, если бы у учительницы были ответы на мои вопросы, но, очевидно, их не было. Черт, она сама, наверное, бежала домой сломя голову после звонка.

Никто из других учителей тоже не смог помочь мне. Я слушала, как они превозносят Селену до небес, и, возвращаясь домой на пароме, знала не больше, чем если бы осталась дома.

На пароме, сидя у окна, я наблюдала за девочкой и мальчиком, которые были не старше Селены, они стояли на палубе, взявшись за руки, и зачарованно смотрели на поднимающуюся над океаном луну. Он повернулся к ней и сказал что-то смешное, девочка рассмеялась. «Ты будешь глупышкой, если упустишь такой шанс, парнишка», — подумала я, но он не упустил — просто склонился к ней, взял за другую руку и поцеловал. «Господи, какая же я глупая, — подумала я, наблюдая за ними. — Или глупая, или просто уже старая, чтобы помнить, что такое быть пятнадцатилетней, когда каждый нерв твоего тела дрожит и пылает, как свеча днем, а особенно вечером. Селена познакомилась с мальчиком, вот и все. Ей понравился мальчик, и они, возможно, вместе делают уроки в школе. Больше изучают друг друга, чем учебники». Я даже несколько успокоилась, должна я вам сказать.

Я думала об этом несколько дней после этого — единственное преимущество в стирке простынь, глажении рубашек и выбивании ковровых дорожек это то, что у вас остается много времени на раздумья, — и чем больше я думала, тем менее спокойной я становилась. Она никогда не говорила ни о каком мальчике, во-первых, и вообще не в характере Селены умалчивать о том, что происходит в ее жизни. Она уже не была такой же открытой и дружелюбной со мной, как раньше, нет, но между нами не было и стены молчания. Кроме того, я считала, что если Селена влюбится, то об этом будут знать все вокруг.

Важная вещь — пугающая — это то, как ее глаза смотрели на меня. Я всегда понимала: если девушка сходит с ума по какому-нибудь парню, то ее глаза напоминают люстру, в которой зажжены все лампочки. Когда я искала такой искрящийся свет в глазах Селены, то не находила его... но это было еще не самое плохое. Тот свет, который был в них прежде, тоже ушел — вот что было ужасно. Смотреть в ее глаза было все равно что смотреть в окна пустого дома, из которого выехали жильцы и забыли закрыть ставни.

Наблюдение за этим открыло мне глаза, и я начала замечать множество мелочей, которые я могла увидеть и раньше — должна была увидеть, если бы не работала как лошадь и если бы не обвиняла себя в том, что Селена видела, как я угрожала ее отцу.

Первым моим открытием было то, что причина была не только во мне — она шла и от Джо. Селена перестала выходить поговорить с ним, когда Джо чинил мотор или делал что-нибудь по хозяйству, и перестала сидеть на ручке его кресла, когда мы смотрели телевизор. Если она и оставалась сидеть в гостиной, то устраивалась в углу на кресле-качалке с вязанием на коленях. Но чаще всего она не оставалась с нами. Селена уходила в свою комнату и закрывала за собой дверь. Казалось, Джо даже не замечает этого. Он просто откидывался в своем кресле и держал на руках Малыша Пита, пока не приходило время укладывать его спать.

Вторая причина была в ее волосах — Селена перестала мыть голову каждый день, как раньше. Иногда волосы казались такими жирными, что можно было на том жиру даже поджарить яйца, а это уже совсем не было похоже на Селену. У нее всегда был отличный цвет лица — персик с молоком, это она унаследовала от Джо, — но в тот октябрь прыщики на ее лице расцвели, как одуванчики после Дня Поминовения. Румянец исчез с ее щек, пропал также и аппетит.

Она по-прежнему общалась со своими лучшими подружками — Таней Кэрон и Лаурой Лэнгилл. Селена ходила к ним время от времени, но вовсе не так часто, как раньше. И этот факт заставил меня вспомнить, что ни Таня, ни Лаура не приходили к нам в дом с тех пор, как начался учебный год... и, может быть, даже в последний месяц каникул. Это напугало меня, Энди, и это склонило меня даже к более внимательному наблюдению за моей девочкой. И то, что я увидела, напугало меня еще больше.

Например, то, как она меняла свою одежду. Не просто один свитер на другой или юбку на платье; она изменила весь стиль своей одежды, и эти изменения были в худшую сторону. Во-первых, одежда абсолютно не подчеркивала ее фигуру. Вместо того чтобы носить в школу юбки или платья, Селена надевала свободные джемпера. Они делали ее толще, хотя она была худенькой.

Дома она надевала мешковатые свитера, доходившие ей до колен, и я никогда не видела Селену в джинсах. Выходя на улицу, она наматывала на голове уродливый тюрбан из шарфа — нечто настолько большое, что нависало над ее бровями и делало ее глаза похожими на двух диких зверьков, выглядывающих из пещеры. Она походила на мальчишку-сорванца, но я считала, что с этим уже покончено, когда Селене исполнилось двенадцать. Однажды вечером, когда я вошла к ней в комнату, забыв предварительно постучать, Селена только что сняла платье, оставшись в одной комбинации, и она, должна я вам сказать, вовсе не напоминала мальчика.

Но самым плохим было то, что она стала очень мало разговаривать. Не только со мной; судя по нашим отношениям, я могла понять это. Однако Селена перестала разговаривать со всеми. Она сидела за обеденным столом, опустив голову и пряча глаза, а когда я пыталась заговорить с ней, расспрашивая, как прошел ее день и тому подобное, то в ответ получала только: «Нормально. Хорошо» — вместо целого потока болтовни, как обычно. Джо-младший тоже пытался разговорить Селену, но тоже наткнулся на каменную стену молчания. Он поглядывал на меня с изумлением. А как только заканчивался ужин и тарелки были вымыты, она уходила из дома или поднималась к себе в комнату.

Прости меня, Господи, но сначала я думала, что у нее все это происходит из-за марихуаны... и не смотри на меня так, Энди, как будто я не понимаю, о чем говорю. В те дни это называлось именно так, а не просто «травка», но это было одно и то же, и на острове было достаточно людей, употребляющих ее... Большое количество марихуаны перевозили через остров контрабандой, как и сегодня, и некоторое количество ее оседало здесь. Тогда еще не было кокаина, слава Господу, но если бы вам захотелось покурить травки, вы без труда нашли бы ее. Как раз в то лето был арестован Марки Бенуа — у него обнаружили четыре тюка товара. Возможно, именно из-за этого такая мысль взбрела мне в голову, но даже спустя столько лет я не представляю, почему я настолько усложняла столь очевидные вещи. Настоящая проблема и причина всех бед сидела за столом прямо напротив меня, чаще всего нуждаясь в мытье и бритье, и я смотрела прямо на него — Джо Сент-Джорджа, самого большого скандалиста острова Литл-Толл, ни на что не годного человечка — и думала, что, может быть, моя хорошая девочка курит марихуану и поэтому остается в школе после уроков. И это я, которая утверждает, что мать научила ее уму-разуму. Господи!

Я уже раздумывала над тем, чтобы устроить тайный обыск в комнате Селены, но потом сама эта мысль вызвала во мне отвращение. Какая бы я ни была, Энди, но я надеюсь, что я не способна на подобную гнусность. И я, даже видя, что теряю столько времени, обходя углы и набивая шишки, все же решила подождать, надеясь, что проблема разрешится сама собой или Селена сама все расскажет.

Затем наступил день — незадолго до Хэллоуина [Канун Дня Всех Святых — церковный праздник, отмечаемый 1 ноября], потому что Малыш Пит положил бумажную ведьму у входа в дом, насколько я помню, — когда я должна была пойти к Стрэйхорнам после ленча. Я и Лайза Мак-Кенделлес собирались проветрить капризные персидские ковры — это нужно делать каждые шесть месяцев, иначе они выцветут или еще что-нибудь. Я надела пальто, застегнула его и уже почти дошла до дверей, когда подумала: «Зачем же ты надела такое теплое пальто, дурочка? На улице по крайней мере шестьдесят пять градусов жары по Фаренгейту, как летом в Индии». А потом этот внутренний голос вернулся и сказал: «Не может быть, чтобы было шестьдесят пять; скорее всего, на улице сорок. К тому же очень сыро». Вот так я и поняла, что не пойду ни к каким Стрэйхорнам сегодня днем. Я должна сесть на паром, отправиться на материк и узнать, что же происходит с моей дочерью. Я позвонила Лайзе и сказала, что мы займемся коврами в другой день, и отправилась к парому. Я как раз поспела на два пятнадцать. Если бы я опоздала на него, то потеряла бы Селену, и, кто знает, как бы все оно вышло.

Я первой сошла с парома (матросы все еще пришвартовывались, когда я уже ступила на землю) и сразу же направилась в школу. Идя на розыски, я считала, что не найду Селену в школьном классе, что бы там она и ее учительница ни говорили... Я думала, что она где-то развлекается... и все они смеются, а возможно, и передают по кругу бутылочку дешевого вина. Если вы никогда не оказывались в подобной ситуации, то вам трудно понять меня, а я не могу описать вам этого. Я могу сказать только то, что невозможно быть готовой к тому, что твое сердце однажды может разбиться. Можно только продолжать идти вперед и надеяться, что этого не случится.

Но когда я, открыв кабинет, заглянула в него, Селена была там, она сидела за партой у окна, склонив голову над учебником алгебры. Она не заметила меня, и я молча наблюдала за ней. Она не связалась с плохой компанией, как я предполагала, но мое сердце все равно разбилось, Эцди, потому что Селена выглядела такой одинокой, а это еще хуже. Возможно, ее учительница не видела ничего плохого в том, что девочка одна учит уроки в этой пустой комнате; возможно, ей это даже нравилось. Но я не видела в этом ничего замечательного, ничего нормального. Даже ученики, оставленные после уроков, не составляли ей компанию, потому что их держали в читальном зале библиотеки.

Селена должна была бы слушать пластинки вместе с подружками, влюбляться в кого-нибудь из мальчиков, но вместо этого она сидела здесь одна в лучах заходящего солнца и вдыхала запах мела и мытых полов, так низко склонив голову над книжкой, как будто все тайны жизни и смерти были сокрыты именно там.

— Привет, Селена, — сказала я. Она вздрогнула, как кролик, и, оглянувшись на меня, столкнула половину книжек на пол. Глаза у нее были настолько огромными, что, казалось, они занимают половину ее лица, а лоб и щеки стали белее мела. Кроме тех мест, на которых вскочили новые прыщики. Они были ярко-красными, проступающими, как ожоги.

Потом Селена поняла, что это я. Ужас прошел, но улыбки не последовало. Как будто занавес упал на ее лицо... или как будто она находилась в замке, и там подняли мостик. Да, именно так. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать?

— Мама, — произнесла она. — Что ты делаешь здесь?

Я хотела было ответить, что приехала забрать ее домой и получить ответы на некоторые вопросы, милочка, но что-то подсказало мне, что в этой комнате это звучало бы нелепо, в этой пустой комнате, в которой я вдыхала запах беды, которая произошла с ней и которая ощущалась так же четко, как и запах мела. Я чувствовала это, и я намеревалась выяснить, в чем же дело. Судя по ее виду, я и так ждала слишком долго. Я уже больше не думала, что причиной всему наркотики, но что бы это ни было, оно съедало ее заживо.

Я сказала Селене, что решила немного отдохнуть от работы и пройтись по магазинам, но не нашла ничего подходящего.

— Поэтому, — добавила я, — я и подумала, что мы можем поехать домой вместе. Ты не возражаешь, Селена?

Наконец-то она улыбнулась. Я бы заплатила тысячу долларов за эту улыбку, должна я вам сказать... за улыбку, предназначавшуюся только мне.

— О нет, мамочка, — сказала она. — Очень приятно сделать это вместе.

Итак, мы вместе шли к пристани, и когда я спросила ее об уроках, Селена наговорила больше, чем за несколько недель. После того первого взгляда, брошенного на меня — как у загнанного в угол кролика, — она стала больше походить на прежнюю себя, и у меня появилась робкая надежда. Нэнси, вероятно, не знает, что паром, отправляющийся в четыре сорок пять на Литл-Толл, идет почти пустым, но, мне кажется, Фрэнк и ты, Энди, знаете об этом. Островитяне, работающие на материке, возвращаются домой в основном в пять тридцать, а в четыре сорок пять отправляют почту, товары и продукты для магазинов и рынка. Хотя это и была прекрасная, очень теплая и мягкая осень, на палубе почти никого не было.

Некоторое время мы стояли молча, наблюдая, как удаляется кромка берега. К тому времени солнце уже заходило, бросая косые лучи в воду, а волны разбивали их, делая похожими на кусочки золота. Когда я была совсем еще маленькой девочкой, мой отец говорил мне, что это действительно золото, и иногда русалки всплывают и забирают его. Он рассказывал, что русалки используют кусочки послеполуденного солнца как шифер для крыш их замков под водой. Когда я видела эти золотые блики на воде, я всегда искала взглядом русалок поблизости, и даже когда мне было столько лет, сколько тогда Селене, я не сомневалась, что это возможно, потому что мой отец так говорил.

Вода в тот день была того темно-голубого цвета, который бывает только в погожие октябрьские дни. Мерно гудел мотор. Селена развязала капор, подняла руки над головой и рассмеялась.

— Разве это не красиво, мамочка? — спросила она.

— Да, — ответила я, — очень. И ты тоже привыкла быть красивой. Что же случилось?

Она взглянула на меня, и вместо одного лица я увидела два. Верхняя половина одного выглядела растерянной, а нижняя все еще смеялась... но под ним скрывалось другое — осторожное и недоверчивое. В нем я увидела все, что Джо говорил ей весной и летом, пока Селена не стала избегать его. «У меня нет друзей, — говорило это лицо, — и уж точно это не ты и не он». И чем дольше мы смотрели друг на друга, тем сильнее проступало это другое лицо.

Селена сразу оборвала смех и отвернулась от меня, уставившись на воду. О, как мне было плохо, Энди, но это не могло остановить мена так же, как не могло остановить меня и паскудство Веры, сколько бы сострадания ни крылось у меня внутри. Дело в том, что иногда мы должны быть жестокими, чтобы быть добрыми, — это похоже на то, как доктор делает ребенку укол, отлично зная, что ребенок не поймет и будет плакать. Я заглянула себе в душу и поняла, что могу быть такой же жестокой, если понадобится, Тогда это испугало меня, да и сейчас это немного пугает. Страшно знать, что ты можешь быть таким твердым, как надо, и никогда не колебаться до того или после или задавать ненужные вопросы.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, мама, — произнесла Селена, настороженно следя за мной.

— Ты изменилась, — ответила я. — Твои взгляды, твоя манера одеваться, манера поведения. Все это вместе говорит мне, что ты попала в какую-то беду.

— Ничего не случилось, — сказала Селена, но, произнося эти слова, она стала ко мне спиной. Я взяла ее за руку, прежде чем она успела уйти слишком далеко, чтобы я могла достучаться до нее.

— Нет, что-то случилось, — сказала я, — и никто из нас не сойдет с парома раньше, чем мы выясним это.

— Ничего! — выкрикнула Селена. Она попыталась вырвать свою руку из моей, но я не ослабляла хватку. — Ничего плохого, отпусти меня! Отпусти меня!

— Не сейчас, — ответила я. — Что бы ни случилось, это не изменит моей любви к тебе, Селена. Но невозможно помочь тебе, пока ты не скажешь, в чем причина.

Тогда она прекратила сопротивляться и только смотрела на меня. И сквозь первые два я увидела еще одно, третье, лицо — несчастное, хитрое, и оно не очень-то понравилось мне. Все, кроме цвета лица, Селена унаследовала от меня, но теперь она была вылитым Джо.

— Сперва скажи мне что-то, — потребовала она.

— Конечно, если смогу, — ответила я.

— Почему ты ударила его? — спросила она. — Почему тогда ты ударила его?

Я уже открыла рот, чтобы спросить: «Когда тогда?» — в основном чтобы выиграть время для размышлений, — но сразу же я поняла нечто, Энди. Не спрашивай меня как — это могло быть всего лишь предчувствие или то, что называют женской интуицией, или мне каким-то таинственным образом удалось прочитать мысли своей дочери — но я сделала это. Я знала, что если позволю себе колебаться хоть минуту, то потеряю ее. Может быть, только на этот день, но скорее всего — навсегда. Я просто знала это и не стала колебаться.

— Потому что он еще раньше тем вечером ударил меня скалкой по спине, — сказала я. — Чуть не отбил мне почки. И я решила, что больше не потерплю этого. Никогда.

Селена моргнула, как это делают люди, если неожиданно взмахнуть перед их лицом рукой, и удивленно приоткрыла рот.

— Это не то, что отец рассказывал тебе об этом?

Она покачала головой.

— Что он сказал? Из-за пьянок?

— Из-за этого и из-за игры в карты, — еле слышно произнесла Селена. — Он сказал, что ты не хочешь, чтобы он или кто-нибудь другой веселился. Именно поэтому ты не хотела, чтобы он играл в покер, и не разрешала мне ходить ночевать к Тане в прошлом году. Он сказал, что ты хочешь, чтобы все работали восемь дней в неделю, как ты. А когда он воспротивился, то ты ударила его по голове молочником и сказала, что отрубишь ему голову, если он не подчинится. И что ты сделала это, когда он спал.

Я бы рассмеялась, Энди, если бы это не было настолько ужасно.

— И ты поверила ему?

— Я не знаю, — ответила она. — Воспоминания о топорике так пугают меня, что я не знаю, чему верить.

Мне как будто кто-то полоснул ножом по сердцу, но я и виду не подала.

— Селена, — сказала я, — то, что он говорил тебе, — неправда.

— Оставь меня в покое! — закричала она, отпрянув от меня. Она снова выглядела, как загнанный в угол кролик, и я поняла, что она скрывает нечто не потому, что стыдится или волнуется, — она запугана до смерти. — Я сама во всем разберусь! Мне не нужна твоя помощь, поэтому оставь меня в покое!

— Ты не сможешь уладить все сама, Селена, — сказала я. Я произнесла это тихим успокаивающим голосом, каким разговаривают с козленком, запутавшимся в проволочной изгороди. — Если бы ты могла, то уже сделала бы это. А теперь послушай меня — мне очень жаль, что ты видела меня с топориком в руке; прости меня за все, что ты видела или слышала той ночью. Если бы я знала, насколько это повлияет на тебя, я бы не ответила ему, как бы сильно он меня ни провоцировал.

— Неужели ты не можешь просто помолчать? — сказала Селена, а затем наконец-то вырвала свои руки из моих и зажала ими уши. — Я ничего не хочу слышать. Я ничего не хочу знать.

— Я не могу, потому что дело сделано и теперь уже нельзя ничего поправить, — ответила я, — но для нас с тобой еще не все потеряно. Поэтому позволь мне помочь тебе, родная. Пожалуйста. — Я попыталась положить руку ей на плечо и привлечь к себе.

— Нет! Не бей меня! Даже не прикасайся ко мне, сука! — завопила она и отскочила от меня. Она споткнулась о бортик, и я была уверена, что сейчас она бултыхнется в воду. Мое сердце остановилось, но, слава Господу, мои руки — нет. Я кинулась вперед, схватила Селену за пальто и притянула ее к себе. Я поскользнулась на чем-то скользком и чуть не упала. А когда я обрела равновесие и посмотрела вверх, Селена дала мне пощечину.

Не обращая на это внимания, я еще крепче схватила ее и прижала к себе. Подобное часто бывает с детьми в таком возрасте, многое приходится терпеть. К тому же пощечина была совсем не болезненной. Я была так напугана возможностью потерять ее — и не только морально. В ту самую минуту я была уверена, что она так и полетит через бортик вниз головой. Я была так уверена, что почти видела это. Удивительно, что я не поседела в ту минуту.

Потом она плакала и извинялась, говорила, что ни за что в жизни не хотела ударить меня, никогда, а я отвечала, что знаю это.

— Успокойся, — говорила я. А от того, что она сказала мне потом, кровь застыла в моих жилах.

— Лучше бы я утонула, мама, — сказала она. — Ты не должна была спасать меня.

Я отодвинула Селену от себя — к тому времени мы обе плакали — и сказала:

— Ничто на свете не заставит меня сделать это.

Селена мотала головой:

— Я больше не могу вынести этого, мама... не могу. Я чувствую себя такой грязной и сбитой с толку, и я никогда не смогу быть счастливой.

— В чем дело? — снова пугаясь, спросила я. — В чем дело, Селена?

— Если я скажу тебе, — произнесла она, — то, возможно, ты сама столкнешь меня в воду.

— Ты же знаешь, что нет, — сказала я. — Но я скажу тебе одну вещь, дорогая, — ты не ступишь на землю, пока мы не разберемся. Даже если мы будем ездить вперед и назад на этом пароме до конца года, вот что нам предстоит... хотя я думаю, что к концу ноября мы просто превратимся в сосульки, если еще раньше не отравимся бутербродами, которые продаются в буфете парома.

Мне казалось, что это рассмешит Селену, но не тут-то было. Вместо этого она уставилась в палубу и очень тихо сказала что-то. Из-за ветра и шума моторов я не расслышала:

— Что ты сказала, милая?

Селена снова повторила, и теперь я услышала, хотя она не говорила громче. Я сразу же все поняла, и с того момента дни Джо Сент-Джорджа были сочтены.

— Я никогда не хотела ничего делать. Он заставил меня. — Вот что она сказала.

Сперва я не могла даже пошевелиться, а когда наконец-то потянулась к ней, Селена вздрогнула. Лицо у нее было белее простыни. А потом паром — старенькая «Принцесса» — накренился. Мир и так уходил у меня из-под ног, так что если бы Селена не обхватила меня, я бы упала на спину. А в следующее мгновение я снова обнимала Селену, и она плакала, уткнувшись мне в грудь.

— Пойдем, — сказала я. — Пойдем присядем. А то нас так качает из стороны в сторону, что недолго и упасть.

Мы направились в каюту, обвив друг друга руками и прихрамывая, как парочка инвалидов. Я не знаю, чувствовала ли себя инвалидом Селена, но я уж точно. У меня только слезы выступили на глазах, а Селена рыдала с такой силой, что, казалось, у нее разорвется грудь, если она не остановится. Однако я обрадовалась, услышав, что она плачет вот так. Пока я не увидела ее плачущей вот так, я не понимала до конца, сколько чувств исчезло из ее души — так же, как и свет в ее глазах, и тело под одеждой. Мне больше хотелось бы слышать ее смех, чем плач, но я должна была вынести все.

Мы уселись на скамейку, и я позволила Селене поплакать еще. Когда она начала успокаиваться, я подала ей носовой платочек. Селена даже не сообразила сначала, что с ним делать. Она просто посмотрела на меня (щеки у нее были мокры от слез, под глазами залегли черные тени) и спросила:

— Ты не ненавидишь меня, мамочка? Правда, нет?

— Нет, — ответила я. — Ни теперь, ни когда-либо в жизни. Я клянусь тебе. Но я хочу, чтобы ты все подробно рассказала мне, с начала и до конца. По твоему лицу я вижу, что тебе кажется, ты не сможешь сделать этого, но ты сможешь. И запомни — никогда больше ты не должна рассказывать этого даже своему мужу, если сама не захочешь. Это все равно что вытащить занозу. Это я тебе тоже обещаю. Ты понимаешь?

— Да, мамочка, но он сказал, что если я когда-нибудь расскажу... иногда ты становишься как безумная, он сказал... как в ту ночь, когда ты ударила его молочником... он сказал, что если я вдруг задумаю рассказать тебе, то мне лучше вспомнить о топорике... и...

— Нет, ты говоришь не о том, — сказала я. — Ты должна начать с самого начала и рассказать все по порядку. Но одно я хочу знать прямо сейчас. Твой отец приставал к тебе?

Селена опустила голову и промолчала. Это был ответ, который был нужен мне, но, мне кажется, она должна была услышать ответ из собственных уст.

Пальцем я подняла ее голову за подбородок, пока наши глаза не встретились.

— Он приставал к тебе?

— Да, — ответила Селена и снова разрыдалась. Однако в этот раз рыдания были не столь продолжительными и глубокими. Я не мешала ей, выигрывая время на раздумья о том, как поступить дальше. Я не могла спросить: «Что он сделал с тобой?», потому что, вполне возможно, она и сама не знала этого хорошенько. Единственный вопрос, приходивший мне в голову, был: «Он трахнул тебя?», но я подумала, что и этого она может не понять, даже если я задам его настолько грубо и откровенно. К тому же меня саму коробило от этих слов.

Наконец я сказала:

— Селена, отец входил в тебя своим пенисом? Он вставлял его в тебя?

Селена покачала головой.

— Я не позволила ему этого, — она снова расплакалась. — По крайней мере, пока.

Ну что ж, после этого мы обе немного расслабились. То, что я чувствовала, было бешеной злобой. Как будто внутри у меня появился глаз, о существовании которого я раньше даже не догадывалась, и все, что я видела им, было длинным, вытянутым, как у лошади, лицом Джо, с вечно приоткрытыми губами и желтыми зубами, с небритыми красными щеками. С тех пор я видела это лицо постоянно, этот глаз никогда не закрывался, даже когда закрывались два других, и я засыпала; я начала понимать, что он не закроется до самой смерти Джо. Это как любовь, только со знаком минус.

А в это время Селена рассказывала мне все с начала и до конца. Я слушала, ни разу не прервав ее. Конечно, все началось с той самой ночи, когда я ударила Джо, а Селена подошла к двери и увидела его с кровоточащим ухом, а меня — с топориком, занесенным над ним, как если бы я действительно собиралась размозжить ему голову. Единственное, чего я хотела, так это остановить его, Энди, и я рисковала жизнью, делая это, но этого Селена не увидела и не поняла. Все, что она увидела, говорило в его пользу. Благими намерениями вымощена дорога в ад, и знаешь, это правда. Я знаю это из собственного горького опыта. Но я не знаю, почему — почему попытка сделать добро часто приводит к плохому исходу. Наверное, это для более умных голов, чем моя.

Я не собираюсь рассказывать здесь всю историю — не из-за того, чтобы пощадить Селену, а потому что она слишком длинная и слишком болезненная, даже теперь она вызывает боль. Но я перескажу тебе первые слова Селены. Я никогда не забуду их, потому что они еще раз подтверждают пропасть, разделяющую то, как события смотрятся со стороны, и каковы они на самом деле... внешнюю и внутреннюю стороны.

— Он выглядел таким несчастным, — сказала она. — По его щеке текла кровь, а в глазах застыли слезы, и он был таким несчастным. Я ненавидела тебя больше за этот вид, чем за кровь и слезы, мамочка, и я решила все возместить ему. Прежде чем лечь в постель, я опустилась на колени и стала молиться. «Господи, — сказала я, — если ты не позволишь ей больше бить его, я все возмещу ему. Клянусь. Ради всего святого. Аминь».

Догадываешься, что я чувствовала, услышав эти слова от собственной дочери через год или около того, когда считала эту тему уже закрытой? Догадываешься, Энди? А ты, Фрэнк? И ты, Нэнси Бэннистер из Кеннебанка? Нет, я вижу, что нет. И не приведи Господь вам хоть когда-нибудь испытать подобное.

Селена стала угождать отцу — подавала ему особо лакомый кусочек, сидела рядом с ним на ручке кресла, когда мы смотрели телевизор, слушала его, когда он разглагольствовал о взглядах Джо Сент-Джорджа на политику — о том, что Кеннеди распустил католиков и баптистов и теперь они наводнили всю страну, что коммунисты пытаются запустить негров в школы и что вообще вся страна скоро просто развалится. Она слушала, улыбаясь его шуткам, угощала его попкорном, а Джо вовсе не был глухим, чтобы услышать — возможность постучалась в его дверь. Он перестал морочить ей голову россказнями о политике и стал бесчестить меня — какая я могу быть безумная, если разозлюсь, и тому подобное, он рассказывал ей обо всем, что было плохо в нашем браке. Согласно его версии, во всем была виновата только я.

А в конце весны 1962 года Джо стал прикасаться к ней не совсем по-отцовски. Однако вначале было только это — легкое поглаживание ног, когда они сидели рядом, а меня не было в комнате, легкое поглаживание попки, когда она приносила ему пиво в сарай. Вот где все и началось. К середине июля бедная Селена боялась его так же, как уже боялась и меня. К тому времени, когда я наконец-то решила взять все в свои руки и поехала на материк с целью получить от Селены ответы на мои вопросы, он сделал с ней все, что делает мужчина с женщиной, прежде чем трахнуть ее... и запугиваниями заставлял и ее делать кое-что ему.

Я думаю, что он сорвал бы с нее цвет еще до Дня Труда, если бы Джо-младший и Пит не крутились под ногами, рано приходя из школы. Малыш Пит вряд ли понимал что-нибудь, но, мне кажется, Джо-младший догадывался, что происходит, и намеренно мешал ему. Благослови его Господь, если это так, вот что я могу сказать. От меня толку было мало, ведь я работала по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. И в то время, пока меня не было, Джо крутился дома, приставая к ней, требуя поцелуев, упрашивал ее прикоснуться к его «особым местам» (вот так он называл это) и говорил ей, что не может удержаться, он вынужден просить — она так добра с ним, а я — нет, у мужчины есть определенные потребности и тому подобное. Но Селена ничего не могла никому рассказать Если она расскажет, говорил Джо, то я наверняка убью их обоих. Он постоянно напоминал Селене о кувшине и топорике. Он продолжал рассказывать ей, какая я холодная, отвратительная сука, а он не может ничего поделать с собой, потому что у мужчины есть определенные потребности. Он вбивал ей в голову всю эту чепуху, пока Селена наполовину не помешалась от этого. Он...

Что, Фрэнк?

Да, он работал, но работа, которой он занимался, не становилась для него преградой, когда речь шла о соблазнении дочери. Я с горечью называла его на все руки мастером — этим он и занимался. Джо выполнял множество поручений отдыхающих и охранял два дома (надеюсь, что люди, нанявшие его, хорошенько попрятали все ценное); потом было четверо или пятеро рыбаков, которые приглашали его в помощники, когда были сильно загружены работой, — он помогал им вытаскивать сети, — и, конечно, у него был маленький грузовичок для перевозки грузов. Другими словами, он работал так, как работают большинство мужчин на острове (хотя и не столь усердно, как другие) — то там, то сям. Такой мужчина вполне может выделить для себя несколько часов, а в то лето и в начале осени Джо устроился так, чтобы проводить дома как можно больше свободного времени, пока менй нет. Чтобы быть с Селеной.

Интересно — понимаете ли вы, что я хочу, чтобы вы обязательно поняли? Замечаете, как усердно он старался залезть ей в мозги, чтобы потом забраться ей в трусы? Мне кажется, именно воспоминание обо мне и топорике дало ему такую власть над ней, именно эту угрозу он использовал чаще всего. Когда Джо увидел, что не может с помощью этого добиться сочувствия, он стал запугивать Селену. Он вновь и вновь повторял ей, что я выгоню ее из дома, если когда-нибудь узнаю, чем они занимаются. Чем они занимаются! Господи! Селена сказала, что не хотела делать этого, и он подтвердил, что это очень плохо, но уже слишком поздно, чтобы остановиться. Джо сказал ей, что она раздразнила его до безумия, и добавил, что из-за этого и происходит множество изнасилований и что умные женщины (наверное, он имел в виду такую скандальную, размахивающую топориком суку, как я) знают об этом. Джо продолжал убеждать Селену, что он будет молчать, пока молчит она... «Но, — сказал он ей, — ты должна усвоить, детка, что если хоть что-то выйдет наружу, тогда все выплывет на поверхность».

Селена не знала, что он подразумевает под «все», и не понимала, как то, что она приносила ему чай со льдом или рассказывала о забавном щеночке Лауры Лэнгилл, могло привести его к решению, что он может засовывать ей руку между ног или тискать ее, когда только ему этого захочется, но ее обвиняли, что она сделала что-то плохое, и это вызывало у нее чувство стыда. Вот что было по-настоящему ужасно — не страх, а стыд.

Селена сказала мне, что однажды решила рассказать обо всем миссис Щитс, своему школьному психоаналитику. Она даже записалась на прием, но у нее сдали нервы, пока она, сидя в приемной, ожидала выхода другой девочки. Это было больше месяца назад, когда учебный год только начался.

— Я стала размышлять, как это будет звучать, — сказала Селена, когда мы сидели на скамье в каюте. Паром уже прошел половину пути, и мы могли видеть Ист-Хед, залитый послеобеденным солнцем. Селена наконец-то перестала плакать. Правда, она все еще всхлипывала время от времени, и мой платочек стал совсем мокрым от ее слез, но в конце концов Селена взяла себя в руки; я чертовски гордилась ею. Однако она ни на секунду не отпускала мою руку. Селена вцепилась в нее мертвой хваткой так, что через сутки на руке появились синяки.

— Я подумала о том, как это будет выглядеть, если я сяду и скажу: «Миссис Щитс, мой отец пытается сделать со мной сами знаете что». А она такая глупая — и такая старая, — что, возможно, скажет: «Нет, я не знаю что, Селена. О чем ты говоришь?» И потом придется рассказывать ей, что мой отец пытается соблазнить меня, а она не поверит, потому что там, откуда она приехала, люди не делают ничего подобного.

— Мне кажется, такое случается во всем мире, — сказала я. — Печально, но факт. И я думаю, что школьный психоаналитик тоже знает об этом, если только она не совсем уж тупица. Разве миссис Щитс такая уж дремучая дура. Селена?

— Нет, — ответила Селена. — Я так не думаю, мамочка, но...

— Милая, неужели ты думаешь, что ты первая девочка, с которой случилось подобное? — спросила я, и она что-то ответила, но я не расслышала, так как Селена говорила очень тихо. Я попросила ее повторить.

— Я не знаю, первая или нет, — произнесла она и обняла меня. Я тоже обняла ее. — В любом случае, — продолжала Селена, — ожидая в приемной, я поняла, что не смогу рассказать. Может быть, если бы я сразу вошла, то мне удалось бы это, но не после того, как у меня было время посидеть и снова все прокрутить в голове и думать: а может быть, отец прав, и ты подумаешь, что я плохая...

— Я никогда не подумаю так, — произнесла я и снова обняла ее.

Селена улыбнулась, и эта улыбка согрела мое сердце.

— Теперь я знаю это, но тогда я не была уверена. И пока я сидела, а миссис Щитс беседовала с другой девочкой, я придумала веское оправдание, чтобы не пойти.

— Да? — спросила я. — И что же?

— Ну, это ведь не было школьной проблемой, — ответила Селена.

Это показалось мне смешным, и я начала хихикать. А вскоре и Селена смеялась вместе со мной, и наш смех становился все громче и громче. Вот так мы обе сидели на скамеечке, держась за руки и смеясь, как парочка гагар в брачный сезон. Мы смеялись так громко, что мужчина, продававший сэндвичи и сигареты, подняв голову, посмотрел на нас, желая удостовериться, все ли с нами в порядке.

Пока мы плыли домой, Селена рассказала мне еще две вещи — одну языком, а другую глазами. Сказанным вслух было то, что она хотела взять свои вещи и убежать; это казалось хоть каким-то выходом. Но побег — это не разрешение проблемы, если вы очень сильно ранены: куда бы вы ни убежали, сердце и голова всюду последуют за вами, — и тут в ее глазах я увидела, что мысль о самоубийстве также приходила ей в голову.

Я подумала об этом — об увиденном в глазах моей дочери решении убить себя, — и с того момента я стала видеть лицо Джо даже более четко тем своим внутренним глазом. Я представила, как он выглядел, докучая Селене, пытаясь засунуть руку ей под платье, пока она не стала носить в целях самообороны только брюки, и не получил того, чего хотел (или не всего, чего хотел), просто по счастливой случайности, а не из-за прекращения попыток. Я подумала, что это вполне могло бы случиться, если бы Джо-младший по-прежнему продолжал играть с Вилли Брэмходлом и не приходил домой пораньше или если бы я наконец-то не открыла глаза, чтобы хорошенько посмотреть на дочь. Больше всего я размышляла над тем, как Джо довел Селену до такого состояния. Он сделал это, как делает жестокий человек, загоняя лошадь: он гонит ее во весь дух без малейшей передышки, не чувствуя ни любви, ни жалости, пока несчастное животное не свалится замертво к его ногам... он, возможно, будет стоять, зажав в руке хлыст, и удивляться, почему же, черт побери, это случилось. Вот когда желание прикоснуться к его лбу, желание узнать, такой ли он гладкий на самом деле, как кажется, отыгралось на мне; вот когда я получила все сполна. Я по-прежнему трезво смотрела на вещи, и я осознала, что живу с бессердечным, безжалостным мужчиной, верящим, что все, до чего он может дотянуться или схватить, принадлежит ему по праву — даже его собственная дочь.

Так я размышляла о Джо, пока мысль о его убийстве впервые не промелькнула у меня в голове. Я не решилась бы убить его в тот момент — Господи, нет, — но я была бы лгуньей, если бы сказала, что это была всего лишь мысль. Это было нечто намного более серьезное.

Должно быть, Селена заметила что-то в моих глазах, потому что, положив свою руку на мою, спросила:

— Мама, могут возникнуть неприятности? Пожалуйста, скажи, что ничего не будет, — если он узнает, что я рассказала, он взбесится!

Я хотела успокоить ее, сказав то, что она хотела услышать, но не смогла. Проблемы действительно возникнут — но насколько они будут серьезными, все станет зависеть от Джо. Он отступил в ту ночь, когда я ударила его кувшином, но это вовсе не означало, что он подчинится еще раз.

— Я не знаю, что произойдет. — ответила я, — но я скажу тебе две вещи, Селена: в случившемся нет твоей вины, а его дни, когда он приставал и домогался тебя, кончились. Понимаешь?

Ее глаза снова наполнились слезами, одна слезинка скатилась по щеке.

— Я просто не хочу, чтобы возникли неприятности, — произнесла Селена. Она замялась на секунду, а потом выкрикнула: — Я ненавижу все это! Зачем ты его вообще ударила? Почему он вообще начал приставать ко мне? Почему все не могло оставаться так, как было раньше?

Я взяла ее за руку:

— Случается то, что случается, родная, — иногда все поворачивается в плохую сторону, тогда нужно брать ситуацию под контроль. Ты ведь знаешь об этом, правда?

Селена кивнула головой. Ее лицо выражало боль, но не сомнение.

— Да, — произнесла она. — Я тоже так считаю.

Паром уже приближался к причалу, и времени на разговоры уже не оставалось. Я была только рада этому; мне не хотелось, чтобы Селена смотрела на меня полными слез глазами, требующими того, чего желает любой ребенок: чтобы справедливость восторжествовала, но чтобы при этом никто не испытал боли и обиды. Она желала, чтобы я пообещала то, чего не могла обещать, потому что вряд ли я смогла бы сдержать подобное обещание. Я не была уверена, что мой внутренний глаз позволит мне сдержать слово. Не говоря друг другу ни слова, мы сошли с парома, а мне только это и было нужно.

В тот вечер, когда Джо вернулся с работы (он тогда ремонтировал веранду у кого-то на острове), я отослала всех троих детей в магазин. Я видела, как Селена украдкой бросала на меня взгляды, пока шла по подъездной дорожке, при этом лицо у нее было белое как мел. Каждый раз, когда она поворачивала голову, мне казалось, что я вижу по топорику в каждом ее глазу. Но я видела в них и нечто другое; надеюсь, это было облегчение.

Джо сидел у плиты и читал «Америкэн», как и всегда по вечерам. Я стояла рядом с буфетом, и мой внутренний глаз раскрылся еще шире, чем раньше. Глядя на Джо, я подумала, что вот сидит Великий Пуба [Пуба — занимающий несколько должностей, совместитель — по имени персонажа комической оперы «Микадо».] во всей своей красе. Сидит здесь, как будто надевает брюки через голову, а не через ноги, как все остальные. Сидит здесь, будто и не лапал свою собственную дочь, будто это самая естественная вещь в мире, будто, совершив подобное, любой мужчина может спокойно спать. Я пыталась придумать возможный выход из подобной ситуации, когда он вот так сидит передо мной, одетый в потертые джинсы и грязную заношенную рубашку, и читает газету, а я стою рядом и ощущаю жажду убийства в своем сердце, но я ничего не могла придумать. Это было все равно что заблудиться в волшебном лесу, когда, оглянувшись назад, вдруг замечаешь, что тропинка исчезает.

А тем временем внутренний глаз замечал все больше и больше. Он увидел шрамы на ухе Джо, оставшиеся от удара кувшином; красные прожилки на его носу; выпяченную нижнюю губу, из-за чего казалось, что Джо вечно сердится; перхоть в волосах; то, как Джо выщипывает волоски, растущие у него на носу; то, как у него постоянно лопался шов на брюках в промежности.

Все, что видел этот глаз, было отвратительным, и тогда я поняла, что, выходя за Джо замуж, я не просто совершила самую огромную ошибку в своей жизни; это была единственная ошибка, по-настоящему имеющая значение, потому что не только мне одной приходилось расплачиваться за нее. Теперь Джо был занят Селеной, но за ней подрастали еще два мальчика, и если он не прекратит свои попытки изнасиловать их старшую сестру, то что же ожидает их?

Я отвернулась, и мой внутренний глаз увидел топорик, лежащий на своем месте. Я потянулась за ним и, сжав пальцами топорище, подумала: «В этот раз я не позволю, чтобы топорик попал в твои руки, Джо». Потом я вспомнила, как Селена оглядывалась на меня, уходя в магазин, и я решила: что бы ни случилось, топорик к этому не будет иметь никакого отношения. Вместо него я вытащила из буфета скалку.

Топорик или скалка, это не имело большого значения — жизнь Джо висела на волоске. Чем дольше я смотрела на него, сидящего в грязной рубашке и ковыряющего в носу, тем яснее я представляла, что же он сделал с Селеной; чем больше я думала об этом, тем злее я становилась; чем злее я становилась, тем ближе я была к тому, чтобы просто подойти поближе и раскроить ему череп этим куском дерева. Я даже решила, в какое именно место нанесу первый удар. Джо уже начал лысеть, особенно сзади, и свет лампы, висящей рядом со стулом, на котором он сидел, бросал отблеск на его череп. Именно сюда, думала я, именно в это место. Кровь забрызгает весь абажур, но для меня это было неважно, к тому же светильник был уже старым и некрасивым. Чем больше я думала об этом, тем сильнее хотела увидеть, как его кровь станет разлетаться в стороны, забрызгивая абажур и стекло лампочки. Чем больше я думала об этом, тем сильнее мои пальцы сжимали орудие возмездия. Это было как сумасшествие, я не могла отвести взгляда от Джо, но даже если бы я и решилась на это, то мой внутренний глаз не позволил бы сделать этого.

Я приказывала себе подумать о том, что почувствует Селена, если я сделаю это, — и самые страшные ее опасения сбудутся, — но это тоже не помогло. Сколь сильно я ни любила ее и ни желала ей добра, это не помогло. Этот глаз был сильнее любви. Даже мысль о том, что случится с тремя моими детьми, если Джо умрет, а меня отправят в тюрьму за его убийство, не могла заставить закрыться этот третий глаз. Он оставался широко раскрытым и продолжал высматривать все самое уродливое в облике Джо. Шелушащуюся кожу на его щеках, капельку горчицы, застывшую на подбородке. Огромные лошадиные зубы его протеза, сделанного хоть и по мерке, но явно не подходящего ему по размерам. И каждый раз, увидев этим третьим глазом нечто новое, я лишь крепче сжимала скалку.

И только в последнюю минуту я подумала о чем-то другом. «Если ты сделаешь это прямо сейчас, то сделаешь это не из-за Селены, — подумала я. — И сделаешь это не из-за мальчиков. Ты сделаешь это потому, что все эти вещи три месяца происходили прямо у тебя под носом, а ты была слепа и глуха, чтобы их заметить. Если ты собираешься убить его и сесть в тюрьму и видеть своих детей только по субботам, тебе надо знать, почему ты делаешь это: не из-за Селены, а потому, что он обвел тебя вокруг пальца; именно в этом ты похожа на Веру — больше всего в жизни тебе ненавистно, когда тебя обманывают».

И это позволило мне смягчиться. Внутренний глаз не закрылся, но стал меньше и немного утратил свою власть надо мной. Я попыталась разжать ладонь и выпустить скалку, но я так долго с силой сжимала ее, что, казалось, она вросла в мою руку, Поэтому мне пришлось другой рукой разжать два пальца, для того чтобы скалка упала в ящик, а три других пальца так и остались скрюченными, как бы все еще сжимая ее. Только сжав и разжав ладонь несколько раз, я почувствовала, что она снова стала действовать нормально.

Я подошла к Джо и похлопала его по плечу.

— Я хочу поговорить с тобой, — обратилась я к нему.

— Так говори, — бросил он, не отрывая глаз от газеты, — разве я мешаю тебе?

— Я хочу видеть твои глаза, пока буду говорить, — сказала я. — Отложи газету в сторону.

Он бросил газету на колени и взглянул на меня.

— Не кажется ли тебе, что твой рот слишком много болтает в последнее время? — процедил он.

— Я сама позабочусь о своем рте, — парировала я, — а вот тебе лучше позаботиться о своих руках. А если нет, то они навлекут на тебя слишком большие неприятности.

Его брови взлетели вверх, и Джо спросил, что бы это все значило.

— Это значит — я хочу, чтобы ты оставил Селену в покое, — ответила я.

Он так изменился в лице, будто я врезала коленом прямо по его семейным драгоценностям. Это был самый отличный момент во всей этой печальной истории, Энди, — выражение лица Джо, когда он понял, что его накрыли. Его лицо побелело, рот приоткрылся, и весь он как-то странно дернулся — так дергается человек, погружающийся в сон, на пути к которому его вдруг пронзает неприятная мысль.

Он попытался скрыть это движение, изображая судорогу в спине, но он не смог обмануть меня. Он действительно выглядел немного пристыженным, но это ни в коей мере не смягчило меня. Даже у самой глупой и паршивой собаки вдруг проявляется достаточно разума, чтобы выглядеть пристыженной, когда обнаруживается, что она ворует яйца из курятника.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — медленно произнес он.

— Тогда почему же ты выглядишь так, будто сам дьявол забрался тебе в штаны и зажал твои яйца? — спросила я.

Надвигалась гроза.

— Если этот проклятый Джо-младший наболтал тебе неправду обо мне... — начал он.

— Джо-младший не говорил мне ни слова, — сказала я, — так что не утруждай себя, Джо. Мне рассказала Селена. Она рассказала мне все — как пыталась угодить тебе после той ночи, когда я ударила тебя кувшином, и как ты отплатил ей, и что случится, если она хоть когда-нибудь расскажет.

— Она маленькая обманщица! — выкрикнул Джо, отшвыривая газету на пол, как если бы это могло стать доказательством. — Врунья и подлиза! Я сниму ремень, и как только она покажется дома — если она посмеет снова появиться здесь...

Он приподнялся в кресле. Вытянув руку, я снова усадила его. Это чертовски легко сделать — толкнуть человека, пытающегося встать из кресла-качалки; меня даже удивило, насколько это легко. Правда, три минуты назад я чуть не разнесла ему голову скалкой, а это ведь должно же было вылиться во что-то.

Глаза его превратились в щелки, и он закричал, что мне лучше не шутить с ним.

— Тебе удавалось это раньше, — проревел Джо, — но это не значит, что ты сможешь одерживать верх каждый раз, когда тебе этого захочется.

— Прибереги свои угрозы для дружков, — сказала я. — Сейчас ты должен не разговаривать, а слушать... и слышать, что я говорю, потому что каждое слово будет иметь свой вес. Если ты еще хоть раз попытаешься приставать к Селене, я посажу тебя в тюрьму за растление малолетних или за изнасилование — смотря за что тебя дольше будут держать в кутузке.

Это смутило его. Рот его снова приоткрылся, и несколько мгновений он просто молча смотрел на меня.

— Ты никогда... — начал было он, но вдруг замолчал. Потому что понял: я сделаю это. Поэтому он надулся, нижняя губа оттопырилась еще больше, чем всегда. — Конечно, ты на ее стороне, — пробурчал он. — Ты никогда не спрашиваешь, каково мне, Долорес. Ты даже не интересуешься моими мотивами.

— Разве у тебя есть таковые? — спросила я. — Когда мужчине без малого сорок лет и он просит свою четырнадцатилетнюю дочь снять трусики, дабы посмотреть, сколько волос выросло на ее лобке, разве для такого мужчины может быть хоть какое-то оправдание?

— В следующем месяце ей будет пятнадцать, — сказал Джо, словно это что-то меняло. В этом был весь Джо.

— Ты хоть слышишь сам себя? — спросила я. — Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?

Джо посмотрел на меня, потом наклонился и поднял газету.

— Оставь меня в покое, Долорес, — мрачно произнес он, — Я хочу дочитать эту статью.

Я хотела вырвать эту проклятую газету у него из рук и вдавить ее ему в морду, но тогда наверняка завяжется драка, а я не хотела, чтобы дети — особенно Селена — пришли и увидели что-либо подобное. Поэтому я просто подошла к Джо и осторожно, одним пальцем отогнула газету.

— Сначала ты пообещаешь мне, что оставишь Селену в покое, — произнесла я, — чтобы мы смогли покончить с этим грязным делом. Ты пообещаешь мне, что никогда в жизни не прикоснешься к ней подобным образом.

— Долорес, ты не... — начал он.

— Пообещай мне, Джо, или я превращу твою жизнь в ад.

— Ты думаешь, я боюсь этого? — выкрикнул он. — Ты превратила в ад последние пятнадцать лег моей жизни — твое мерзкое лицо ничто не может украсить! Если тебе не нравится, какой я, то это твоя вина!

— Ты еще не знаешь, что такое ад, — продолжала я, — но если ты не оставишь ее в покое, то очень скоро узнаешь.

— Хорошо! — взвизгнул он. — Хорошо, я обещаю! Вот! Сделано! Ты удовлетворена?

— Да, — ответила я, хотя это было и не так. Он уже никогда не смог бы удовлетворить меня. Даже если бы и сотворил одно из библейских чудес. Я намеревалась уехать с детьми из дома, иначе он станет мертвым еще до конца года. Что именно произойдет, для меня было не важно, но я не хотела, чтобы он догадался о чем-нибудь раньше, чем это уже невозможно будет изменить.

— Хорошо, — произнес Джо. — Теперь мы все решили, и давай покончим с этим делом, ведь так, Долорес? — Но он нехорошо смотрел на меня, его глаза блестели, и это не очень-то понравилось мне. — Ты считаешь себя очень умной, правда?

— Нет, — возразила я. — Раньше я была очень сообразительной, но ты видишь, во что меня превратила семейная жизнь.

— Ну что ж, продолжай, — произнес Джо, все еще с усмешкой глядя на меня. — Но ты еще не все знаешь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты сама разберешься, — ответил он и развернул газету жестом богача, желающего удостовериться, что дела на бирже идут вполне нормально. — Для такой шустрой девочки, как ты, это будет совсем не трудно.

Мне это не понравилось, но я проглотила обиду. Частично потому, что не хотелось ворошить осиное гнездо дольше, чем это было необходимо, но дело было не только в этом. Я действительно считала себя шустрой, по крайней мере более сообразительной, чем он. Если бы он начал действовать за моей спиной, я бы поняла это буквально через пять минут. В общем, мною руководила гордыня, поэтому мысль о том, что Джо уже начал действовать, тогда не пришла мне в голову.

Когда дети вернулись из магазина, я отослала мальчиков в дом, а сама уединилась с Селеной. Позади нашего дома были заросли ежевики, в это время года кусты стояли почти голые. Ветер чуть слышно шумел в ветвях. Это был звук одиночества Из-под земли выпирал большой белый камень, и мы уселись на него. Над Ист-Хед всходила луна, и когда Селена прикоснулась к моим рукам, я почувствовала, что пальцы ее были так же холодны, как и далекая луна.

— Я боюсь идти в дом, мамочка, — произнесла Селена дрожащим голоском, — Я пойду к Гане, хорошо? Пожалуйста, разреши мне.

— Тебе нечего бояться, родная, — ответила я. — Я обо всем позаботилась.

— Я не верю тебе, — прошептала она, но ее лицо сказало, что она хочет этого, — ее лицо сказало, чти она больше всего на свете хочет поверить.

— Это правда, — успокоила я ее. — Он пообещал оставить тебя в покое. Отец не всегда сдерживает свои обещания, но это он сдержит, особенно теперь, когда я наблюдаю за ним, а он не может больше рассчитывать на твое молчание. К тому же он не на шутку испуган.

— Испуган — почему?

— Потому что я пообещала посадить его в тюрьму, если он будет продолжать свои грязные игры с тобой.

Селена застыла, лишь сильнее сжимая мои руки.

— Мамочка, ты не сделаешь этого?

— Именно это я и сделаю, — ответила я. — Тебе лучше знать об этом, Селена. Но я не особенно переживаю из-за этого; Джо не посмеет подойти к тебе ближе чем на десять шагов — ближайшие несколько лет... а потом ты уже будешь учиться в колледже. Если он и переживает за что-нибудь на этой земле, так это за свою собственную шкуру.

Селена медленно, но уже с какой-то долей уверенности отняла свою руку от моей, я увидела, как надежда появилась на ее лице — надежда и что-то еще. Как будто юность вернулась к ней, и в этот момент, когда мы сидели в лунном сиянии под кустами ежевики, я вдруг поняла, насколько она состарилась душой за эту осень.

— Он не побьет меня? — спросила Селена.

— Нет, — успокоила я ее. — Я все уладила. Тогда она поверила и, опустив голову на мое плечо, расплакалась. Это были слезы облегчения. Чистые и спокойные. Из-за того, что она плачет вот так, я еще больше возненавидела Джо.

Следующие несколько ночей я только и думала о том, что теперь в моем доме моя девочка спит лучше, чем три предыдущих месяца... но сама я заснуть не могла. Я слышала, как Джо храпит у меня под боком, и наблюдала за ним тем внутренним глазом, желая только одного: повернуться и перерезать ему глотку. Но я уже не была сумасшедшей, как тогда, когда чуть не размозжила ему башку. Мысль о том, что станет с детьми, если меня посадят за убийство, тогда не имела никакой власти над внутренним глазом, но позже, когда я сообщила Селене, что она в безопасности, да и я сама немного поостыла, это сработало. Тем не менее я знала: то, чего Селена хочет больше всего — чтобы все шло так, будто ничего не случилось, — невозможно. Даже если он сдержит свое обещание и никогда больше не станет приставать к ней, это невозможно... и все же, несмотря на то, что я сказала Селене, я не была полностью уверена, что Джо сдержит слово. Рано или поздно, но такие мужчины, как Джо, убеждают себя, что они могут попробовать еще раз; что если они будут чуточку осторожнее, то смогут получить чего хотят.

В моих ночных бдениях ответ казался достаточно простым: я должна забрать детей и уехать на материк, причем сделать это как можно скорее. Тогда мне удавалось быть спокойной, но я знала, что не смогу долго сдерживать себя — этот внутренний глаз не позволит мне. В следующий раз, когда я взорвусь, он будет видеть даже лучше, а Джо будет казаться еще противнее, и может не найтись ни одной оправдательной мысли на этой земле, которая удержит меня. Это был какой-то новый вид сумасшествия, по крайней мере для меня, и у меня хватило ума понять все вытекающие из этого последствия. Я должна уехать с острова, пока это сумасшествие полностью не овладело мной. А сделав первый шаг в цепи этих размышлений, я поняла, что означал тот хитрый огонек в глазах Джо.

Выждав, пока все немного успокоится, в одну из пятниц я села на одиннадцатичасовой паром и отправилась на материк. Дети были в школе, а Джо шатался где-то с приятелями и не должен был появиться дома до захода солнца.

Я взяла с собой чековые книжки всех троих детей. Мы откладывали деньги на их обучение в колледже с самого их рождения...

Я откладывала, Джо было абсолютно все равно, будут они учиться или нет. Когда вставал этот вопрос — конечно, это я поднимала его, — Джо чаще всего сидел в своем дерьмовом кресле-качалке, уткнувшись в «Америкэн», и единственное, что он мог сказать, было следующее: «Скажи мне, ради Бога, почему ты так настаиваешь на том, чтобы послать этих детей в колледж, Долорес? Я же не учился, но от этого мне нисколько не хуже».

Есть вещи, о которых спорить абсолютно бесполезно, ведь так? Если Джо считал, что чтения газеты и раскачивания в кресле ему достаточно, то о чем еще можно говорить? — это было бы просто бесполезно. Но это было еще ничего. Пока мне удавалось выбить из него хоть немного деньжат, чтобы положить на счета детей, я не стала бы возражать, даже если бы ему вздумалось считать, что во всех колледжах заправляют коммунисты. В ту зиму, когда он работал на материке, мне удалось выцарапать из него целых пятьсот долларов, и он визжал, как щенок. Жаловался, что я забрала у него все до последнего цента. Однако это не так, Энди. Если этот сукин сын не заработал в ту зиму две тысячи и, может быть, заначил еще двести пятьдесят долларов, то пусть у меня язык отсохнет.

— Почему ты вечно пилишь меня, Долорес? — спрашивал он.

— Если бы ты был в достаточной степени мужчиной, чтобы делать то, что нужно твоим детям, я бы никогда не ругалась с тобой, — отвечала я, и так далее и тому подобное, бу-бу-бу-бу-бу. Иногда я страшно уставала от этого, Энди, но я почти всегда выбивала из него то, что считала необходимым для обеспечения детей. На это у меня всегда хватало сил, потому что у моих детей больше никого не было, кто бы мог обеспечить им уверенное будущее.

По сегодняшним меркам, на этих счетах было не так уж и много — около двух тысяч на книжке у Селены, восемьсот у Джо-младшего и четыреста или пятьсот у Малыша Пита, — но это было в 1962 году, а с тех пор произошли огромные изменения. Тогда этого было достаточно, чтобы уехать с детьми. Я решила взять деньги Малыша Пита наличными, а на остальные выписать чек. Я решилась сжечь все мосты и уехать в Портленд — найти жилье и приличную работу. Конечно, мы не были приспособлены к городской жизни, но люди привыкают к чему угодно. К тому же в те годы Портленд был не таким уж огромным городом — совсем не таким, как сейчас.

Как только я устроюсь, постепенно я возмещу сумму, которую вынуждена буду истратить, и я знала, что смогу сделать это. Даже если мне это и не удастся, детки у меня умные, к тому же существуют такие вещи, как стипендия. Самым главным было увезти их — тогда это было важнее, чем колледж. Первое — это первое, как гласит лозунг на бампере старенького трактора Джо.

Я уже три четверти часа рассказываю вам о Селене, но не одна она страдала от Джо. Ей досталось больше всех, но тучи сгущались и над Джо-младшим. В 1962 году ему исполнилось двенадцать — беззаботный, прекрасный возраст для мальчика, но, взглянув на него, вы бы так не сказали. Он редко улыбался и почти никогда не смеялся, да это было и неудивительно. Он не мог войти в комнату, чтобы отец не подстерег его, как ласка цыпленка, постоянно указывал ему, чтобы тот поправил рубашку, причесан волосы, перестал сутулиться, перестал быть маменькиным сыночком с вечной книжкой под носом и стал наконец-то мужчиной. Когда Джо-младший проиграл соревнования за год до того, как я выяснила, что с Селеной произошла беда, слушая его отца, можно было подумать, что сына исключили из команды за использование допинга. Добавьте к этому то, что он подозревал о возне папаши с его старшей сестрой, — и вот вам еще одна проблема. Иногда я видела, как Джо-младший смотрит на отца — в его взгляде была настоящая ненависть. А за неделю или две до того, как я отправилась на материк с чековыми книжками в кармане, я поняла, что, когда дело касается отца, у Джо-младшего есть свой внутренний глаз.

А потом еще Малыш Пит. К четырем годам он просто хвостиком ходил за Джо. Он подтягивал штанишки точно так, как это делал Джо, выдергивал воображаемые волоски из носа и ушей, как это делал Джо. В свой первый учебный день он вернулся домой зареванный, с засохшей грязью на брюках и с царапиной на щеке. Я присела рядом с ним на ступеньки веранды, обняла и спросила, что случилось. Он сказал, что проклятый ублюдок Дики О'Хара толкнул его. Я объяснила ему, что «ублюдок» — это ругательство и он не должен произносить таких слов, а потом спросила, знает ли он, что такое «ублюдок». Честно говоря, мне было интересно, что может выдать его ротик.

— Конечно, — ответил он. — Ублюдок — это такой вот безмозглый сопляк, как Дики О'Хара.

Я сказала сыну, что он ошибается, и тогда он спросил, что же это слово обозначает на самом деле. Я ответила, что это не так уж важно, но это нехорошее слово, и я не хочу, чтобы он говорил его. Он уставился на меня, выпятив нижнюю губу, ну совсем как его папочка. Селена боялась отца, Джо-младший ненавидел его, но именно Малыш Пит пугал меня больше всего, потому что он хотел вырасти точно таким, как его отец.

Поэтому я вынула чековые книжки детей из нижнего ящичка своей шкатулки (я хранила их там, потому что это была единственная вещь в доме, которая закрывалась на ключ; ключ я носила на цепочке на шее) и в полпервого вошла в здание Северного банка Джонспорта. Когда подошла моя очередь, я подала книжки кассирше и сказала, что хочу закрыть счета, объяснив при этом, как именно я хочу получить деньги.

— Секундочку, миссис Сент-Джордж, — ответила кассирша и отошла к ящикам, чтобы вытащить карточки. Это было задолго до изобретения компьютеров, и времени на всю процедуру уходило гораздо больше.

Девушка нашла карточки, я видела, как она вытащила все три и раскрыла их. Маленькая морщинка появилась у нее между бровями, и она сказала что-то другой сотруднице. Потом они немного посовещались, а я стояла по другую сторону окошечка, наблюдала за ними и убеждала себя, что нет никаких причин для волнения, и в то же время волновалась.

Вместо того чтобы подойти ко мне, кассирша проскользнула в маленькую комнатку, которую они называют офисом. Стены его были из стекла, и я видела, как она разговаривает с маленьким лысым человечком в сером костюме и черном галстуке. Когда она снова подошла к окошечку, в руках у нее уже не было карточек. Она оставила их на столике у лысого.

— Мне кажется, вам лучше обсудить счета ваших детей с мистером Писом, миссис Сент-Джордж, — сказала она и подвинула мне чековые книжки. Она сделала это ребром ладони, как будто они были заразными и она может заразиться, если и дальше будет прикасаться к ним.

— Почему? — спросила я, — Разве с ними что-то не так? — К тому времени я уже перестала твердить, что мне не о чем, беспокоиться. Мое сердце делало два удара в секунду, а во рту пересохло.

— Поверьте, я ничего не могу вам сказать, но я уверена, что если возникло какое-то недоразумение, мистер Пис все сразу же уладит, — ответила девушка, но она избегала моего взгляда, и я поняла, что она не верит в такую возможность.

Я шла в офис, как будто к моим ногам были привязаны пудовые гири. Я уже прекрасно понимала, что случилось, но я не понимала, как такое могло случиться. Господи, ведь чековые книжки были у меня, не так ли? Джо не мог вытащить их из шкатулки, а затем положить обратно, потому что тогда был бы взломан замок. Даже если бы он подделал ключ (что было смешно само по себе; этот человек не мог донести вилку от тарелки до рта, чтобы не обронить половину себе на колени), в чековые книжки были бы внесены расходы или там было бы написано «СЧЕТ ЗАКРЫТ»... однако и этого ведь не было.

Но все равно я знала, что сейчас мистер Пис расскажет мне, какой у меня дерьмовый муж, и как только я вошла в офис, именно это он и сделал.

Он сказал, что счета Джо-младшего и Малыша Пита закрыты уже два месяца, а чек Селены — меньше чем две недели назад. Джо выбрал для своего подлого дела именно это время, так как знал, что я никогда не кладу деньги на их счета после Дня Труда, пока не насобираю достаточно денег для оплаты рождественских расходов.

Пис показал мне зеленые листочки, используемые бухгалтерами, и я увидела, что Джо сорвал последний огромный куш — пятьсот долларов со счета Селены — через день после того, как я объявила ему, что знаю о его намерениях в отношении дочери, а он, сидя в кресле-качалке, ехидно заметил, что я еще не все знаю. Он действительно был прав.

Я несколько раз пробежала глазами эти цифры, а когда подняла голову, то увидела, что сидящий напротив меня мистер Пис нервно потирает руки и выглядит озабоченным. Я даже заметила маленькие капельки пота, выступившие у него на лбу. Он, как и я, отлично понимал, что произошло.

— Как видите, миссис Сент-Джордж, эти счета закрыты вашим собственным мужем, и...

— Как такое может быть? — задала я ему вопрос, Я швырнула все три чековые книжки ему на стол. Он моргнул и вздрогнул. — Как такое может быть, если все эти книжки прямо перед вами?

— Видите ли, — произнес он, нервно облизывая губы, — эти карточки были тем, что мы называем «опекунские карточки». Это подразумевает, что ребенок, на чье имя открыт счет, может — мог — снять деньги со счета, если там присутствует ваша подпись или подпись вашего мужа. Это также подразумевает, что вы, родители, можете снять деньги с этих счетов, когда и сколько захотите. Как вы сделали бы это сегодня, если бы деньги все еще были на счетах.

— Но это никак не объясняет случившееся! — сказала я, вернее почти вскрикнула, потому что посетители банка повернули головы в нашу сторону. Я увидела это сквозь стеклянные стены офиса. Но меня это не волновало. — Как он получил деньги без этих проклятых чековых книжек?

Он все быстрее и быстрее потирал руки. Они шуршали, как наждачная бумага, и если бы между ладонями у него была сухая палочка, то, я думаю, она бы загорелась.

— Миссис Сент-Джордж, не могли бы вы немного сбавить тон...

— Я позабочусь о своем тоне, — еще громче ответила я. — А вот вы позаботьтесь о том, как этот ваш дрянной банк ведет дела, приятель! Как мне кажется, вам нужно позаботиться о многом.

Он взял со своего стола листок бумаги и взглянул на него.

— Согласно этому, ваш муж утверждает, что книжки потеряны, — наконец-то выдавил он из себя. — Он попросил выдать новые. Это достаточно обычно...

— Обычно! — завопила я. — Вы даже не позвонили мне! Никто из банка не позвонил мне! Эти книжки принадлежат нам обоим — именно так объяснили мне, когда я открывала счета на Селену и Джо-младшего в 1951 году, и то же самое сказали мне в 1954-м, когда я открывала счет на Питера. Вы хотите сказать мне, что с тех пор правила изменились?

— Миссис Сент-Джордж... — начал он. Но с таким же успехом он мог попробовать насвистывать ртом, набитым печеньем; я хотела высказаться до конца.

— Он рассказал вам сказочку, и вы поверили; он попросил новые книжки, и вы выдали их. Как вы думаете, кто вносил эти деньги в банк? Если вы думаете, что это был Джо Сент-Джордж, то, значит, вы еще глупее, чем кажетесь!

К тому времени все в банке прекратили даже притворяться, будто занимаются своим делом. Все застыли на своих местах и смотрели на нас. Судя по выражению их лиц, большинство из них считало это грандиозным шоу, но я сомневаюсь, что это было бы столь же занимательно, если бы эти деньги на обучение в колледже для их детей улетели вот так у них из-под носа. Мистер Пис покраснел до ушей.

— Пожалуйста, миссис Сент-Джордж, — наконец произнес он. К тому времени он выглядел так, будто вот-вот расплачется. — Уверяю вас, что все, сделанное нами, было вполне законно — такое часто встречается в банковской практике.

Я понизила голос. Я чувствовала, как вся моя воинственность, а вместе с ней и все мои силы покидают меня. Джо провел меня, обвел вокруг пальца, но теперь я не стану дожидаться второго раза, чтобы сказать: позор мне.

— Может быть, сделанное вами и законно, — сказала я. — Следовало бы подать на вас в суд, чтобы выяснить это, но у меня для этого нет ни времени, ни денег. Кроме того, не вопрос о законности выбил у меня почву из-под ног... а то, что вам троим даже в голову не пришло — есть еще один заинтересованный в этих деньгах человек. Разве «стандартная банковская практика» не позволяет сделать хоть один-единственный звонок? Я имею в виду то, что на всех этих карточках есть телефонный номер, и он не изменился.

— Миссис Сент-Джордж, мне очень жаль, но...

— Вот если бы все было наоборот, — продолжала я, — если бы это я рассказала вам историю о потерянных чековых книжках и попросила новые, если бы это я начала спускать то, что откладывалось одиннадцать или двенадцать лет... разве вы не позвонили бы Джо Сент-Джорджу? Если бы деньги были все еще здесь, чтобы я могла отступить сегодня, как намеревалась это сделать, разве вы не позвонили бы ему в ту же минуту, как только я вышла бы из банка, чтобы сообщить ему — просто оказывая любезность, — что сделала его жена?

Потому что именно этого я от них и ожидала, Энди, — именно поэтому я выбрала день, когда Джо не будет дома. Я собиралась вернуться на остров, забрать детей и быть уже далеко-далеко к тому времени, когда на подъездной дорожке появится Джо.

Пис посмотрел на меня и открыл рот. Затем закрыл его и ничего не сказал. Это было уже не нужно. Ответ был написан на его лице.

Конечно, он — или еще кто-нибудь из банка — позвонил бы Джо и звонил бы, пока не поговорил с ним. Почему? Потому что Джо был хозяином дома, вот почему. И причина того, что никто не потрудился позвонить мне, была в том, что я была всего лишь его женой. Что там я могла знать о деньгах, кроме того, как зарабатывать их, стоя на коленях, надраивая полы и вылизывая туалеты? Если хозяин дома решил потратить все отложенные деньги своих детей, значит, у него была достаточно веская причина, а если это и не так, разве это важно? Это не имеет никакого значения, потому что он хозяин в семье, он отвечает за все. А его жена — всего-навсего женщина, она отвечает только за полы, туалеты и воскресные обеды.

— Если возникла проблема, миссис Сент-Джордж, — продолжал говорить Пис, — я очень сожалею, но...

— Если ты скажешь о сожалении еще раз, я так скручу твою голову, что ты станешь похож на горбуна, — проскрежетала я, но он мог уже не опасаться за свою жизнь. В тот момент я не чувствовала в себе сил даже для того, чтобы отпихнуть с дороги пивную банку. — Просто скажи мне одну вещь, и я отстану от тебя: деньги потрачены?

— Откуда я могу это знать? — ответил он.

— Джо имеет дело с вашим банком всю свою жизнь, — стараясь казаться спокойной, сказала я. — Он мог бы положить эти деньги в другой банк, но вряд ли сделал это — он слишком тупой и ленивый и редко меняет привычки. Нет, либо он закопал их где-то, либо положил их в ваш же банк. Вот что я хочу знать: открыл ли мой муж новый счет в вашем банке за последние пару месяцев, — Только это, Энди, звучало как «я должна знать». Узнав, что мой муж обвел меня вокруг пальца, я почувствовала себя отвратительно, это было ужасно, но не знать, растрынькал он деньги или нет... это могло убить меня.

— Открыл ли он... это секретная информация, — сказал мистер Пис.

— Ну да, — произнесла я. — Она была таковой. Я прошу вас нарушить правило. Взглянув на вас, можно понять, что вы не часто это делаете. Но это были деньги моих детей, мистер Пис, и он обманным путем завладел ими. И вы это знаете — доказательство лежит прямо на вашем столе. Эта ложь не сработала бы, если бы этот банк — ваш банк — сделал одолжение и позвонил мне.

Кашлянув, он начал:

— В наши обязанности не входит...

— Я знаю, что не входит, — оборвала его я. Мне хотелось схватить Писа и как следует встряхнуть, но я понимала, что это не поможет — на такого человека это не повлияет. К тому же моя мать говорила, что невозможно поймать больше мух на уксус, чем на мед, и я знала, что это действительно так. — Я это знаю, но подумайте, один-единственный звонок избавил бы меня от горестных мук и сердечной боли. Но если вы захотите хоть немного уменьшить мои страдания — я знаю, что вы не обязаны, но если вы захотите, — пожалуйста, скажите мне, открыл ли он новый счет в вашем банке, или мне придется перекопать всю землю вокруг моего дома. Пожалуйста — я никогда не расскажу об этом. Клянусь Господом, никогда.

Он сидел и смотрел на меня, барабаня пальцами по зеленым листочкам бумаги. У него были такие ухоженные ногти, как будто он пользовался услугами профессиональной маникюрши, хотя я знала, что это не так — мы же говорим о Джонспорте 1962 года. Я думаю, маникюр ему делала его жена. Эти чистенькие, ухоженные пальчики глухо постукивали по бумаге, и я подумала: «Он ничем не захочет помочь мне, это не тот тип мужчин. Что ему за дело до жителей острова и их проблем? Он заботится только о своей собственной шкуре».

Поэтому, когда он заговорил, я почувствовала легкий укол совести за то, что думала о мужчинах вообще и о нем — в частности.

— Я не могу выяснять что-то, пока вы сидите здесь, миссис Сент-Джордж, — сказал он. — Почему бы вам не пойти в кафе и не выпить чашечку крепкого горячего кофе? Судя по вашему состоянию, вам нужно именно это. Я присоединюсь к вам через пятнадцать минут. Нет, лучше через полчаса.

— Благодарю, — ответила я. — Огромное спасибо.

Он вздохнул и начал собирать все бумажки в стопку.

— Наверное, я теряю разум, — пробормотал он, а потом нервно рассмеялся.

— Нет, — сказала я. — Просто вы помогаете женщине, которой больше не к кому обратиться. Вот и все.

— Страдающие женщины всегда были моей слабостью, — сказал он. — Дайте мне полчаса. Может быть, чуточку больше.

— Но вы придете?

— Да, — ответил он. — Обязательно.

И он пришел, но не через полчаса, а минут через сорок пять, и к тому времени я уже решила, что он оставил меня в беде. Когда он вошел в кафе, я подумала, что он принес плохие новости. Мне показалось, я прочитала это на его лице.

Он несколько секунд постоял у входа, оглядываясь вокруг, чтобы убедиться, что в кафе нет никого, кто мог бы создать для него проблемы, увидев нас вместе после скандала, учиненного мною в банке. Затем он подошел к столику в углу, за которым я сидела, и сказал:

— Деньги до сих пор в банке. Большая их часть. Около трех тысяч долларов.

— Слава Богу! — облегченно вздохнула я.

— Это хорошая часть, — продолжал он. — Хуже то, что новый счет открыт только на его имя.

— Ну конечно, — ответила я. — Он ведь не давал мне подписывать никаких банковских документов. Ведь это выводит меня из игры, ведь так?

— Многие женщины не понимают даже этого, — заметил мистер Пис. Он кашлянул и поправил галстук, а потом нервно оглянулся — посмотреть, кто вошел, когда зазвенел колокольчик на входной двери. — Многие женщины подписывают любые бумаги, которые их мужья раскладывают перед ними.

— Ну что ж, я не многая из женщин, — ответила я.

— Я это заметил, — сухо произнес он. — В любом случае я выполнил вашу просьбу, и теперь мне действительно необходимо возвратиться в банк. Сожалею, что у меня нет времени выпить с вами чашечку кофе.

— Знаете, — сказала я, — я сомневаюсь в этом.

— Так же, как и я, — ответил он. Но он пожал мне руку, как мужчина мужчине, и я восприняла это как комплимент. Я оставалась на своем месте, пока он не ушел, и когда ко мне подошла официантка и спросила, хочу ли я еще чашечку кофе, я поблагодарила и отказалась, сказав, что у меня уже от первой появилась изжога. Так оно и было, только дело было вовсе не в кофе.

Человек всегда находит, за что быть благодарным судьбе, в каком бы бедственном положении он ни оказался, и, возвращаясь назад на пароме, я была благодарна ей хотя бы за то, что не упаковала вещи; благодаря этому мне не нужно было снова все распаковывать. И я была рада, что ничего не сказала Селене. Я уже было решилась, но в последний момент испугалась, что секрет может оказаться слишком огромным для нее, она поделится им с подружкой, и таким образом все дойдет до Джо. Мне даже пришло в голову, что она могла бы заупрямиться и отказаться уехать. Я не думаю, что это могло случиться, судя по тому, как она избегала Джо, но когда имеешь дело с подростком, возможно все — абсолютно все.

Итак, у меня были причины для благодарности, но не было никаких идей. Я не могла снять деньги с нашей общей сберегательной книжки; там лежало всего-навсего сорок шесть долларов, а на текущем счету их оставалось еще меньше — если мы еще не превысили кредит, то были весьма близки к этому. Я не собиралась вот так, схватив детей в охапку, бежать куда глаза глядят; нет, сэр, нет, мэм. Если я сделаю это, то Джо потратит все деньги просто в отместку. Он и так спустил долларов триста, если верить мистеру Пису... но осталось около трех тысяч, и долларов двести пятьдесят я вложила лично — я заработала их, скребя пол и надраивая окна, развешивая простыни этой суки Веры Донован — шесть прищепок, а не четыре, — только за это лето. Конечно, это не было так тяжело, как зимой, но все же это не было похоже на прогулку по парку.

Однако нам с детьми все равно нужно было уезжать, я уже решилась на это, но будь я проклята, если мы уедем без цента в кармане. Я имею в виду, что мои дети должны были получить свои деньги обратно. Возвращаясь на остров и стоя на передней палубе «Принцессы», я знала, что собираюсь выбить из Джо эти деньги обратно. Единственное, чего я не знала, так это как я все сделаю.

Жизнь продолжалась. Если судить поверхностно, то кажется, что ничего не меняется, кажется, что на острове никогда ничего не меняется... если только вы не вникаете в сузь. Но внутри жизни намного больше, чем снаружи, и по крайней мере для меня все очень сильно изменилось в ту осень. Изменилось то, как я видела вещи, как воспринимала их, — мне кажется, именно в этом заключались главные изменения. Теперь я говорю не только о третьем глазе; к тому времени я уже видела все, что мне нужно было видеть двумя своими глазами.

То, с каким грязным, свинским вожделением Джо иногда смотрел на Селену, когда она, например, надевала халатик, или то, как он смотрел на ее попку, когда она наклонялась, чтобы поднять что-нибудь с пола. То, как она обходила его, когда он сидел в кресле, а ей нужно было пройти в свою комнату через гостиную; то, как она старалась никогда не прикоснуться к его руке, передавая ему за столом тарелку. Сердце мое ныло от стыда и горя, но это доводило меня до такого бешенства, что у меня сводило спазмами желудок. Господи, он был ее отцом, его кровь текла в ее жилах, у нее были его темные волосы, но глаза его становились круглыми, если неожиданно приоткрывался ее халатик.

Я видела, как Джо-младший тоже старался избегать его и не отвечал на вопросы отца, если мог, и бормотал что-то в ответ, если этого не удавалось избежать. Я вспоминаю тот день, когда Джо-младший показал мне свое сочинение о президенте Рузвельте, когда получил его обратно от учительницы. Она поставила «А с плюсом» и написала, что это единственная «А с плюсом», поставленная ею за двадцать лет преподавания, и она считает, что было бы неплохо отослать сочинение в газету. Я спросила Джо-младшего, отошлет ли он свое сочинение в «Америкэн» или «Таймс», заметив при этом, что с удовольствием оплачу все почтовые расходы. Но он только покачал головой и рассмеялся. Мне этот смех вовсе не понравился — он был грубым и циничным, напоминавшим смех его отца.

— И выслушивать отца следующие шесть месяцев? — спросил он. — Благодарю покорно. Разве ты не слышала, как отец называет его?

Я как сейчас вижу, Энди, как Джо-младший стоит на веранде, засунув руки в карманы брюк и глядя на меня сверху вниз (ему было всего двенадцать, но рост у него был около шести футов), а я держу в руках его сочинение с отметкой «А с плюсом». Я отлично помню горькую улыбку, застывшую в уголках его губ. Эта улыбка не предвещала ничего хорошего, в ней не было радости и счастья. Это была улыбка его отца, хотя я никогда не смогла бы сказать мальчику об этом.

— Из всех президентов отец больше всего ненавидит Рузвельта, — произнес Джо-младший. — И поэтому для сочинения я выбрал именно его. А теперь верни мне тетрадь, пожалуйста, я сожгу ее.

— Нет, сыночек, — ответила я, — и если ты хочешь узнать, что такое быть сброшенным с веранды своей собственной матерью, ты можешь попытаться отобрать у меня сочинение.

Джо-младший пожал плечами. Он сделал это совсем как его отец, но улыбка его стала шире, а его отец никогда в жизни не был способен на такую милую и искреннюю улыбку.

— О'кей, — произнес он. — Только не показывай ему, хорошо?

Я пообещала, и он побежал играть в баскетбол со своим приятелем Рэнди Джигором. Наблюдая, как он исчезает из вида, я не выпускала сочинение из рук и размышляла о только что происшедшем между нами. В основном я думала о том, как моему сыну удалось заработать единственную за двадцать лет «А с плюсом» по истории, и о том, что он выбрал для своей работы президента, которого его отец ненавидел больше всего.

К тому же был еще Малыш Пит, который поддергивал штанишки, и надувал нижнюю губу, и называл людей ублюдками, и оставался за проказы после уроков три дня из пяти. Однажды мне даже пришлось идти из-за него в школу, потому что он так сильно ударил какого-то малыша по голове, что у того из уха потекла кровь. И вот что сказал по этому поводу его отец:

— Надеюсь, в следующий раз он будет знать, что значит становиться на твоем пути, правда, Пити?

Я увидела, как засияли глаза парнишки, когда Джо сказал это, и я видела, с какой нежностью Джо отнес его в кроватку пару часов спустя. Казалось, что в ту осень я могла увидеть все что угодно... но больше всего мне хотелось найти способ избавиться от Джо.

И знаете, кто наконец-то подсказал мне ответ? Вера. Вот именно — Вера Донован собственной персоной. Она была единственным до сегодняшнего дня человеком, который знал о моих проблемах. И это именно она подбросила мне идею.

В пятидесятых Донованы — по крайней мере Вера и ее дети — отдыхали на острове дольше всех остальных — они приезжали в День Поминовения на уик-энд и оставались все лето, а уезжали в День Труда. Я не знаю, можно ли было сверять по ним часы, но календарь можно было сверять наверняка. Я нанимала уборщиц в среду после их отъезда, и мы вычищали дом от крыши до подвала, снимали с кроватей белье, надевали на мебель чехлы, собирали детские игрушки и относили их вместе со складными картинками-загадками в подвал. Мне кажется, что к шестидесятому году, когда умер хозяин, этих загадок собралось там больше трехсот. Я могла производить такие основательные уборки потому, что знала — никто не приедет в этот дом до Дня Поминовения в следующем году.

Конечно, было и несколько исключений; в год, когда у меня родился Малыш Пит, Донованы проведи на острове День Благодарения [Официальный праздник в память первых колонистов штата Массачусетс. Отмечается в последний четверг ноября.] (дом уже полностью был подготовлен к зиме), а несколько лет спустя они отпраздновали здесь Рождество. Я помню, как дети Донованов взяли с собой Селену и Джо-младшего кататься на санках и как Селена вернулась домой после трех часов катанья с горки с раскрасневшимися, как яблоки, щечками и сверкающими, как бриллианты, глазками. Тогда ей было не больше восьми, но я вполне уверена, что она просто помешалась на огромной машине Дональда Донована.

Итак, они провели на острове День Благодарения и Рождество, но это были исключительные случаи. Они были летними отдыхающими... по крайней мере дети и сам Майкл Донован. Вера была родом совсем из других мест, но под конец она превратилась в такую же островитянку, как и я, а может быть, даже большую.

В 1961 году все было так же, как и в предыдущие годы, хотя муж Веры и погиб в автомобильной катастрофе год назад, — она приехала вместе с детьми в День Поминовения и занималась тем, что вязала, разбирала загадки, собирала раковины, курила сигареты и пила особые коктейли Веры Донован. Но теперь все было по-другому, даже я видела это, а ведь я была всего-навсего приходящей прислугой. Дети стали какими-то скованными и притихшими, наверное, они все еще оплакивали своего папочку, а Четвертого июля [День провозглашения независимости США.] между ними даже возникла ссора, когда они все трое обедали в ресторане. Я помню, что Джимми Де Витт, обслуживавший их, говорил, что речь шла о какой-то машине.

В чем бы там ни было дело, дети уехали на следующий день. Управляющий перевез их на большом личном катере Донованов на материк, а какой-то другой служащий увез их и оттуда. С тех пор я никого из них не видела. Вера осталась одна. Было видно, что она страдает, но она осталась. В то лето находиться рядом с ней было очень тяжело. Она уволила, наверное, полдюжины приходящих служанок ко Дню Труда, и когда я увидела «Принцессу», отчаливающую от причала с Верой на борту, я готова была поклясться, что следующим летом не увижу ее. Она будет налаживать отношения со своими детьми — ей нужно было помириться с ними, ведь это единственное, что у нее осталось, — и если им надоел Литл-Толл, она присоединится к ним и проведет лето в другом месте. Кроме того, теперь настало их время, и Вера должна была признать это.

Все эти мысли только доказывают, насколько плохо я знала Веру Донован. Что касается этой кошки, то она не признала бы самого Господа Бога, если бы не захотела. Она появилась, приплыв на пароме в День Поминовения в 1962 году, — одна — и оставалась на острове до самого Дня Труда. Она приехала одна, она никому не сказала доброго слова, она пила больше, чем обычно, она была похожа на Ангела Смерти, но она приехала и осталась, и она раскладывала свои картинки и ходила на пляж — теперь уже одна — и собирала свои раковины, совсем как всегда. Однажды она сказала мне, что надеется на то, что Хельга и Дональд проведут август в Пайнвуде (так они называли свой дом; возможно, ты знаешь это, Энди, но я сомневаюсь, что Нэнси это известно), но они так никогда здесь и не появились.

Именно в 1962 году Вера начала приезжать на остров после Дня Труда. Она позвонила мне в середине октября и попросила подготовить дом, что я и сделала. Она провела здесь три дня — управляющий приехал с ней и жил в комнатах над гаражом, — а потом снова уехала. Прежде чем уехать, она позвонила мне и попросила присматривать за отоплением в доме и не зачехлять мебель.

— Ты будешь видеть меня намного чаще после того, как устроятся дела моего мужа, — сказала она. — Возможно, намного чаще, чем тебе этого хотелось бы, Долорес. И я надеюсь, ты увидишь и детей.

Но нечто в ее голосе заставило меня засомневаться в реальности последнего.

В следующий раз она приехала в конце ноября, где-то через неделю после Дня Благодарения, сразу же позвонила мне и попросила убрать в доме и застлать кровати. Дети были, конечно, не с ней — в школе шла учебная неделя, — но она сказала, что, возможно, они в последний момент решат провести уик-энд вместе с ней. Возможно, она знала, что этого не будет, но в душе Вера была герлскаутом и предпочитала быть готовой ко всему.

Я сразу же пришла, потому что в это время года для людей моей профессии наступало затишье. Под проливным дождем я с трудом добралась до дома Донованов. Я шла, опустив голову, полностью погрузившись в нелегкие думы, как и обычно в те дни после того, что случилось с деньгами моих детей. Со времени моего посещения банка прошел почти целый месяц, и с тех пор эта проблема сжигала меня изнутри точно так же, как капля пролитой кислоты выжигает дырку на одежде или на коже.

Я не могла есть, спала не больше трех часов, да и то меня мучили ночные кошмары, я даже забывала, что нужно переодеваться. Мой ум постоянно возвращался к тому, что Джо сделал с Селеной, как он выудил деньги из банка и как мне теперь вернуть их. Я понимала, что мне нужно хоть немного перестать думать обо всех этих вещах, чтобы найти ответ — если бы я смогла не думать! — но это казалось мне невозможным. Я зациклилась на одной проблеме, что доводило меня до безумия, и это закончилось тем, что я рассказала обо всем случившемся Вере.

Я действительно не собиралась рассказывать ей; она была как разъяренная тигрица после смерти своего мужа, и я вовсе не хотела изливать душу перед женщиной, поступающей так, будто против нее ополчился весь мир. Но когда я пришла в тот день, ее настроение наконец-то изменилось к лучшему.

Вера сидела в кухне и вырезала какую-то заметку из газеты. Она сказала:

— Посмотри-ка, Долорес, если нам повезет и погода станет нашей союзницей, следующим летом мы будем наблюдать нечто действительно поразительное.

До сих пор я слово в слово помню название той статьи, хотя прошло уже столько лет, потому что, когда я прочитала его, что-то зашевелилось внутри меня. «ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ НОВОЙ АНГЛИИ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ». В газете была помещена маленькая карта, показывающая, через какую часть штага Мэн будет проходить полоса затмения, и Вера красной ручкой поставила точку в том месте, где располагался Литл-Толл.

— Следующее затмение будет в конце следующего века, — сказала она. — Наши праправнуки смогут увидеть его, Долорес, но нас уже давным-давно не будет... так что нам лучше наслаждаться тем, которое будет через полгода!

— Возможно, в тот день дождь будет лить как из ведра, — ответила я, вряд ли задумываясь над своими словами, и судя по тому, в каком мрачном настроении

Вера была со дня смерти своего мужа, я подумала, что она заорет на меня. Но вместо этого она рассмеялась и пошла наверх, что-то мурлыкая себе под нос. Я тогда еще подумала, что погода в ее сердце действительно изменилась. От прошлых переживаний не осталось и следа.

Часа через два я поднялась в ее комнату постелить белье на кровати, на которой она в последующие годы беспомощно пролежала столько времени. Вера сидела в своем кресле около окна, вязала плед и все еще напевала. Несмотря на включенное отопление, в комнате было прохладно — нужно время, чтобы прогреть такой огромный дом, — поэтому Вера накинула на плечи розовую шаль. К тому времени усилился ветер с запада, и дождь, барабанящий в окно спальни, напоминал звук швыряемого изо всей силы песка. Когда я взглянула в окно, то увидела свет над гаражом — значит, управляющий уютно устроился в своей маленькой квартирке.

Я застелила нижнюю простыню, абсолютно не думая ни о Джо, ни о детях, когда у меня вдруг начала дрожать нижняя губа. «Перестань, — приказала я самой себе. — Прекрати сейчас же!» Но губа не переставала дрожать. А потом задергалась и верхняя. Моментально глаза мои наполнились слезами, ноги подкосились, я плюхнулась на Верину кровать и заплакала.

Если говорить правду, то я визжала, как боров. Дело в том, что я не просто плакала; я прикрыла лицо фартуком и выла. Я так устала, у меня помрачилось сознание. В течение нескольких недель я не спала ночами, не зная, как найти выход. В голове у меня пронеслась мысль «Ты ошибаешься, Долорес. Ты все-таки думала о Джо и детях». Конечно, я думала. Выходило так, что я ни о чем другом думать больше не могла, именно из-за этого я и разрыдалась.

Не знаю, сколько времени я провела вот так, в слезах и соплях, но я знаю, что, когда я наконец-то успокоилась, вся моя физиономия была мокрой и распухшей, а дышала я так, будто пробежала мили две или три. Я боялась опустить фартук, потому что мне казалось — как только я сделаю это, Вера скажет: «Это был отличный спектакль, Долорес. Ты можешь получить расчет в пятницу. Кенопенски — вот, вот какая фамилия у управляющего, Энди, наконец-то я вспомнила это, — заплатит тебе». Это было бы так похоже на нее. Но ничто не могло быть похоже на нее. Даже в те дни, когда с мозгами у нее было все в порядке, невозможно было предсказать поступки Веры.

Когда я наконец-то отняла фартук от лица, она сидела у окна с вязанием на коленях, глядя на меня так, будто я была каким-то новым и интересным насекомым. Я помню изогнутые тени от струящегося по стеклу дождя на ее щеках и лбу.

— Долорес, — сказала она, — только не говори мне, что ты была недостаточно осторожна и позволила этому чудовищу, с которым ты живешь, снова обрюхатить тебя.

Сначала я даже не поняла, о чем она говорит, когда она сказала «обрюхатить» [В оригинале: «knock you up» (англ.) — это и «сделать беременной», и «ударом подбросить вверх» — игра слов.] — в голове у меня пронеслась картина той ночи, когда Джо ударил меня скалкой, а я огрела его кувшином. Потом до меня дошло, и я рассмеялась. А через секунду я уже хохотала с такой же силой, с какой плакала несколько мгновений назад, и так же не могла сдержаться. Я знала, что это ужасно — сама мысль снова быть беременной от Джо вселяла в меня ужас, и даже сознание того, что больше мы не занимаемся тем, от чего могут появиться дети, не меняло этого — но даже осознание того, что заставило меня рассмеяться, не помогло остановить смех.

Вера еще несколько секунд смотрела на меня, потом взяла с колен вязанье и преспокойно продолжила вязать. Она даже снова начала напевать. Как будто то, что ее экономка сидит на незаправленной кровати и воет, как волчица на луну, было самой естественной вещью в мире. Если так, значит, в их доме в Балтиморе должна была быть особая прислуга.

А потом мой смех снова перешел в рыдания — так иногда в начале зимы дождь переходит в снег. Наконец все сошло на нет, и я просто сидела на ее кровати, чувствуя усталость и стыд... но как-то очистившись изнутри.

— Простите, миссис Донован, — сказала я. — Простите меня.

— Вера, — произнесла она.

— Простите?.. — переспросила я.

— Вера, — повторила она. — Я настаиваю, чтобы все женщины, закатывающие истерику на моей кровати, отныне и во веки веков называли меня по имени.

— Я не знаю, что на меня нашло, — произнесла я.

— О, — возразила она, — мне кажется, ты отлично знаешь. Умойся, Долорес, ты можешь воспользоваться моей ванной комнатой.

Я пошла в ванную умыться и долго оставалась там. Правда заключалась в том, что я немного побаивалась выходить. Я уже не переживала за то, что она меня выгонит с работы после разрешения называть ее Верой, а не миссис Донован — так не ведут себя с человеком, с которым хотят распрощаться через пять минут, — но я не знала, что она собирается сделать. Вера могла и умела быть жестокой; если вы еще не поняли этого из моего рассказа, значит, я напрасно теряла время. Она могла подколоть когда и где хотела и когда делала это, то делала очень умело.

— Ты что застряла там, Долорес? — позвала Вера, и я поняла, что не могу больше задерживаться. Я выключила воду, вытерла лицо и вернулась в спальню. Я снова стала извиняться, но она оборвала меня. Она все еще с интересом смотрела на меня, будто я была диковинным насекомым.

— Знаешь ли ты, что поразила меня до глубины души, женщина? — сказала Вера. — Все эти годы я не была уверена, что ты можешь плакать, — мне казалось, ты сделана из камня.

Я пробормотала, что совсем не отдыхала в последнее время.

— Я вижу это, — сказала она, — У тебя подходящий набор от Луиз Виттон под глазами да и в руках пикантная дрожь.

— Что у меня под глазами? — спросила я.

— Неважно, — ответила она. — Расскажи, что случилось. Только та самая булочка в печке могла быть единственной причиной для такого неожиданного взрыва, которую я смела предположить, и, должна признаться, что до сих пор я не могла представить себе другую. Итак, просвети меня, Долорес.

— Не могу, — сказала я, и будь я проклята, если не почувствовала, как снова на меня накатывается эта волна; если я буду неосторожна, то скоро снова буду сидеть на ее кровати, прикрыв фартуком лицо.

— Можешь и расскажешь, — отчеканила Вера. — Нельзя целый день выть, надрывая сердце. У меня разболится голова, и мне придется принимать аспирин. А я терпеть не могу принимать аспирин. Он раздражает слизистую желудка.

Я присела на краешек кровати и взглянула на нее. Я открыла рот без малейшей мысли о том, что может выйти оттуда. Произнесла же я следующее:

— Мой муж пытается соблазнить собственную дочь, а когда я пошла взять из банка деньги на обучение детей, чтобы уехать с детьми от него, я выяснила, что он выгреб все до последнего цента. Нет, я не сделана из камня, я вовсе не каменная.

Я снова расплакалась, но теперь уже не так горько, как в первый раз, и уже не испытывала потребности прятать лицо под фартуком. А когда я перешла на всхлипывания, Вера попросила рассказать все от начала до конца, не опуская ни единой детали.

И я сделала это. Я ни за что не поверила бы, что могу хоть кому-нибудь рассказать об этом, и меньше всего Вере Донован, с ее деньгами и домом в Балтиморе, с ее любимчиком управляющим, главной обязанностью которого было водить ее машину, но я действительно рассказала ей, и я чувствовала, как исчезает тяжесть из моего сердца с каждым произнесенным словом. Я поведала Вере все так, как она и хотела, — не утаив ничего.

— Поэтому я в затруднительном положении, — закончила я. — Я не могу придумать, что мне делать с этим сукиным сыном. Конечно, я могу забрать детей и зацепиться где-нибудь на материке — я никогда не боялась тяжелой работы, — но не в этом дело.

— А в чем же? — спросила Вера. Плед был уже почти довязан — ее пальцы работали быстрее обычного.

— Он едва не изнасиловал свою собственную дочь, — ответила я. — Но он до такой степени запугал ее, что она может никогда не оправиться от этого, и он сам назначил себе награду почти в триста долларов за свое отвратительное поведение. И я не хочу позволить ему продолжать в том же духе — вот в чем проблема.

— Неужели? — мягко произнесла Вера, ее спицы стучали, дождь барабанил по стеклу, а тени дрожали и извивались на ее щеках и лбу, как черные змеи. Глядя на нее, я вспомнила рассказанную мне бабушкой сказку о трех сестрах, живущих на небесах и плетущих наши жизни... одна прядет, другая держит, а третья перерезает нить, когда ей это взбредет в голову. Кажется, эту последнюю звали Атропос. Но даже если и не так, то все равно от этого имени у меня мурашки до сих пор бегают по спине.

— Да, — ответила я, — но будь я проклята, если я вижу способ поступить с ним так, как он того заслуживает.

Клик-клик-клик. Рядом с Верой стояла чашечка чая, и она надолго притихла, делая глоток за глотком. Вера посмотрела на меня так, будто собиралась просверлить меня насквозь.

— Но что хуже для тебя, Долорес? — произнесла она, наконец-то отставляя чашку и снова берясь за вязанье. — Так что, ты говоришь, для тебя хуже? Не для Селены, не для мальчиков, а для тебя?

Мне даже не нужно было думать над ответом.

— То, что этот сукин сын смеется надо мной, — сказала я. — Вот что для меня хуже всего. Иногда я вижу это по его лицу. Я никогда не говорила ему, но он знает, что я была в банке, и он отлично знает, что я там выяснила.

— Может быть, это только твое воображение, — заметила Вера.

— Ничего подобного, — возразила я. — Я чувствую это.

— Да, — сказала Вера, — очень важно то, что ты чувствуешь. Я согласна. Продолжай, Долорес.

«Что продолжать? — хотела было спросить я. — Это все». Но это было еще не все, потому что вдруг выскочило еще нечто — как чертик из табакерки.

— Он бы не стал смеяться, если бы знал, насколько близко к остановке были его часы несколько раз.

Вера молча посмотрела на меня, а извивающиеся тени скользили по ее лицу, и я снова вспомнила о трех сестрах, прядущих волшебную пряжу, особенно о той, в чьих руках были ножницы.

— Я боюсь, — произнесла я. — Не его, а себя. Если я как можно скорее не увезу от него детей, случится нечто непоправимое. Я знаю это. Внутри меня появилось нечто, и оно становится все хуже и хуже.

— Это глаз? — спокойно спросила Вера. О, какая дрожь пробила меня тогда! Как будто она отыскала окошко в моей голове и прочитала прямо в мои мысли, — Нечто похожее на глаз?

— Откуда вы знаете? — прошептала я, а руки мои покрылись пупырышками и начали дрожать.

— Я знаю, — ответила Вера и начала вязать новый ряд. — Я все об этом знаю, Долорес.

— Я убью его, если перестану быть очень осторожной. То, чего я боюсь. И тогда я смогу забыть об этих деньгах. Я смогу все и обо всем забыть.

— Чепуха, — возразила она, а спицы так и звякали в ее руках. — Мужья умирают каждый день, Долорес. Что ж, один из них умирает, возможно, именно в эту секунду, пока мы сидим здесь и болтаем. Они умирают и оставляют женам свои деньги. — Она закончила ряд и посмотрела на меня, но я все еще не могла понять выражение ее глаз из-за теней, оставляемых струйками дождя. Они извивались по ее лицу, напоминая змей. — Кому как не мне знать это, ведь так? — произнесла она. — В конце концов, посмотри, что произошло со мной.

Я не могла произнести ни слова. Язык у меня присох к небу, как муха к липкой ленте.

— Несчастный случай, — четким, учительским голосом произнесла она, — иногда лучший друг несчастной женщины.

— Что вы имеете в виду? — спросила я. Это был только шепот, но я удивляюсь, как вообще смогла выдавить из себя хоть что-то.

— Все что угодно, — ответила она. А потом Вера ухмыльнулась. Честно говоря, Энди, от этой ухмылки кровь застыла у меня в жилах. — Ты должна помнить одно — то, что твое — его, а что его — то твое. Если с ним произойдет несчастный случай, то деньги, лежащие в банке на его имя, станут твоими. Это закон нашей великой страны.

Ее глаза вперились в мои, на какую-то секунду тени исчезли, и я могла четко читать по ним. То, что я увидела в них, заставило меня быстро отвести взгляд. Снаружи Вера была холодна, как лед, но внутри нее температура, похоже, была намного выше; там было так же жарко, как в эпицентре лесного пожара, должна я вам сказать. Так горячо, что в эти глаза невозможно было смотреть дольше секунды, это уж точно.

— Закон — это великая вещь, Долорес, — произнесла Вера. — И если с плохим мужчиной случается плохой несчастный случай, иногда это может оказаться как нельзя кстати.

— Вы говорите... — начала было я. Я уже немного овладела своим голосом, но это был лишь негромкий шепот.

— Я ничего не говорю, — сказала она. В те дни, когда Вера считала, что проблема решена, она заканчивала разговор, как будто захлопывала книгу. Она положила вязанье в корзинку и встала. — Однако я скажу тебе, что эта кровать никогда не будет заправлена, пока ты сидишь на ней. Я спущусь вниз и приготовлю чай. Может быть, когда ты управишься здесь, то спустишься вниз и попробуешь кусочек яблочного пирога, который я привезла с материка. А если тебе повезет, то, возможно, я угощу тебя еще и ванильным мороженым.

— Хорошо, — ответила я. Мой ум был в смятении, но сейчас я была уверена только в одном: кусочек пирога из Джонспорта был необходим мне, как глоток воздуха. Впервые за четыре недели я действительно ощутила голод — исповедь сделала свое дело. Дойдя до двери, Вера обернулась ко мне:

— Мне не жаль тебя, Долорес, — сказала она. — Ты не говорила мне, что выходила замуж уже беременной, да это было и не нужно; даже такая тупица в арифметике, как я, может подсчитать и сопоставить. Ты была уже на третьем месяце?

— Шесть недель, — ответила я. Я снова перешла на шепот. — Селена родилась раньше времени.

Вера кивнула:

— И что же делает обыкновенная сельская девчонка, когда обнаруживает, что булочка уже замешана? Самое очевидное, конечно... но те, кто женится в спешке, частенько раскаиваются позднее, тебе-то уж это известно. Плохо, что твоя благословенная матушка не научила тебя уму-разуму и не научила пользоваться головой, чтобы спасти свои ноги. Но вот что я скажу тебе, Долорес: ты можешь выплакать хоть все глаза, прикрывшись фартуком, но это не спасет девственность твоей дочери, если этот старый вонючий козел решит воспользоваться случаем, или деньги твоих детей, если он решит потратить их. Но иногда с мужчинами, особенно пьющими, действительно происходят несчастные случаи. Они падают с лестницы, они засыпают в ванной, они замерзают на улице, а иногда они врезаются на машине в деревья, когда спешат домой от своей любовницы, проживающей в Арлингтоне.

Затем Вера вышла, плотно прикрыв за собой дверь. А я стала застилать кровать, размышляя над сказанным ею... о том, что когда с плохим мужчиной происходит несчастный случай, то это вполне может обернуться к лучшему для других. Я начинала понимать очевидные вещи — я поняла бы это намного раньше, если бы мой ум не блуждал вокруг да около, ослепленный паникой, как воробей, мечущийся по комнате в поисках выхода.

К тому времени, когда мы полакомились яблочным пирогом и Вера отправилась наверх вздремнуть, я уже четко знала, что делать. Я хотела отделаться от Джо, получить обратно деньги моих детей, но больше всего мне хотелось заставить его заплатить за все причиненные нам страдания... особенно за страдания Селены. Если с этим сукиным сыном произойдет несчастный случай — правильный несчастный случай, — то так это все и будет. Деньги, которые я не могу получить, пока он жив, вернутся ко мне, когда он умрет. Конечно, он мог бы потратить все деньги или вычеркнуть меня из своего завещания, но он не сделает этого. Не то что у него не хватило бы мозгов на это — то, как он добыл деньги, доказывало, что Джо достаточно хитер, — просто именно так работали у него мозги. В глубине души Джо Сент-Джордж считал, что он никогда не умрет. И он не думал, что все вернется ко мне, как к его жене.

Когда я уходила из дома Веры Донован, дождь уже прекратился, и я медленно брела по грязи. Не пройдя и половины пути, я стала думать о старом колодце, выкопанном за дровяным сараем.

Когда я вернулась домой, там никого не было — мальчики где-то играли, а Селена сообщала в записке, что она пошла к миссис Деверо помогать стирать... у той накопилось много белья из Харборсайд-отеля. Я не имела ни малейшего представления, где находится Джо, да меня это и не волновало. Важным было то, что он уехал на грузовике, так что шум мотора заблаговременно предупредит меня о его возвращении.

С минуту я разглядывала записку Селены. Забавно, какие мелочи иногда влияют на наши решения — подталкивая нас от простой мысли к реальному воплощению задуманного. Даже сейчас я не вполне уверена, действительно ли я собиралась убить Джо в тот вечер, когда вернулась домой от Веры Донован. Я действительно собиралась осмотреть колодец, но это могло быть всего-навсего игрой, подобно тому, как дети играют в представлялки. Если бы Селена не написала тогда эту записку, возможно, я никогда бы не сделала этого... но чем бы мне ни грозило это, Энди, Селена никогда не должна была ничего узнать.

В записке было написано следующее: «Мамочка, я пошла к миссис Деверо вместе с Синди Бэблок помочь стирать белье из отеля — в эти выходные у них было больше посетителей, чем ожидалось, а ты ведь знаешь, что у миссис Деверо обострение артрита. Я вернусь и помогу приготовить ужин. Люблю и целую, Сел».

Я знала, что Селена принесет не больше пяти-семи долларов, но и этому она будет радоваться, как жаворонок. Она с радостью будет помогать миссис Деверо или Синди, если те позовут ее снова, и если ей предложат работу горничной в отеле на следующее лето, она, возможно, попытается уговорить меня дать согласие. Потому что деньги — это деньги, а в те времена на острове очень трудно было найти какую-нибудь другую работу. Миссис Деверо обязательно позовет Селену снова и с удовольствием напишет рекомендательное письмо в отель, если Селена попросит ее об этом, потому что Селена очень трудолюбива и старательна, она не боится нагнуться лишний раз или запачкать руки.

Она была как я в таком возрасте, и посмотрите, во что я превратилась — ведьма-уборщица, сутулящаяся при ходьбе, живущая на таблетках, чтобы хоть как-то утихомирить ноющую боль в спине. Селена не видела в этом ничего плохого, но ей не было и пятнадцати, а пятнадцатилетняя девочка все видит в розовом свете. Я читала ее записку снова и снова и думала: «К черту все — она не повторит моей судьбы и в тридцать пять не будет похожа на старую, разбитую галошу. Она не сделает так, даже если мне придется умереть во имя этого». Но знаешь что, Энди? Я думала, что все не зайдет настолько далеко. Я рассчитывала, что Джо сам уйдет из нашей жизни.

Я положила записку Селены на стол, снова надела плащ и резиновые сапоги. Затем я обошла дом и встала рядом с большим белым камнем, на котором сидела с Селеной, когда говорила, что ей больше нечего бояться Джо, что он пообещал оставить ее в покое. Дождь перестал, но я слышала, как капала вода в зарослях ежевики, и видела застывшие на голых ветках капли дождя. Они были похожи на бриллиантовые серьги Веры Донован, только поменьше.

Заросли занимали добрых пол акра земли, и, продираясь сквозь кусты, я была чертовски рада, что надела плащ и сапоги. Мокрые ветки были бы еще ничего, но самым убийственным было обилие колючек. В конце сороковых здесь был цветущий луг с колодцем, а через шесть лет после нашей свадьбы, когда мы переехали в это место — оно досталось Джо после смерти дядюшки Фредди, — колодец высох. Джо позвал Питера Дойона, и тот вырыл нам новый с западной стороны дома. И больше у нас не было проблем с водой.

С тех пор как мы перестали пользоваться старым колодцем, кустики ежевики разрослись, превратившись в труднопроходимые заросли, их колючки цеплялись за мой плащ, пока я продиралась вглубь и разыскивала крышку старого колодца. Оцарапав несколько раз руки о шипы, я спрятала их в карман.

Наконец я нашла то, что искала, — чуть не свалившись вниз. Я ступила на что-то шаткое и скользкое, под ногами раздался треск, но в самый последний момент я успела отскочить. Если бы мне не повезло, то я упала бы вперед, и крышка скорее всего разлетелась бы на кусочки. Шаба-да-ба-да — и из колодца никуда.

Я опустилась на колени, выставив одну руку вперед, чтобы ветки ежевики не поцарапали мне лицо или не выкололи мне глаза, и внимательно осмотрела колодец.

Крышка была фута четыре в ширину и футов пять в длину; доски насквозь прогнили и покрылись плесенью. Я притронулась к одной из них — на ощупь доска была как поролон. Доска, на которую я наступила, прогнулась, и я увидела свежие трещины. Конечно, я могла бы провалиться, хотя в те дни во мне было не больше одного квинтала. Джо весил по крайней мере фунтов на пятьдесят больше меня.

В кармане у меня лежал носовой платок. Я привязала его на ветку куста, наклонившегося над крышкой колодца, чтобы найти это место в случае необходимости, А затем я вернулась в дом. В ту ночь я спала как убитая, и впервые с того момента, когда я узнала от Селены, что Очаровательный Папочка пристает к ней, мне ничего не снилось.

Это было в конце ноября, но я пока не собиралась ничего предпринимать. Вряд ли мне стоит объяснять вам, почему, но я все же скажу: если бы что-то случилось вскоре после нашего разговора на пароме, то Селена могла бы заподозрить меня. Я не хотела, чтобы это произошло, потому что какая-то часть ее все еще любила отца и, возможно, всегда будет любить его, и поэтому я боялась ее реакции, если она заподозрит, что произошло на самом деле. И, конечно, того, что она будет испытывать по отношению ко мне — мне кажется, об этом и говорить не нужно, — но больше всего я боялась за то, как сама она будет чувствовать себя. И как это все повернется... ладно, теперь это уже не имеет никакого значения.

Итак, все шло своим чередом, хотя, когда примешь решение, всегда очень трудно выжидать. Однако, как и всегда, дни шли, складываясь в недели. Время от времени я спрашивала Селену: «Твой отец ведет себя хорошо?» И она всегда отвечала утвердительно, что само по себе уже было облегчением, потому что, если бы Джо возобновил свои приставания, мне пришлось бы отделаться от него немедленно, подвергая себя огромному риску. Или даже наказанию.

После Рождества, в начале 1963 года, у меня было много других проблем. Одной из них были деньги — каждый день я просыпалась с мыслью, что сегодня он может начать тратить их. Почему я не должна была беспокоиться об этом? Он и так уже растрынькал триста долларов, и у меня не было никакого способа удержать его от растраты остального, ожидая, пока время сделает свое дело, как любят говорить на собраниях Анонимных Алкоголиков. Не могу вам передать, с каким усердием и упорством я разыскивала чековую книжку, которую ему выдали в банке, открывая счет на его имя, но, увы, мне так и не удалось найти ее. Единственное, что мне оставалось делать, так это смотреть, как он возвращается домой с новой цепочкой или дорогами часами на запястье, и надеяться, что он не проиграл еще всех денег в покер. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной.

Затем меня беспокоил вопрос: когда и как я сделаю это... Если мне, конечно, хватит решимости и у меня не сдадут нервы. Мысль использовать старый колодец в качестве ловушки была удачной; однако при более близком рассмотрении все было не так уж и безоблачно. Если все пройдет безупречно, как это происходит в кино, все будет хорошо. Но даже тридцать лет назад я уже достаточно хорошо знала жизнь и понимала, что вряд ли в жизни все случается, как в кино.

Предположим, например, он свалится туда и начнет кричать. В те годы остров еще не был так застроен и заселен, как сейчас, но все равно у нас было трое соседей — Кэроны, Лэнгиллы и Айландеры. Они могут и не услышать крики, доносящиеся из зарослей ежевики позади нашего дома, но ведь могут и услышать... особенно если ветер будет дуть в их сторону. Но и это было еще не все. Дорога, проходящая мимо нашего дома, была довольно-таки оживленной. Мимо проезжало много машин, конечно, меньше, чем сейчас, но вполне достаточно, чтобы обеспокоить женщину, замышлявшую то, что замышляла я.

Я уже чуть было не решила, что колодец не подходит для того, чтобы утихомирить Джо, что это слишком рискованно, когда неожиданно пришел ответ. И он исходил именно от Веры, хотя я не думаю, что она догадывалась об этом.

Видите ли, Вера просто помешалась на солнечном затмении. В тот год большую часть времени она провела на острове, и когда зима пошла на убыль, на кухне стало появляться все больше вырезок из газет. Когда началась весна, с привычными ветрами и хлюпающей грязью, она совсем зачастила на остров, и вырезки появлялись почти каждый день. Это были статьи из местных газет, из «Бостон глоб», «Нью-Йорк таймс» и даже из журнала «Сайентифик Америкэн».

Вера волновалась, так как верила, что затмение в конечном счете привлечет Дональда и Хельгу на остров — она повторяла мне это снова и снова, — но она и так постоянно волновалась в силу своего характера. К середине мая, когда на улице заметно потеплело, Вера основательно обустроилась на острове — она даже никогда не заговаривала о Балтиморе. Это чертово затмение было единственной вещью, о которой она говорила. У Веры было четыре фотоаппарата, три из которых устанавливались на треноги. У нее было также восемь или девять специальных солнечных очков, специально изготовленные коробочки, которые Вера называла «наблюдателями за затмением», перископы с тонированными зеркалами, и я не знаю что там еще.

Затем, ближе к концу мая, придя к ней, я увидела вырезанную статью из нашей местной газетки — «Уикли тайд». «ХАРБОРСАЙД-ОТЕЛЬ БУДЕТ ЦЕНТРОМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗАТМЕНИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ОТДЫХАЮЩИХ» — гласил заголовок. Фотография изображала Джимми Гэксона и Харли Фокса, занимающихся плотницкими работами на крыше отеля. И знаете что? Я почувствовала, как что-то снова заворочалось внутри меня, точно так же, как в тот момент, когда я увидела первую заметку о затмении.

В статье было написано, что владельцы Харборсайд-отеля собираются превратить его крышу в некое подобие обсерватории под открытым небом в день солнечного затмения... Они утверждали, что специально для такого случая крыша будет обновлена, и они намереваются продать триста пятьдесят специальных «солнечных билетиков». Отдыхающим будет отдаваться предпочтение. Цена будет вполне приемлемой — два бакса — но, конечно, они собираются предложить закуски и оборудуют бар, а именно на этом и наживаются владельцы отелей. Особенно на баре.

Я все еще читала статью, когда в кухню вошла Вера. Я не слышала ее шагов, поэтому, когда она заговорила, я подпрыгнула фута на два.

— Ну что ж, Долорес, — сказала она, — что ты выбираешь? Крышу «Харборсайда» или «Принцессу»?

— А причем здесь «Принцесса»? — спросила я.

— Я наняла паром на день солнечного затмения, — ответила она.

— Этого не может быть! — воскликнула я, но сразу же поняла, что именно так она и сделала. Вера никогда не тратила время на пустые разговоры, как и на пустое хвастовство. Но все равно от мысли, что Вера наняла такой огромный катер-паром, как «Принцесса», у меня перехватило дыхание.

— Может, — ответила Вера. — Это стоило мне больших усилий, Долорес, но я сделала это. И если ты согласишься присутствовать на моей экскурсии, то закуска и выпивка за мой счет. — А потом, бросив на меня взгляд из-под опущенных ресниц, она добавила: — Я думаю, это привлечет твоего мужа, ты согласна со мной?

— Господи, — выдохнула я, — зачем ты наняла этот проклятый паром, Вера? — Ее имя все еще странно звучало в моих устах, но к тому времени она вполне ясно дала мне понять, что не шутила — она не позволила бы мне вернуться к обращению «миссис Донован», даже если бы я настаивала. — Я понимаю, что тебя очень интересует затмение и так далее, но ты могла бы нанять экскурсионный катер за полцены.

Вера вздрогнула и откинула назад свои длинные волосы — это был ее вид Поцелуй-Меня-в-Задницу.

— Я наняла паром, потому что люблю эту старую бочкообразную проститутку, — ответила она. — Остров Литл-Толл — мое самое любимое место в мире, Долорес, — тебе это известно?

Честно говоря, я действительно знала об этом, поэтому просто молча кивнула.

— Конечно, знаешь. И именно «Принцесса» всегда привозила меня сюда — смешная, неуклюжая «Принцесса». Я считаю, что на ее борту поместится четыреста человек — на пятьдесят больше, чем на крыше отеля, и я собираюсь взять с собой любого, кто пожелает присоединиться ко мне, к тому же с детьми. — А затем Вера усмехнулась, и эта усмешка была великолепна; это была усмешка девочки, радующейся жизни. — Знаешь что, Долорес? — сказала она. — Тебе не нужно будет кланяться и прислуживать мне, если... — Она замолчала и пристально взглянула на меня: — Долорес! С тобой все в порядке?

Но я не могла произнести ни слова. Великолепная картина заполонила мой ум. Я увидела огромную плоскую крышу отеля, запруженную людьми, запрокидывающими головы в небо, и увидела «Принцессу», замершую между материком и островом, ее палуба также была забита людьми, глядящими вверх, а над всеми ними завис огромный черный круг, окруженный огнем в небе, с горящими в дневное время звездами. От этого видения даже мертвый мог бы ожить, но не это перевернуло все во мне. Мысль об остальных жителях острова сделала свое дело.

— Долорес? — спросила Вера и положила руку мне на плечо. — У тебя что, судорога? Тебе дурно? Иди сюда и присядь, я принесу тебе воды.

У меня не было судороги, но все равно я сомлела, поэтому я подошла к столу и присела... ноги у меня были как ватные, так что я плюхнулась на стул. Я смотрела, как Вера подает мне стакан с водой, и думала о том, что она говорила мне в ноябре — что даже такая тупица в математике, как она, может подсчитать и сделать выводы. Ну что ж, даже я могла сложить триста пятьдесят человек на крыше отеля и больше четырехсот на борту старенькой «Принцессы» и получить семьсот пятьдесят. Господи, конечно, это был не каждый живущий на острове в июле, но почти все. Я подумала, что остальные будут наблюдать затмение с крыш собственных домов или с причала.

Вера принесла мне воды, и я выпила всю до капельки. Она уселась напротив меня и встревоженно спросила:

— С тобой все в порядке, Долорес? Ты не хочешь прилечь?

— Нет, — ответила я. — Я уже пришла в себя. Так оно и было. Мне кажется, что каждой стало бы дурно, когда она точно узнала бы день, когда убьет своего собственного мужа.

Спустя часа три, постирав, купив нужные продукты и положив их в холодильник, пропылесосив ковры и приготовив ей одинокий ужин (возможно, она иногда и делила свое ложе с управляющим, но я никогда не видела, чтобы она делила с ним стол), я собралась уходить. Вера сидела за кухонным столом и разгадывала кроссворд в газете.

— Подумай о поездке с нами двадцатого июля, Долорес, — сказала она. — На просторе это будет намного приятнее, чем на крыше отеля, поверь мне.

— Благодарю, Вера, — ответила я, — но если в этот день у меня будет выходной, сомневаюсь, что я вообще куда-нибудь пойду — скорее всего, я останусь дома.

— Ты не обидишься, если я скажу, что это слишком прозаично? — взглянув на меня, спросила Вера.

«Когда это ты беспокоилась, чтобы не обидеть меня, высокомерная сучка?» — подумала я, но, конечно же, не сказала этого. К тому же Вера действительно выглядела озабоченной, когда подумала, что я падаю в обморок, хотя, возможно, она просто испугалась, что я при падении разобью нос и запачкаю кровью пол ее кухни, который я же и выдраила всего день назад.

— Нет, — ответила я. — Такая уж я есть, Вера, — скучная, как застоявшаяся вода.

Теперь она хитренько смотрела на меня.

— Неужели? — возразила она, — Иногда именно так я и думаю... но иногда я сомневаюсь в этом.

Я попрощалась с ней и пошла домой, снова и снова прокручивая пришедшую мне в голову мысль, тщательно выискивая недостатки этого варианта, но не нашла ни одного — это ведь большая часть нашей жизни, разве не так? Нас всегда подстерегают неудачи, но если бы люди слишком сильно волновались и переживали из-за этого, то вообще ничего не было бы сделано. К тому же, подумала я, если все пойдет плохо, я всегда сумею пойти на попятный. Даже в самый последний момент.

Прошел май, наступил и прошел День Поминовения, начались школьные каникулы. Я уже основательно подготовилась к тому, чтобы убедить Селену, если она начнет уговаривать меня разрешить ей работать в Харборсайд-отеле, но не успели мы перекинуться с ней и парой аргументов, как произошла самая чудесная вещь на свете. Преподобный Хафор, который служил в нашей методистской церкви в те годы, зашел поговорить со мной и Джо. В летнем лагере, устраиваемом церковью, было два места для умеющих плавать девочек. А Селена и Таня Кэрон обе плавали, как рыбы, и Хафор знал об этом, и я, чтобы хоть как-то сократить длинный рассказ, скажу лишь, что вместе с Мелиссой Кэрон мы провожали наших дочерей на пароме через неделю после начала каникул, они махали нам с парома, а мы им — с причала, и все четверо плакали как дурочки. На Селене был розовый костюмчик, и я впервые увидела, какой привлекательной женщиной она будет. Это разбило мое сердце, да и сейчас еще оно екает от этого воспоминания.

Итак, с Селеной все было в порядке; остались мальчишки. Я заставила Джо позвонить его сестре в Ныо-Глочестер и спросить, не будут ли они с мужем возражать, если мальчики проведут у них три недели в июле и неделю в августе, как и мы принимали их мальчишек-озорников у себя, когда те были помладше. Я думала, что Джо будет возражать против отъезда Малыша Пита, но он не стал — мне кажется, ему понравилась мысль о том, как тихо будет в доме без детей.

Алисия Форберт — так звали его сестру в замужестве — с радостью согласилась принять наших мальчиков. Наверное, Джек Форберт был менее рад такой перспективе, но Алисия умела подкручивать хвост этой собаке, так что проблем не было — по крайней мере, в этом.

Проблема была в том, что ни Джо-младший, ни Малыш Пит не хотели ехать. И я не виню их в этом: сыновья Форбертов были уже подростками, и вряд ли они захотели бы тратить свое время на наших малышей. Но это не остановило меня, я не могла позволить, чтобы это остановило меня. Я опустила свою голову и как бульдозер наехала на них. Из них двоих Джо-младший оказался более крепким орешком. Но я отвела его в сторону и сказала: «Считай, что это будет просто отдыхом от твоего отца. Подумай об этом». И именно это убедило его больше, чем что-либо другое, — довольно-таки мрачно, если хорошенько поразмыслить над этим, не так ли?

Как только вопрос с их отъездом был решен, оставалось только ждать, и мне кажется, в конце концов они даже были рады уехать. С Четвертого июля Джо очень сильно пил, и мне показалось, что даже Малышу Питу было неприятно находиться рядом с ним.

Его запой не удивил меня; я всячески помогала ему в этом. Когда он впервые открыл буфет и увидел полную бутылку с виски, то был просто поражен — я помню, как он спросил, не ударилась ли я головой или что-то в этом роде. После, однако, он уже не задавал мне вопросов. Зачем? После Четвертого июля и до самого дня своей смерти Джо Сент-Джордж был пьян, как свинья, почти каждый день, а мужчина в таком состоянии очень быстро начинает понимать преимущества такой жизни... особенно мужчина типа Джо.

В моем рассказе это звучит неплохо, но время после Четвертого — неделя до отъезда мальчиков и неделя после этого — было очень неприятным. В семь утра я уходила к Вере, оставляя его лежащим на кровати и храпящим во всю глотку. Когда я возвращалась домой в два или три, он уже сидел на веранде (раскачиваясь в стареньком кресле-качалке), с «Америкэн» в одной руке и со вторым или третьим стаканчиком в другой. Он пил виски в полном одиночестве; Джо не был, что называется, душой нараспашку.

В тот год на первой странице газеты каждый день помещали статью о солнечном затмении, но мне кажется, что, несмотря на чтение газет, у Джо было очень смутное представление о том, что в конце месяца произойдет действительно из ряда вон выходящее событие. Видите ли, Джо не слишком-то волновали такие вещи. Джо интересовали только коммунисты, права человека и любвеобильные католики, засевшие в Белом Доме. Если бы он знал, что произойдет с Кеннеди четыре месяца спустя, мне кажется, он умер бы вполне счастливым — вот каким мерзким человеком он был.

Но я все равно сидела рядом с ним и слушала его пустую болтовню и возмущения по поводу напечатанного в газете. Я хотела, чтобы он привык к тому, что, придя домой, я нахожусь рядом с ним, но если я скажу вам, что это было очень легко, то буду просто последней лгуньей. Я не возражала бы, даже если бы он выпивал вполовину больше, если бы он, выпивши, был более благожелателен — многие мужчины очень добры в таком состоянии, но только не Джо. Выпивка отвращала Джо от женщин.

По мере приближения знаменательного дня я все больше уставала у Веры и уходила от нее с большим облегчением, хотя дома меня ждал пьяный муж. Вера суетилась, болтала о том, о сем, проверяла и перепроверяла снаряжение для затмения, звонила по телефону — в последнюю неделю июля она звонила приглашенным два раза в день.

Под моим началом было шесть девушек в июне и восемь после Четвертого июля; больше служанок у Веры никогда не работало, даже до смерти ее мужа. Дом выскребли от крыши до подвала — все просто сияло, были застланы все кровати. Черт, были даже поставлены дополнительные кровати в солярии и на веранде второго этажа. Она ожидала по крайней мере больше дюжины гостей, которые должны были остаться на ночь в день затмения. Ей не хватало двадцати четырех часов в сутки, она носилась как угорелая, но была очень счастлива.

Затем, когда я отправила мальчиков к их тете Алисии и дядюшке Джеку — где-то десятого или одиннадцатого июля, за неделю до затмения, — ее хорошее настроение испарилось.

Испарилось? Какое там. Оно просто разлетелось на кусочки, как проткнутый воздушный шарик. Сегодня она еще летала, как реактивный самолет, а завтра уже кривила губы, и в ее глазах появился подлый, ищущий блеск, к которому я привыкла позже, когда она стала жить на острове одна. В тот день Вера уволила двух девушек — одну за то, что та встала на подушечку, когда мыла окна в гостиной, а другую за то, что она хихикала на кухне с поставщиком провизии. Второй случай был особенно отвратительным, потому что девушка стала плакать. Она сказала Вере, что училась с этим парнем в средней школе, не видела его с тех пор и просто хотела вспомнить старые времена. Она извинялась и просила не увольнять ее — она говорила, что ее мать просто взбесится, если узнает об этом.

Но все эти слезы и разговоры не растопили льда. «Посмотри на это с другой стороны, дорогая, — с издевкой сказала Вера. — Возможно, твоя мать и будет сердиться, но зато у тебя будет столько времени для воспоминаний о радостях учебы в школе».

Девушка — это была Сандра Малкахей — ушла, опустив голову и так всхлипывая, будто у нее разбилось сердце. А Вера стояла в прихожей, немного согнувшись, чтобы лучше видеть девушку через окно над входными дверями. У меня так и зачесалась нога, чтобы дать ей пинка под зад, когда я увидела ее в такой позе... но и ее мне было немного жаль. Нетрудно было догадаться, почему изменилось ее настроение, а немного погодя я знала это ухе наверняка. Ее дети не собирались наблюдать солнечное затмение вместе с ней, несмотря на откупленный паром. Возможно, у них просто были другие планы, как это частенько делают дети, не обращая внимания на чувства своих родителей, но мне показалось, что-то плохое, некогда происшедшее между ними, все еще оставалось в силе.

Настроение Веры стало немного улучшаться, когда шестнадцатого или семнадцатого начали прибывать первые гости, но я все равно радовалась, когда могла уйти домой, а в среду, восемнадцатого, она выгнала еще одну девушку — Карин Айландер, так ее звали. Вся ее вина заключалась в том, что она разбила тарелку. Карин не плакала, когда шла по подъездной дорожке, но мне кажется, что она продержалась только до первого холма, скрывшего ее из виду.

А потом я сделала глупость — но вы же помните, в каком взвинченном состоянии я находилась. Мне удалось дождаться, пока Карин не скроется из виду, а потом я пошла искать Веру. Я нашла ее в саду позади дома. Надвинув шляпку так глубоко, что ее поля почти касались ушей, она так клацала садовыми ножницами, будто была мадам Дюфорж, срубающей людские головы, а не Верой Донован, срезающей розы для гостиной и столовой.

Я подошла к ней и сказала:

— Ты поступила неправильно, уволив эту девушку.

Она выпрямилась и измерила меня негодующим взглядом великосветской дамы:

— Тебе так кажется? Я очень рада выслушать твое мнение, Долорес. Я страстно желала этого; каждый вечер, ложась спать, я прокручиваю весь день и думаю: «А что бы сделала на моем месте Долорес Сент-Джордж?»

Но это только еще больше взбесило меня.

— Я скажу тебе, чего Долорес Клейборн никогда бы не сделала, — парировала я, — я никогда не стала бы срывать свою злость и разочарование на других людях. Мне кажется, не такая уж я заносчивая сука.

Рот ее раскрылся, как будто кто-то всунул ей туда палку, и теперь челюсти уже не могут закрыться. Я уверена, что это был первый раз, когда я действительно удивила ее, и мне пришлось побыстрее ретироваться, чтобы Вера не успела заметить, насколько я сама испугалась. Когда я вошла в кухню, ноги у меня так дрожали, что я почти упала на стул и подумала: «Ты сумасшедшая, Долорес, если так накрутила ей хвост». Я приподнялась, чтобы выглянуть в окно, но Вера стояла ко мне спиной и вовсю орудовала ножницами; розы падали ей в корзину, как мертвые солдаты с окровавленными головами.

Я уже собиралась уходить домой, когда Вера подошла ко мне и попросила задержаться на минутку, так как она хочет поговорить со мной. Я почувствовала, как мое сердце ушло в пятки. Ни на секунду я не сомневалась, что подошло и мое время — она скажет, что больше не нуждается в моих услугах, и в последний раз одарит меня взглядом Поцелуй-Меня-в-Задницу, и теперь уже я пойду вниз по дороге на все четыре стороны. Вам может показаться, что это было бы облегчением для меня, наверное, так оно и было, но все равно сердце екало в моей груди. Мне было тридцать шесть, с шестнадцати я работала не покладая рук, и никогда еще меня не увольняли с работы за провинность. Собрав все свое мужество, я повернулась к Вере.

Однако, взглянув в ее лицо, я уже знала, что она не собирается увольнять меня. Вся косметика, украшавшая ее лицо с утра, была смыта, а припухшие веки указывали на то, что она скорее всего плакала в своей комнате. В руках она держала коричневую сумочку, которую протянула мне.

— Что это? — спросила я.

— Два наблюдателя за затмением и две коробочки с отражателями, — ответила она. — Я подумала, что они понадобятся вам с Джо. Так получилось, что у меня... — Она замолчала, кашлянула в кулак, а потом снова взглянула на меня. Знаешь, Энди, в Вере меня восхищало то, что как бы ей ни было тяжело или трудно, что бы она ни говорила, она всегда смотрела людям в глаза. — Так получилось, что у меня оказалось два лишних, — сказала она.

— Да, — произнесла я. — Мне очень жаль.

Вера отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи, а потом спросила, не передумала ли я и не присоединюсь ли к ее компании на пароме.

— Нет, — ответила я. — Я буду наблюдать за затмением с веранды нашего дома вместе с Джо. А если он будет как фурия, то я отправлюсь в Ист-Хед.

— Если уж мы затронули фурий, — глядя прямо мне в глаза сказала Вера, — мне бы хотелось извиниться за происшедшее утром... и попросить тебя позвонить Мейбл Айландер и передать, что я изменила свое решение.

Сказать подобное стоило ей огромных усилий, Энди, — ты ведь не знал ее так близко, как я, так что вам придется поверить мне на слово. Когда дело доходило до извинений, Вера Донован превращалась в кремень.

— Конечно, с удовольствием, — мягко произнесла я. Я хотела прикоснуться к ее руке, но не решилась. — Только это Карин, и не Мейбл. Мейбл работала здесь лет шесть или семь назад. Теперь она живет в Нью-Хэмпшире, работает в телефонной компании, и дела у нее идут действительно хорошо.

— Тогда Карин, — согласилась Вера. — Попроси ее вернуться. Скажи, что я просто изменила свое решение, Долорес, и ни слова больше. Понятно?

— Да, — ответила я. — И благодарю за оснащение. Оно будет очень кстати. Я уверена в этом.

— Рада доставить тебе удовольствие, — сказала она. Я открыла дверь, намереваясь выйти, когда Вера окликнула меня. Я оглянулась через плечо, а она подмигнула мне так, будто знала то, о чем ей вовсе не нужно было знать.

— Иногда приходится быть сукой, чтобы выжить, — сказала она. — Иногда это единственное, что еще держит женщину в этой жизни.

А потом она закрыла дверь прямо перед моим носом... но аккуратно. Она не хлопнула ею.

Ну что ж; вот мы и добрались до дня солнечного затмения, и если уж я собираюсь рассказать вам о том, что случилось — все до мельчайших подробностей, — я не собираюсь делать этого на сухую. Я и так уж говорю больше двух часов — так долго, что у меня горло пересохло, а конца моему рассказу еще не видно. Вот что я скажу тебе, Энди: или ты достанешь бутылочку из своего стола, или на сегодня мы покончим с исповедью. Что ты на это скажешь?

Вот так-то — благодарю. Мальчик, это не запятнает твою репутацию! Нет, убери ее. Одной достаточно, чтобы завести мотор, вторая может только все испортить.

Ну что ж, продолжим.

Девятнадцатого вечером я легла спать в ужасно нервном напряжении, потому что по радио сообщили, что, возможно, завтра будет дождь. Я так была увлечена разработкой планов, что даже не подумала о возможности дождливой погоды. Ложась спать, я опасалась, что прокручусь всю ночь, но потом подумала: «Нет, Долорес, ты ничего не сможешь поделать с погодой. Но ты знаешь, что сделаешь это с ним, даже если этот чертов дождь будет лить весь день. Ты зашла слишком далеко, чтобы отступить теперь». И я действительно знала это, поэтому, закрыв глаза, я выключилась, как лампочка.

В субботу — двадцатого июля 1963 года — было жарко, душно и облачно. По радио сообщили, что днем, вероятно, дождя не будет, лишь к вечеру ожидалась гроза, но весь день на небосклоне громоздились тучи, и шансы у жителей побережья увидеть затмение были пятьдесят на пятьдесят.

Я чувствовала себя так, будто огромная гора свалилась с моих плеч, и когда я пошла к Вере помочь ей устроить буфет, мой ум был спокоен, а все мои заботы и волнения оставили меня. Неважно, что на небе были облака; неважно было, если даже будет накрапывать дождь. Пока не польет как из ведра, множество людей не уйдут с крыши отеля, а гости Веры вообще будут вне досягаемости, надеясь, что в облаках образуется прорыв, и они все же смогут увидеть то, что уже не повторится в их жизни... в любом случае не в штате Мэн. Вы же знаете, что надежда — огромная сила в человеческой натуре; никто лучше меня не знает этого.

Насколько я помню, в пятницу вечером в доме Веры остановилось восемнадцать гостей, но в субботу утром их было уже гораздо больше — человек тридцать или сорок, я затрудняюсь сказать точно. Остальные, желающие поехать с ней на пароме (большинство из них были местными жителями), собирались на причале около часа дня, а около двух старенькая «Принцесса» должна была отчалить. Ко времени начала затмения — где-то около четырех тридцати — первые два или три бочонка с пивом будут уже пусты.

Я ожидала увидеть Веру вконец изнервничавшейся и готовой выскочить из собственной шкуры, но иногда мне казалось, что эта женщина никогда не устанет удивлять меня. На ней было надето нечто вздымающееся, красно-белое, больше напоминающее пелерину, чем платье, волосы она собрала назад, связав их в конский хвост, вряд ли напоминающий пятидесятидолларовую прическу, которую она делала в те годы.

Она сновала вокруг длинного стола, установленного в саду на лужайке, шутила и смеялась со своими гостями — большинство из них прибыли из Балтимора, судя по их виду и произношению, — но все равно Вера была не такой, как в дни, предшествующие затмению. Помните, как я рассказывала вам, что она носилась, как реактивный самолет? В день же солнечного затмения Вера была похожа на бабочку, порхающую среди множества цветов, да и смех ее не был столь уж напористым и вызывающе громким.

Она увидела меня, несущую поднос с закусками, и поспешила ко мне дать указания, но шла она не так, как в последние несколько дней — как будто собиралась побежать, — на лице ее застыла улыбка. Я подумала: «Она счастлива — вот и вся причина. Она смирилась с тем, что дети не приедут, и решила, что все равно будет счастлива». Это была бы так... если не знать ее достаточно хорошо и не знать, как редко такая штучка, как Вера Донован, бывает счастлива и весела. Знаешь, что я скажу тебе, Энди, — я знала ее после этого еще тридцать лет и не думаю, что когда-нибудь видела ее по-настоящему счастливой. Довольной — да, умиротворенной — да, но счастливой? Сияющей и счастливой, порхающей, как бабочка над лугом с прекрасными цветами в жаркий солнечный денек? Нет, вряд ли.

— Долорес! — крикнула она. — Долорес Клейборн!

Только намного позже до меня дошло, что Вера назвала меня по моей девичьей фамилии, хотя Джо еще был в полном здравии в то утро; никогда прежде она не называла меня так. Когда до меня дошло, я вся задрожала с головы до пят.

— Доброе утро. Вера, — приветствовала я ее. — Жаль, что сегодня такой пасмурный день.

Она взглянула на небо, затянутое низкими, набрякшими дождем облаками, и улыбнулась.

— В три часа засияет солнце, — ответила она.

— Ты говоришь это так, будто все подчиняется твоим приказаниям, — сказала я.

Конечно, я шутила, но Вера серьезно сказала:

— Да, именно так. А теперь сбегай в кухню, Долорес, и посмотри, почему этот болван слуга до сих пор не принес нам кофе.

Я отправилась выполнять ее приказ, но не успела сделать и четырех шагов, как Вера снова окликнула меня — ну точно как в тот день, когда сказала, что иногда женщина должна быть сукой, чтобы выжить. Я обернулась, решив, что она собирается повторить то же самое. Однако она не сделала этого. Она стояла в своем красно-белом балахоне, уперев руки в бока, с хвостом волос, перекинутым на плечо, и выглядела не старше двадцати одного в нежном утреннем свете.

— Солнце к трем, Долорес! — звонко крикнула она. — Вот увидишь, что я была права.

Завтрак закончился в одиннадцать, а к полудню в кухне остались только я и мои помощницы; поставщик продуктов и его люди отправились на «Принцессу», чтобы подготовить все ко второму действию. Сама же Вера с тремя или четырьмя оставшимися гостями поехала к причалу на стареньком «форде» в четверть первого. Я занималась уборкой до часа дня, а потом сказала Джейл Лавески, бывшей в то время моей правой рукой, что у меня раскалывается голова и болит желудок, а так как в основном мы все убрали, то я пойду домой пораньше. Уходя, я наткнулась на Карин Айландер, она обняла и поблагодарила меня. И снова расплакалась.

— Я не знаю, что тебе наговорили, Карин, — сказала я, — но тебе не за что благодарить меня. Я ничего не сказала такого.

— Никто ничего не говорил мне, — ответила она, — но я знаю, что это вы, миссис Сент-Джордж. Никто больше не осмелился бы заговорить с этим разъяренным драконом.

Я поцеловала ее в щечку и уверила, что ей не о чем беспокоиться, пока она не разобьет еще одну тарелку. Затем я отправилась домой.

Я помню все, что случилось, Энди, — все, — но с того момента, когда я вступила с подъездной дорожки у дома Веры на Сентрал-драйв, я помню все как во сне, правда, как в самом ярком и четком сне, когда-либо виденном мною в жизни. Я все время думала: «Я иду домой, чтобы убить своего мужа, я иду домой убить собственного мужа», — как бы вбивая эти слова себе в голову, как вбивают гвозди в доску. Но, оглядываясь назад, мне кажется, что эта мысль всегда жила в моей голове. И только мое сердце не могло понять этого.

Было где-то час пятнадцать, когда я подошла к деревне. До затмения оставалось еще добрых три часа, улицы были пусты. В голову мне пришла мысль о городишке в южной части штата, где, как говорят, никто не живет. Затем я посмотрела на крышу Харборсайд-отеля и поразилась еще сильнее. Больше сотни людей уже собрались там, прогуливаясь по крыше и изучая небо, как фермер во время сбора урожая. Взглянув вниз на пристань, я увидела «Принцессу» со спущенным трапом и палубой, набитой людьми. Они прогуливались, держа в руках бокалы с коктейлем, наслаждаясь вечеринкой на открытом воздухе. Да и вся пристань кишмя кишела людьми, к тому же в море было около пятисот лодочек — больше, чем я когда-либо видела за один раз, — готовых к отплытию. Все без исключения, были ли они на крыше, на причале или на палубе «Принцессы», надели светозащитные очки либо держали в руках закопченные стекла или коробочки с отражателями. Никогда ни до, ни после этого ничего подобного не было на острове, и даже если бы я не задумала то, что задумала, мне кажется, все равно это показалось бы мне сном.

Винная лавочка была открыта, несмотря на затмение, — я думаю, эти пройдохи будут работать как обычно даже в день Страшного Суда. Я зашла и купила бутылочку виски «Джонни Уокер Ред», а потом отправилась домой, Я сразу же отдала бутылку Джо — без всяких предисловий, просто кинула ее ему на колени. Затем вошла в дом и достала сумку, которую дала мне Вера, с принадлежностями для наблюдения за солнечным затмением. Когда я снова вышла на веранду, Джо рассматривал бутылку на свет.

— Ты собираешься пить или будешь только смотреть? — спросила я.

Он довольно-таки подозрительно взглянул на меня:

— Какого черта! Что это значит, Долорес?

— Это подарок, чтобы отметить затмение, — отцветила я. — Если ты не хочешь, то я могу вылить это в раковину.

Я сделала вид, что потянулась к бутылке, но он моментально отдернул руку.

— В последнее время ты делаешь мне чертовски много подарков. — сказал Джо. — Мы не можем позволять себе такие дорогие напитки, независимо от того, есть затмение или нет. — Однако это не удержало его от того, чтобы достать складной нож и снять пробку.

— Честно говоря, это не только из-за затмения, — сказала я. — Мне так хорошо и так спокойно, что мне хочется поделиться своей радостью. А так как я заметила, что тебя делает счастливой бутылка...

Я наблюдала, как он снял пробку и налил себе. Руки у него дрожали, но мне не было жаль его. Чем пьянее он будет, тем лучше для меня.

— Что же тебя сделало счастливой? — спросил он. — Разве кто-то уже изобрел лекарство от уродства?

— Как подло говорить подобное тому, кто только что купил тебе бутылку превосходного виски, — заметила я. — Наверное, мне действительно стоит забрать ее. — Я опять потянулась за бутылкой, но он снова убрал ее в сторону.

— Для меня это отличный шанс, — произнес он.

— Тогда веди себя прилично, — сказала я. Джо, не обращая внимания на мои слова, продолжал подозрительно смотреть на меня.

— С чего это ты чувствуешь себя так хорошо? — снова спросил он. — Это из-за детей? Довольна, что выпроводила их из дома?

— Ничего подобного. Я уже скучаю по ним, — ответила я, да так оно и было на самом деле.

— Да, конечно, — произнес он и сделал глоток. — Тогда с чего бы это?

— Я попозже расскажу тебе, — приподнимаясь, ответила я.

Джо схватил меня за руку и потребовал:

— Скажи сейчас, Долорес. Ты знаешь, мне не нравится, когда ты дерзишь мне.

Я посмотрела на него сверху вниз и сказала:

— Тебе лучше убрать свои руки прочь от меня, иначе бутылка с дорогим виски разобьется о твою голову. Мне не хочется ссориться с тобой, Джо, особенно сегодня. Я купила салями, немного швейцарского сыра и кусочек бисквита.

— Бисквита! — воскликнул он — Боже правый, женщина!

— Не возмущайся, — сказала я. — Я хочу устроить для нас пир не хуже, чем будет у Веры на пароме.

— От хорошей еды у меня бывает несварение желудка, так что приготовь мне обыкновенный сэндвич.

— Хорошо, — согласилась я. — С удовольствием.

Теперь он смотрел на плес — возможно, мое упоминание о пароме подействовало на него, — уродливо оттопырив нижнюю губу, как умел делать только он. Лодок в бухте стало еще больше, и мне показалось, что небо немного прояснилось.

— Посмотри на это! — воскликнул Джо, неприятно ухмыляясь по своему обыкновению (именно эту ухмылочку пытался копировать его младший сын). — Чего это ради все эти людишки выпрыгивают из штанов? И всего-то туча на пару минут закроет солнце. Надеюсь, пойдет дождь! Надеюсь, дождь будет такой сильный, что затопит эту старую каргу, на которую ты работаешь, а с ней и всех остальных!

— Вот это в стиле моего Джо! — воскликнула я. — Всегда веселый, всегда доброжелательный!

Он оглянулся на меня, обхватив бутылку с виски — так, как медведь облапывает бочонок с медом.

— На что это ты намекаешь, женщина?

— Ни на что, — ответила я. — Я пойду в дом и приготовлю бутерброд для тебя и что-нибудь перекусить для себя. А затем мы немного выпьем и понаблюдаем за затмением — Вера любезно предоставила нам все, что нужно для этой цели, — а когда все окончится, я расскажу тебе о причине своего хорошего настроения. Это сюрприз.

— Я не люблю дурацких сюрпризов, — заметил Джо.

— Я это знаю, — сказала я. — Но этот сюрприз тебе ужасно понравится, Джо. Ты и мечтать не мог о подобном.

А потом я удалилась в кухню, чтобы Джо действительно мог приложиться к купленной мною бутылочке. Я хотела, чтобы он насладился ею, — честно. В конце концов, это был последний напиток в его жизни. Там, где он будет, ему уже не понадобится помощь «Анонимных алкоголиков», чтобы удержаться от пьянки.

Это был самый длинный и самый странный день в моей жизни. Джо сидел на веранде в своем любимом кресле-качалке, держа газету в одной руке, а стакан в другой, и что-то болтал насчет выборов демократов в августе. Он уже забыл о том, что хотел выяснить, почему это я счастлива, как и о солнечном затмении. Я готовила сэндвич для него, напевая какой-то мотивчик, и думала: «Постарайся как следует, Долорес, — положи побольше красного лука, который он так любит, и обязательно горчицы, чтобы сэндвич был острым. Приготовь вкусный сэндвич, потому что это последняя еда в его жизни».

Из кухонного окна мне был виден белый камень за дровяным сараем и начало зарослей ежевики. Платок, который я привязала к ветке кустика, все еще был там; его я тоже видела. Он развевался на ветру. Каждый раз при взлете платка я думала о прогнившей крышке над старым колодцем.

Я помню, как в тот день пели птицы и как издалека долетали звуки голосов перекликающихся друг с другом людей — как будто они разговаривали по радио. Я даже помню, что именно я напевала:

«Восхитительная Грейс, как звучит это сладко». Все так же напевая, я готовила себе крекеры с сыром (они нужны мне были не больше, чем курице флаг, но я не хотела, чтобы Джо удивился, почему это я не ем).

Было, наверное, четверть третьего, когда я вышла на террасу, неся на одной руке поднос с едой, как официантка, а в другой держа сумочку, которую дала мне Вера. На небе все еще были тучи, но они уже становились легче и светлее.

Оказалось, что еда была великолепной. Джо никогда не был щедр на комплименты, но по тому, как он отложил газету и посмотрел на сэндвич, как ел его, я поняла, что ему очень понравилось. На ум мне пришла фраза из какой-то книжки или фильма: «Осужденного на смерть кормят до отвала». И я уже не могла отделаться от этой мысли.

Однако и я не переставала орудовать вилкой в своей тарелке и съела все до последней крошки, к тому же выпила еще бутылочку пепси. Несколько раз мне приходила в голову мысль: все ли палачи едят с аппетитом в тот день, когда им приходится выполнять свою работу? Человеческий ум иногда доходит до смешного, особенно когда человек нервничает по поводу какого-либо дела.

Солнце пробилось сквозь тучи как раз в тот момент, когда мы заканчивали обедать. Я вспомнила сказанное Верой утром, взглянула на часы и улыбнулась. Было три часа, минута в минуту. Как раз в это время Дейв Пеллетьер — в те дни он развозил почту на острове — проехал обратно в городок, оставляя позади себя длинный шлейф пыли, и до самых сумерек мимо нашего дома не проехало больше ни одной машины.

Поставив на поднос пустые тарелки и бутылочку из-под пепси, я уже собиралась встать, но тут Джо сделал то, чего не делал уже многие годы: положил руку мне на шею и поцеловал. Мне стало очень хорошо; от него разило спиртным, луком и салями, у него отросла трехдневная щетина, но все же это был поцелуй, в котором не чувствовалось ни издевки, ни насмешки. Это был такой приятный поцелуй, что я даже не могла вспомнить, когда же он целовал меня вот так. Закрыв глаза, я позволила ему поцеловать себя. Я отлично помню это — закрыв глаза, я чувствовала его губы на своих, а солнце — на лбу. И то и другое было теплым и приятным.

— Все было не так уж и плохо, Долорес, — произнес он — наивысшая похвала, на которую был способен Джо.

И в эту секунду я заколебалась — я вовсе не собираюсь здесь что-нибудь приукрашивать. В это мгновение я увидела не того Джо, который протягивал руки к Селене, а того, в классной комнате в 1945 году, — как я смотрела на него и желала, чтобы он поцеловал меня именно так, как сейчас; как я думала: «Если он поцелует меня, то я приподнимусь на цыпочки и прикоснусь к его лбу, пока он будет целовать меня... проверю, такой ли гладкий у него лоб, каким выглядит».

Я подняла руки, чтобы прикоснуться к нему — совсем так, как мечтала об этом когда-то, еще совсем зеленой девчонкой, и в ту минуту, когда я делала это, мой внутренний глаз раскрылся шире, чем когда-либо. Он увидел, как Джо будет вести себя дальше, если я позволю ему это, — он не только добьется от Селены того, чего хочет, и не только растратит все украденные у собственных детей деньги, но и будет воздействовать на них; унижать Джо-младшего за хорошие оценки и любовь к истории, одобрительно хлопать Малыша Пита по спине, когда тот будет обзывать кого-нибудь ублюдком или говорить своему однокласснику, что тот ленив, как негр; влиять на них; постоянно влиять на них. И он будет делать это, пока они не сломаются или не станут испорченными, если я позволю ему, а в конце концов он умрет и оставит нас ни с чем, только со счетами и ямой, чтобы похоронить его.

Ну что ж, у меня есть для него яма, и не шести, а тридцати футов в глубину, к тому же выложенная камнем, а не грязью. Я припасла для него яму, и один-единственный поцелуй после трех, а может быть, и пяти лет ничего не должен изменить. Как и прикосновение к его лбу, что и было, в общем-то, основной причиной всех моих проблем... но я все равно прикоснулась к нему; провела по лбу пальцем, вспоминая, как он целовал меня около бара, пока джаз-бэнд наигрывал «Серенаду лунного света», и как я вдыхала запах одеколона его отца, исходивший от его щек, пока он целовал меня.

А потом я взяла себя в руки.

— Я рада, — ответила я, снова берясь за поднос. — Почему бы тебе не проверить коробочки с отражателями и остальные причиндалы для солнечного затмения, пока я отнесу эти тарелки в кухню?

— Я и пальцем не прикоснусь к тому, что дала тебе эта старая ведьма, — сказал Джо, — к тому же мне нет никакого дела до этого чертова затмения. Я и раньше видел темноту. Это происходит каждую ночь.

— Ладно, — ответила я. — Как хочешь.

А когда я подходила к двери, Джо сказал:

— Может быть, попозже мы сможем потешить чертей, Ди?

— Возможно, — произнесла я, все время думая, что чертей-то уж будет вполне достаточно. Еще до наступления вторых сумерек за этот день Джо Сент-Джордж повстречает столько чертей, сколько ему не привиделось бы и в самом страшном сне.

Я продолжала наблюдать за ним, пока мыла посуду. Многие годы в постели он только и делал, что спал, храпел и освобождался от газов, и я думаю, что он знал так же хорошо, как и я, что причиной этому было пьянство, а не только мое подурневшее лицо... может быть, именно пьянство. Я испугалась, что желание тряхнуть стариной заставит его закрутить колпачок «Джонни Уокера», но удача была на моей стороне. Для Джо траханье (извини за грубость, Нэнси) было всего лишь фантазией, воображением. Бутылка была намного реальнее. Бутылка стояла здесь, на столе, стоило лишь протянуть к ней руку. Джо вытащил из сумки одно из стекол для наблюдения за затмением и, взявшись за его ручку, поворачивал то так, то сяк, щурясь сквозь него на солнце. Он напомнил мне картинку, увиденную по телевизору, — шимпанзе, пытающееся включить радио. Затем Джо отложил стекло в сторону и налил себе новую порцию.

Когда я снова появилась на веранде с шитьем в корзинке, то увидела, что он уже доходит до кондиции. Но он все же зорко посмотрел на меня, пытаясь понять, не собираюсь ли я зацепить его.

— Не обращай на меня внимания, — сладенько проворковала я. — Я просто посижу здесь и подожду, когда начнется затмение. Хорошо, что показалось солнце, правда?

— Господи, Долорес, ты, наверное, думаешь, что у меня сегодня день рождения, — произнес Джо. Голос у него был приглушенный, как бы подбитый мехом.

— Ну, что-то вроде этого, — ответила я и начала латать старенькие джинсы Малыша Пита.

Следующие полчаса тянулись так же долго, как в то время, когда я была еще совсем маленькой девочкой, когда тетушка Клорис пообещала зайти за мной и повести меня впервые в жизни в кино. Я долатала джинсы Малыша Пита, поставила заплаты на брюки Джо-младшего (даже тогда он не носил джинсы — мне кажется, часть его уже в те дни решила, что он станет политиком, когда вырастет) и подрубила юбочку Селены. Последнее, что я сделала, — пришила пуговицы на ширинке брюк Джо. Брюки были старые, но носить их все-таки еще было можно. Я помню, как у меня промелькнула мысль, что в них его можно будет и похоронить.

И тут, когда я так подумала, совершенно неожиданно я заметила, что свет на моих руках немного потускнел.

— Долорес? — произнес Джо. — Мне кажется, это именно то, чего ты и все эти остальные дураки так ждали.

— Ага, — пробормотала я. — Я тоже так думаю. — Дворик, обычно ярко-желтый в жарких лучах послеполуденного июльского солнца, окрасился в блекло-розовые тона, а тень, отбрасываемая домом на подъездную дорожку, как-то истончилась — такой странной тени я никогда не видела ни до, ни после.

Я вытащила коробочку с отражателем и взяла ее так, как сотни раз за последнюю неделю показывала мне Вера, и тут странная мысль промелькнула в моей голове: «Та малышка делает то же самое. Та, которая сидит на коленях у своего отца. Она делает то же самое».

Ни тогда, ни сейчас я не знаю, что могла означать эта мысль, Энди, но все равно я рассказываю об этом, потому что решила рассказать вам обо всем и потому что позже опять подумала о той малышке. Но тогда, в следующее мгновение, я не просто подумала о ней; я увидела ее, как видят людей во сне, как, должно быть, древним пророкам являлись их видения: маленькую девочку лет десяти, держащую коробочку с отражателем в руках. На ней было коротенькое платьице в красно-желтую полоску — что-то типа летнего сарафанчика без рукавов, — а губы подкрашены помадой цвета перечной мяты. У нее были светлые волосы, собранные кверху, будто девочка хотела выглядеть старше, чем была на самом деле. И я увидела еще нечто, что заставило меня подумать о Джо: руки ее отца лежали на коленях девочки достаточно высоко. Возможно, выше, чем это позволительно. А потом видение исчезло.

— Долорес? — спросил меня Джо. — С тобой все в порядке?

— Что ты имеешь в виду? — вопросом на вопрос ответила я. — Конечно, со мной все в порядке.

— Ты как-то странно выглядела.

— Это просто затмение, — сказала я, да и действительно я думала, что причина кроется именно в этом, Энди, но мне казалось, что увиденная мною девчушка реальна и что она сидела на коленях у своего отца где-то в зоне солнечного затмения, в то время как я сидела на веранде своего дома рядом с Джо.

Я посмотрела в коробочку с отражателем и увидела крошечное белое солнце, настолько яркое, что оно напоминало пылающий пятидесятицентовик, с темным изгибом на одной стороне. Я не могла оторвать глаз от этого зрелища, а потом взглянула на Джо. Подняв один из обозревателей, он вглядывался в него.

— Черт побери, — произнес он. — Оно действительно исчезает.

Где-то в это же время в траве затрещали кузнечики; мне кажется, им показалось, что солнце слишком рано начало садиться в тот день, но все равно пришло время для их вечерних песен. Я взглянула на лодки и увидела, что вода, по которой они плавали, стала темно-синей — в этом было что-то жуткое и завораживающее одновременно. Мое сознание пыталось заставить меня поверить, что эти лодки под странно-темным летним небом были всего лишь галлюцинацией.

Взглянув на часы, я увидела, что уже без десяти пять. Это означало, что около часа никто на острове не будет ни думать о чем-то другом, ни видеть ничего другого. Ист-лейн как вымерла, все наши соседи были либо на «Принцессе», либо на крыше отеля, и если я действительно решила наказать его, то это время настало. Все во мне похолодело. Но я не могла откладывать задуманное ни на минуту. Я знала, если не сделаю этого прямо сейчас, то не сделаю ухе никогда.

Я положила коробочку с отражателем рядом с шитьем и окликнула мужа:

— Джо?

— Что? — спросил он. Он смеялся над затмением, но когда оно действительно началось, казалось, он не мог оторвать от него глаз. Закинув голову, он смотрел сквозь затемненное стекло вверх.

— Наступило время сюрприза, — сказала я.

— Какого сюрприза? — спросил он, а когда опустил вниз наблюдатель, который состоял из нескольких слоев специально затемненного стекла, заключенного в рамочку, и посмотрел на меня, я поняла, что вовсе не солнечное затмение подействовало на него. Он был пьян как свинья. Если он не поймет, что я скажу ему, то мой план провалится, даже не начавшись. И что мне тогда делать? Я не знала. Единственное, что я действительно знала, испугало меня до полусмерти: я не собиралась отступать. Неважно, как плохо все это повернется или что случится позже, — я не собиралась отступать.

Джо схватил меня за плечо и тряхнул:

— О чем это ты говоришь, женщина? — произнес он.

— Ты знаешь о деньгах на детских счетах? — спросила я.

Глаза Джо немного сузились, и я поняла, что он не так уж и пьян, как мне сперва показалось. И я поняла, что один-единственный поцелуй абсолютно ничего не меняет. Целовать может кто угодно; именно поцелуем Иуда Искариот выдал римлянам Иисуса.

— Ну и что? — процедил он.

— Ты взял их.

— Чертовски удачно, — ответил Джо.

— Конечно, — сказала я. — Узнав о твоих шашнях с Селеной, я пошла в банк. Я собиралась снять деньги со счетов, а потом увезти детей подальше от тебя.

Джо открыл рот и несколько секунд молча смотрел на меня. А потом он начал смеяться — просто откинулся на спинку кресла и хохотал, в то время как темнота все плотнее и плотнее обступала его.

— Ну что ж, тебя провели, не так ли? — спросил он. Затем, налив себе еще немного виски, Джо снова стал смотреть на небо сквозь затемненное стекло. В этот раз я с трудом увидела отбрасываемую на его лицо тень.

— Нет уже половины, Долорес! — воскликнул он. — Уже нет половины, а может, даже и больше!

Я взглянула в свою коробочку с отражателем и увидела, что он прав; от пятидесятицентовика осталась всего лишь половина, да и та неуклонно уменьшалась.

— Ага, — произнесла я. — Половина уже исчезла. Что же касается денег, Джо...

— Лучше забудь об этом, — сказал он мне. — Не забивай свою маленькую, глупую голову. Эти деньги в надежных руках.

— О, я больше не думаю о деньгах, — возразила я. — Ни капельки. Однако то, как ты провел меня, — вот что не дает мне покоя.

Джо кивнул как-то грустно и задумчиво, желая показать, что понимает и сочувствует мне, но долго не смог удержаться в рамках этой роли. Вскоре он просто взорвался от смеха, как ребенок, обманувший учительницу, которую он вовсе не боится. Он так смеялся, что серебрившиеся в сумерках брызги слюны так и вылетали из его рта.

— Извини, Долорес, — произнес он, когда наконец-то снова обрел возможность говорить. — Я не хотел смеяться, но я все же действительно опередил тебя, разве не так?

— О да, — согласилась я. В конце концов это было правдой.

— Здорово я провел тебя, — сказал Джо, смеясь и тряся головой, как это делают люди, услышав действительно смешной анекдот.

— Да, — согласилась я, — но знаешь, что я тебе скажу?

— Нет, — ответил он. Уронив стекло на колени, Джо повернулся ко мне. Он так смеялся, что на его красноватые свиные глазки навернулись слезы. — У тебя на всякий случай заготовлены пословицы и поговорки, Долорес. Что же в них говорится о мужьях, которым наконец-то удается проучить своих жен, сующих куда не надо свой нос?

— Обманешь меня раз — позор тебе, обманешь меня дважды — позор мне, — сказала я. — Ты провел меня с Селеной, а затем ты провел меня с деньгами, но мне кажется, я наконец-то догнала тебя.

— Ну что ж, может, так, а может быть, и нет, — возразил Джо, — но если ты беспокоишься, что я растрачу их, то не надо, потому что...

— Я не беспокоюсь, — отрезала я. — Я уже сказала тебе об этом. Это ни грамма не беспокоит меня.

Тогда он мрачно взглянул на меня, Энди, улыбка постепенно сходила с его лица.

— У тебя снова такой довольный вид, — сказал он, — он мне не очень-то нравятся.

— Зуб за зуб, — заметила я.

Джо долго смотрел на меня, пытаясь понять, что же происходит в моей голове, но, клянусь, для него это оставалось такой же загадкой, как и всегда. Выпятив нижнюю губу, он так тяжко вздохнул, что сдул спадающую на лоб прядь волос.

— Большинство женщин не понимают в деньгах главного, Долорес, — произнес он, — и ты не исключение. Я положил деньги на один счет, вот и все... так это намного интереснее. Я не сказал тебе, потому что не хотел слушать всякий вздор. Мне и так приходится выслушивать достаточно много, но что слишком, то нехорошо. — А затем он снова приподнял стекло, давая мне понять, что тема закрыта.

— На счет, открытый только на твое имя, — произнесла я.

— Ну так что? — спросил он. К тому времени мы уже сидели в глубоких сумерках, и очертания деревьев на горизонте начали расплываться. Я слышала, как позади дома жалобно запел козодой. Казалось, что стало прохладнее. От всего этого у меня возникло странное чувство... как будто я видела сон, каким-то чудом превратившийся в реальность.

— А почему счет не должен быть на мое имя? Разве я не их отец?

— Ну что ж, твоя кровь течет в их жилах. Если в этом заключается смысл отцовства, то ты, конечно, отец.

Я видела, как он пытался решить, стоит ли цепляться за эти слова, но потом решил отказаться.

— Не стоит больше говорить об этом, Долорес, — сказал он. — Я предупреждаю тебя.

— Только еще немного, — улыбаясь, возразила я. — Ты совсем забыл о сюрпризе.

Джо удивленно взглянул на меня:

— Что за вздор ты несешь, Долорес?

— Видишь ли, я встретилась с управляющим банка в Джонспорте, — сказала я. — С очень хорошим человеком по имени мистер Пис. Я рассказала ему о случившемся, и он страшно расстроился. Особенно когда я показала ему чековые книжки, которые не были утеряны, — вопреки твоему рассказу.

Именно тогда Джо потерял всякий интерес к солнечному затмению. Он просто сидел в своем проклятом кресле-качалке, взирая на меня широко открытыми глазами. Брови его поднялись кверху, а губы так плотно сжались, что превратились в узкую белую полоску. Он уронил стекло на колени, руки его сжимались и разжимались, но очень медленно.

— Выяснилось, что ты не должен был поступать подобным образом, — продолжила я. — Мистер Пис проверил, все ли еще деньги находятся в банке. Когда мы выяснили, что они все еще там, мы оба вздохнули с облегчением. Он спросил, не хочу ли я вызвать полицию и рассказать им, что случилось. По выражению его лица я поняла, что он надеется, что я откажусь. Я спросила, может ли он вернуть эти деньги мне обратно. Он просмотрел книги и ответил, что может. И тогда я сказала: «Это будет лучше всего». И он сделал это. Именно поэтому я больше не беспокоюсь о деньгах моих детей, Джо, — теперь я получила их, а не ты. Разве это не отличный сюрприз?

— Ты врешь! — выкрикнул Джо и так стремительно вскочил, что едва не перевернул кресло-качалку. Стеклышко упало с его колен и разбилось на мелкие кусочки. Жаль, что в тот момент у меня в руках не было ухвата; я бы воткнула брусок прямо ему в макушку. Выражение лица Джо стоило всего того, что я пережила после беседы с Селеной на пароме.

— Они не имеют на это права! — завопил Джо. — Ты не можешь снять с этого счета даже цент, не можешь даже увидеть эту чертову чековую книжку...

— Разве? — возразила я. — Тогда откуда же мне известно, что ты уже истратил триста долларов? Слава Богу, что не больше. Но все равно даже мысль об этом доводит меня до бешенства. Ты же обыкновенный вор, Джо Сент-Джордж, — настолько подлый, что крадешь даже у своих собственных детей!

Лицо его стало мертвенно-бледным. Только глаза были еще живы, пылая лютой ненавистью. Руки его сжимались и разжимались в кулаки. Я взглянула вниз — и увидела солнце — уже меньше половинки, что-то вроде жирного полумесяца, — отражающееся во множестве разбитых темных кусочков стекла, разбросанных у ног Джо. Затем я опять взглянула на него. Мне нельзя было надолго отводить взгляд от лица Джо, особенно когда он находился в таком состоянии.

— На что ты истратил триста долларов, Джо? Проститутки? Покер? Еще что-то?

Он ничего не ответил, просто стоял и сжимал и разжимал кулаки. Позади него я видела первых засветившихся светлячков. Лодчонки в гавани превратились в привидения, и я вспомнила о Вере. Я подумала, что если она еще и не на седьмом небе, то уж в вестибюле-то наверняка. Не то чтобы мне было какое-то дело до Веры; все мои мысли занимал Джо. Я хотела заставить его двигаться, поэтому придумала более веский довод, чтобы подтолкнуть его.

— Кажется, мне вовсе не интересно, на что ты потратил деньги, — сказала я. — Я получила передышку, а уже это само по себе просто здорово. А ты можешь трахнуть сейчас себя... если, конечно, твой старенький хромой дурень сможет встать, вот так-то.

Шагнув ко мне, Джо раздавил башмаками несколько кусочков разбитого стекла и схватил меня за руку. Я могла бы ускользнуть от него, но не захотела. Не так скоро.

— Придержи-ка свой язычок, — прошипел он, обдавая меня парами шотландского виски. — Если ты не замолчишь, то я заткну тебе глотку.

— Мистер Пис хотел, чтобы я положила деньги обратно в банк, но я отказалась — я подумала, что если ты сумел снять деньги с детского счета, то сможешь придумать, как это сделать с моего. Потом он хотел выдать мне чек, но я побоялась, что если ты узнаешь об этом раньше, чем я захочу этого, то ты сможешь прекратить оплату по нему. Поэтому я попросила мистера Писа выдать мне деньги наличными. Ему это не понравилось, но в конце концов ему пришлось уступить, и теперь они все до последнего цента у меня, и спрятаны они в очень надежном месте.

Теперь он схватил меня уже за горло. Я была уверена, что он сделает это, и все же была ужасно напугана, но этого я тоже хотела — я хотела, чтобы он поверил в то, что я собиралась сказать ему. Но даже это было не самым главным. Когда он, как сумасшедший, схватил меня за горло, все мои последующие действия выглядели как самооборона — вот что было самым главным. Да это и была самооборона, что бы по этому поводу ни говорили юристы; уж я-то знаю, потому что я была там, а вот юристов там не было. В конце концов я защищала себя и своих детей.

Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, а он, не переставая вопить, тряс меня из стороны в сторону. Я не помню всех подробностей; кажется, несколько раз он ударил меня головой о столбики веранды. Я проклятая сука, говорил он, он убьет меня, если я не отдам ему деньги, — и другую чепуху в том же роде. Я уже начала бояться, что он действительно убьет меня еще до того, как я скажу ему то, что он хотел услышать.

Во дворе стало намного темнее, казалось, сюда слетелись сотни тысяч светлячков, виденных мною раньше. Голос Джо доносился откуда-то издалека, и мне уже стало казаться, что все идет неправильно и плохо — что это я упаду в колодец, а не он.

В конце концов он отпустил меня. Я попыталась устоять, но ноги не держали меня. Я хотела опуститься на стул, на котором сидела до этого, но Джо слишком далеко увлек меня от того места, так что, падая, я только задела спиной краешек сиденья. Я упала на пол веранды, усыпанный осколками стекла. Рядом со мной оказался большой осколок, отражавший серпик солнца и сверкавший, как бриллиант. Потянувшись к осколку, я замерла. Я не собиралась зарезать Джо, даже если бы он позволил мне сделать это. Я не могла зарезать его. Порез — рана от стекла — позже будет выглядеть не так, как нужно. Видите, как я тогда думала... но я не сомневалась в правильности своего решения, Энди. Вместо осколка я взяла коробочку с отражателем, сделанную из какого-то тяжелого дерева. Я могла бы сказать, что считала коробочку вполне подходящей, чтобы оглушить ею Джо, но это было бы неправдой. В тот момент я вообще ни о чем не думала.

Я закашлялась — я кашляла так сильно, что удивительно, как это я не брызгала кровью, так же как слюной. Казалось, что горло мое полыхает огнем.

Джо так резко поднял меня на ноги, что одна из бретелек комбинации лопнула. Затем, схватив меня за горло своей ручищей, он стал притягивать меня к себе, пока мы оба не оказались на расстоянии поцелуя, — только вот вряд ли теперь ему хотелось целоваться.

— Я говорил тебе, что случится, если ты не будешь относиться ко мне с должным почтением, — сказал Джо. Глаза его были влажными, будто от слез, но самым пугающим в его взгляде было то, что он смотрел как бы сквозь меня, как будто для него я не существовала в реальности. — Я говорил тебе это тысячи раз. Теперь-то ты веришь мне, Долорес?

— Да, — ответила я. Джо так крепко держал меня за горло, что мой голос пробивался как бы сквозь слои грязи. — Да, поняла.

— Повтори! — приказал он.

Мое горло все еще было зажато в кольце его рук, но теперь он его так сдавил, что пережал какой-то нерв. Я застонала. Я не могла сдержаться: мне было невыносимо больно. Это вызвало ухмылку на лице Джо.

— Скажи это более убедительно! — приказал он.

— Да, — простонала я. — Я поняла! — Раньше я собиралась разыгрывать испуг, но Джо облегчил мне задачу: в тот день мне ничего не нужно было разыгрывать.

— Отлично, — сказал он. — Я рад слышать это. А теперь скажи мне, куда ты спрятала деньги, и не дай Бог ты растратила хоть один-единственный цент!

— Они за дровяным сараем, — прохрипела я, хотя теперь мой голос звучал уже не сквозь слои грязи. Затем я сказала ему, что деньги положила в кувшин, а кувшин спрятала в зарослях ежевики.

— Как это похоже на женщин! — ухмыльнулся Джо и подтолкнул меня к дверям. — Идем. Разыщем их.

По ступеням веранды и вдоль стены дома я шла, сопровождаемая Джо шаг в шаг. К тому времени стало почти так же темно, как ночью, а когда мы подошли к сараю, я увидела нечто настолько странное и удивительное, что на несколько секунд даже позабыла обо всем на свете. Я остановилась и, указывая в небо над зарослями ежевики, воскликнула:

— Посмотри, Джо! Звезды!

И звезды действительно сияли в небе — я видела Большую Медведицу так же четко, как это бывало в безлунную зимнюю ночь. Мурашки побежали по всему моему телу, но на Джо это зрелище не произвело никакого впечатления. Он так сильно толкнул меня, что я чуть не упала.

— Звезды? — сказал он. — Ты увидишь их еще больше, если будешь водить меня за нос, — это я тебе обещаю.

Я снова двинулась вперед. Наши тени полностью исчезли, а большой белый камень, на котором сидели мы с Селеной уже почти год назад, был таким же ярким, как прожектор, как бывает в ночи полнолуния. Но свет не напоминал лунное сияние, Энди, — я не могу описать, на что это было похоже, какой он был рассеянный и подвижный, — но нужно попытаться сделать это. Я знала, что трудно судить о расстоянии между предметами в лунном свете, к тому же уже нельзя было выделить какие-то отдельные кусты ежевики — все они превратились в сплошное темное пятно, пронизанное порхающими светлячками.

Вера постоянно повторяла мне, насколько опасно смотреть на затмение; можно опалить сетчатку глаз или даже полностью ослепнуть. И все же я не могла удержаться, чтобы не посмотреть вверх, как и жена Лота не смогла удержаться от последнего взгляда на Содом. Увиденное навсегда запечатлелось в моей памяти. Неделями, иногда даже целыми месяцами я не вспоминала о Джо, но не проходило и дня, чтобы я не подумала о том, что увидела в тот день, взглянув через плечо в небо. Жена Лота превратилась в соляной столп, потому что не смогла обратить свой взор вперед и подумать о долге, и иногда я удивляюсь, как это мне удалось избежать подобной расплаты.

Затмение еще не было полным, но все шло к тому. Само небо было царственно лиловым, а в нем висел огромный черный зрачок, окруженный огненным сиянием. С одной стороны оставался тоненький серпик солнца, как оплавленное в печи золото. Я знала, что мне не следует смотреть туда, но взглянув, я поняла, что уже не смогу оторвать глаз. Это было похоже... вы можете смеяться, но я все равно скажу об этом. Это выглядело так, будто мой внутренний глаз освободился каким-то таинственным образом, и теперь это он парил в небе, наблюдая за тем, как и что я буду делать. Но он был намного больше, чем я могла себе представить! И намного чернее!

Возможно, я продолжала бы смотреть, пока окончательно не ослепла бы, но Джо еще раз так сильно толкнул меня, что я ударилась о стену сарая. Это привело меня в чувство, и я снова пошла вперед. Перед глазами у меня маячило огромное голубое пятно, как будто кто-то повесил передо мной светящийся шарик, и я подумала: «Если ты сожгла сетчатку и всю оставшуюся жизнь тебе придется смотреть на него, то это будет справедливо, Долорес, — это будет не более чем Каиновой печатью».

Мы прошли мимо белого камня. Джо шел позади меня, держась рукой за низ моего платья. Я чувствовала, как комбинация под платьем стягивается на один бок. Все вокруг с этим огромным голубым пятном посередине выглядело нереальным и хаотичным. Конец сарая был для меня всего лишь темным пятном.

Джо подтолкнул меня к зарослям ежевики, и когда первая колючка впилась в мое тело, я вспомнила, что забыла надеть джинсы. Это заставило меня подумать, что, может быть, я еще что-то забыла сделать, но, конечно, теперь менять что-либо было слишком поздно; я видела маленький кусочек ткани, трепещущий в последнем сиянии света, и у меня осталось совсем мало времени, чтобы вспомнить, как именно расположена крышка заброшенного колодца. Затем я вырвалась из рук Джо и ринулась в заросли ежевики, обступившие нас.

— Нет, ты не смеешь, сука! — заорал Джо, и я услышала, как затрещали кусты, когда он бросился за мной. Я почувствовала, как его рука коснулась края моего платья, он чуть не схватил его. Я побежала быстрее. Бежать было очень трудно, потому что подол платья постоянно цеплялся за колючки. Там и сям на кустах оставались длинные полоски ткани и кусочки содранной с моих ног кожи. Они кровоточили от колен до щиколоток, но я не обращала на это никакого внимания, пока не вернулась домой, а произошло это намного позже.

— Иди сюда! — вопил Джо, и в этот раз я ощутила его ладонь на своей руке. Я выдернула руку, но он ухватился за комбинацию, развевавшуюся позади меня подобно свадебной фате. Если бы ткань выдержала, то Джо выудил бы меня, как рыбку на удочке, но комбинация было очень старая и уставшая от частых стирок. Я почувствовала, как оторвался кусок материи, и услышала проклятия Джо. Я слышала, как трещат и хрустят кусты ежевики, но вряд ли хоть что-нибудь видела; как только мы оказались в зарослях, стало темно, как в угольной яме, и привязанный к ветке платок уже ничем не мог мне помочь. Вместо него я увидела край колодезной крышки — и только какое-то мутное светлое пятно чуть-чуть впереди меня — и тут я прыгнула изо всех сил. Я перемахнула через колодец, и, так как была спиной к Джо, я не видела, как он наступил на крышку. Раздался громкий хррр-уууст, а затем он взвыл...

Нет, это не точно.

Он не выл, мне кажется, вам это известно так же хорошо, как и мне. Он визжал как кролик, угодивший в капкан. Обернувшись, я увидела большую дыру посередине крышки. Из дыры выглядывала голова Джо, он из последних сил держался за трухлявые доски. Руки его кровоточили, тоненькая струйка крови стекала из уголка рта. Глаза размерами напоминали дверные ручки.

— О Господи, Долорес, — выдохнул он. — Это старый колодец. Помоги мне побыстрее выбраться отсюда, пока я не свалился на дно.

Но я стояла молча, и через несколько секунд выражение его глаз изменилось. Я увидела в них понимание всего происшедшего. Никогда в жизни я не была испугана больше, чем в тот момент, стоя вдалеке от колодца и глядя на него, а на западе над нами висело черное солнце. Я забыла надеть джинсы, и Джо упал вовсе не так, как это планировала я. Мне показалось, что все идет очень плохо, не так, как надо.

— О, — выдавил Джо. — Ах ты, сука. — Затем он начал хвататься за доски и выкарабкиваться.

Я сказала себе, что мне лучше уносить отсюда ноги, но я не могла сдвинуться с места. Куда же можно убежать, если он выберется? В тот день солнечного затмения я поняла одну вещь: если ты живешь на острове и пытаешься убить кого-либо, то лучше всего свою работу сделать хорошо. А если это не удастся, то бежать некуда и прятаться негде.

Я слышала, как его ногти царапали по старой доске, когда Джо пытался выбраться наружу, подтягиваясь на руках. Этот царапающий звук, как и то, что я увидела, оглянувшись через плечо на солнце, — они остались во мне слишком глубоко, чем я этого хотела бы. Иногда я даже слышу этот звук в своих снах; только во сне он выбирается наружу и приближается ко мне, но в действительности все произошло совсем не так. В реальности же доска, с помощью которой Джо пытался выбраться наружу, неожиданно сломалась под его тяжестью, и он провалился. Это произошло настолько быстро, что, казалось, его вообще никогда не было здесь; мгновенно все переменилось, и остался только перекошенный и выгнутый деревянный прямоугольник с зияющей черной дырой посередине и светлячками, летающими над ним.

Падая, Джо продолжал визжать. Его голос эхом отражался от стен колодца. Он что-то кричал, падая, но я не смогла разобрать, что именно. Затем раздался глухой удар, и он замолчал. Крик резко оборвался. Точно так же перестает светить лампа, если кто-то выдернет шнур из розетки.

Я встала на колени, припав к земле, и ждала возобновления крика. Прошло какое-то время — я не знаю, как долго все это длилось, — и последний отблеск света исчез. Затмение стало полным, темно было, как ночью. Из колодца не исходило ни единого звука, но оттуда на меня повеяло ветерком, и я поняла, что могу вдохнуть этот запах — вы же знаете запах воды из мелких колодцев? Запах железа, затхлый и не очень приятный. Я вдохнула его и поежилась.

Я заметила, что край моей комбинации свисает почти до левой туфли. Он был весь разодран и в колючках. Я просунула руку справа в ворот платья и оторвала бретельку комбинашки. Затем я стянула ее вниз через ноги. Свернув комбинацию в комок, я стала размышлять, как лучше обогнуть крышку колодца, и вдруг снова подумала о той девчушке, о которой я вам уже рассказывала, — я увидела ее четко и ясно. Она тоже стояла на коленях, заглядывая под кровать, и я подумала: «Она так несчастна, и она вдыхает тот же самый залах, так сильно напоминающий запах железа и устриц. Только он исходит не из колодца; он имеет какое-то отношение к ее отцу».

А затем, внезапно, мне показалось, что она оглянулась и посмотрела прямо на меня, Энди... мне кажется, она увидела меня. И когда она посмотрела, я поняла, почему она так несчастна: ее отец сделал с ней что-то, и теперь она пыталась замести следы. В довершение всего она сразу же поняла, что кто-то смотрит на нее, что женщина, находящаяся Бог весть как далеко от нее, но все же в зоне затмения, — женщина, только что убившая своего мужа, — тоже смотрит на нее.

Она заговорила со мной, но я не слышала ее голоса ушами; голос исходил из моей головы: «Кто ты?» — спрашивала она.

Я не знаю, ответила я ей или нет, но прежде я услышала продолжительный дрожащий крик из колодца:

«Доллл-лооо-рессс...»

Кровь застыла у меня в жилах, и я знаю, что сердце замерло у меня в груди, потому что, когда оно снова забилось, то сделало три или четыре удара подряд. Я сжимала комбинашку, но, услышав крик, разжала пальцы, и она выскользнула у меня из рук, зацепившись за кусты.

«Это просто твое воображение, Долорес, — сказала я самой себе. — Эта малышка, разыскивающая свою одежду под кроватью, и Джо, кричащий оттуда... ты вообразила себе все это. Одно из них — это галлюцинация, навеянная каким-то образом дуновением спертого воздуха из колодца, а второе — не что иное, как твое собственное осознание вины. Джо лежит на дне этого колодца с разможженной головой. Он мертв и теперь уже не будет досаждать ни тебе, ни детям».

Сначала я не поверила этому, но прошло еще какое-то время, и не раздавалось ни единого звука, кроме уханья совы, доносящегося откуда-то с поля. Помнится, я тогда еще подумала, что голос совы звучит так, будто она удивлена столь ранним наступлением своего часа. Легкий ветерок пробежал по кустам ежевики, заставляя трепетать ветви и листья. Я посмотрела вверх на сияющие в дневное время звезды, а потом — снова вниз на крышку колодца. Казалось, что она парила в темноте, а дыра посередине, пробитая телом Джо, показалась мне глазом. 20 июля 1963 года было днем, когда повсюду мне мерещились глаза.

И снова его голос донесся из колодца:

— Помоги мне, Дооо-ллло-рессс...

Застонав, я прикрыла лицо руками. Теперь не имело никакого смысла убеждать себя, что это всего лишь навсего мое воображение, или мое осознание вины, или еще что-то, — это был Джо. Мне показалось, что он плачет.

— Помоги-и-и-и мне-е-е-е-е-е по-о-о-о-жалуй-ста-а-а... ПОЖА-А-А-А-ЛУЙСТА-А-А... — кричал он.

Спотыкаясь, я обогнула колодец и побежала по дорожке, проложенной в зарослях. Я не паниковала — ни грамма, — и скажу вам, как я узнала об этом: я остановилась, чтобы подобрать коробочку с отражателем, которая была у меня в руках, когда мы направлялись к зарослям ежевики. Я не помню, чтобы роняла ее, когда побежала, но, увидев, я подобрала ее. Это было очень удачно, учитывая, как сложились потом обстоятельства с этим проклятым доктором Мак-Олифом... но до него еще не дошел черед. Я остановилась, чтобы подобрать ее, и уже одно это доказывает, что я полностью владела своим разумом и мыслями. Я чувствовала, как паника пытается проникнуть внутрь меня — точно так кот пытается запустить лапку под крышку коробки, унюхав, что там находится еда.

Я подумала о Селене, и это помогло мне справиться с паникой. Я представила Селену стоящей рядом с Таней и с еще сорока или пятьюдесятью другими детками на берегу озера Винтроп, у каждого в руках коробочка с отражателем, сделанным в мастерской лагеря, и девочки показывают друг другу, как именно нужно наблюдать затмение. Это было почти такое же четкое видение, как и то у колодца, когда я видела девчушку, разыскивающую под кроватью свои маечку и шорты, но я к тому же слышала, как Селена разговаривала с малышками своим мягким, нежным голоском, подбадривая тех, кто боялся. Я подумала о том, как мне вести себя с ней и с ее братьями, когда все они вернутся, — о том, что мне нужно остаться здесь... но если только я запаникую, то меня заберут. Я слишком далеко зашла и сделала слишком много, а рассчитывать мне, кроме как на себя, было не на кого.

Войдя в сарай, я разыскала большой фонарь Джо. Я включила его, но лампочка не загорелась; по-видимому, сели батарейки — это было так похоже на Джо. В нижнем ящичке его рабочего стола всегда лежали новые батарейки, потому что зимой у нас частенько отключали электричество. Я набрала полдюжины батареек и попыталась вставить их в фонарь. Но у меня так дрожали руки, что я выронила батарейки на пол, и мне пришлось шарить по полу в поисках их. Наконец-то я вставила батарейки, но в спешке, наверное, что-то перепутала, потому что фонарик не зажегся. Я было решила оставить его в покое, потому что уже совсем скоро снова появится солнце. Но на дне колодца даже после появления солнца все равно будет темно, и, кроме того, какой-то внутренний голосок нашептывал мне, чтобы я продолжала обманывать себя как можно дольше — что если я провожусь достаточно долго, то, выбравшись отсюда, возможно, найду Джо уже испустившим дух.

Наконец-то фонарь зажегся. Свет был ярким, и теперь я могла пройти сквозь заросли, не раздирая ноги в кровь. Я не имела ни малейшего представления, сколько прошло времени, но было еще темно, и звезды все так же сияли в небе, поэтому я поняла, что еще нет шести, а солнце все еще почти закрыто тенью.

Не пройдя и половины пути, я уже поняла, что Джо еще жив — я слышала его стоны и обращенные ко мне мольбы помочь ему выбраться. Не знаю, услышали бы их Айландеры, Лэнгиллы или Кэроны, будь они дома. Я решила, что лучше не думать об этом; у меня и без этого было слишком много проблем. Мне нужно было придумать, как поступить с Джо, это было очень важно, но ни одна мысль не приходила мне в голову. При каждой попытке найти ответ во мне начинал звучать этот голосок. «Это не честно, — настаивал голосок, — он должен быть мертв!»

— Помоги, Дооо-лоо-peccc! — взвивался голос Джо. Отдаваясь приглушенным эхом, он, казалось, доносился из могилы. Я зажгла фонарь и попыталась заглянуть внутрь, но не смогла. Пробоина в крышке колодца была почти по центру, и в свете фонаря я увидела только верх шахты — огромные гранитные глыбы, поросшие мхом. В потоке света мох казался черным и ядовитым. Джо увидел свет.

— Долорес? — вскрикнул он. — Ради всего святого, помоги мне! У меня сплошные переломы!

Теперь казалось, что это он разговаривает через слои грязи. Я не ответила Джо. У меня было такое чувство, что если я заговорю с ним, то сразу же сойду с ума. Вместо этого я отставила фонарь в сторону, наклонилась вперед, насколько это было возможно, и ухватилась за одну из досок, сквозь которые провалился Джо. Я потянула за нее, и она отломилась с легкостью сгнившего зуба.

— Долорес! — завопил Джо, услышав этот звук. — О Господи! Боже, будь милосерден!

Не отзываясь, я отломила еще одну доску, и еще одну, и еще одну. Снова стало светлеть, и снова запели птицы, как поют они летом, встречая восход солнца. Но небо все же было темнее, чем ему следовало бы быть в это время суток. Звезды потускнели, но светлячки еще продолжали летать. А я в это время продолжала срывать доски, приближаясь к тому краю, у которого я стояла на коленях.

— Долорес! — взвился вверх голос Джо. — Пусть деньги останутся у тебя! Все до цента! И я никогда снова не прикоснусь к Селене, клянусь всеми ангелами и Господом Богом! Пожалуйста, милая, только помоги мне выбраться из этой дыры!

Сорвав последнюю доску, я положила ее позади себя. А затем я посветила фонарем в колодец.

Первое, на что наткнулся лучик света, было обращенное вверх лицо Джо, и я вскрикнула. Это был маленький белый круг с двумя огромными черными дырами в нем. Я даже сначала подумала, что по какой-то причине он вставил камни в глазницы. А потом Джо моргнул, и это были всего лишь его глаза, взирающие на меня. Я представила, что они могут видеть — ничего, кроме темного очертания женской головы в круге яркого света, Джо стоял на коленях, весь его подбородок был в крови, кровь была также на шее и на рубашке. Когда он, открыв рот, выкрикнул мое имя, изо рта брызнула кровь. Падая, он, должно быть, переломал себе все ребра, и теперь они впивались в его легкие, как остроконечные пики.

Я не знала, что мне делать. Припав к земле, я чувствовала, как возвращается тепло летнего дня, я чувствовала его шеей, руками и ногами, тепло изливалось светом на Джо. Затем Джо приподнял руки и как-то странно помахал ими, будто тонул, и этого я уже не смогла выдержать. Отпрянув, я выключила фонарь. Я села на край колодца, скорчившись, обхватив руками расцарапанные в кровь ноги, дрожа всем телом.

— Пожалуйста! — выкрикнул он. — Пожалуйста! — И: — Пожалуйста!! — И наконец: — Пожа-луйста-а-а, До-х-лоо-ресссс!..

О, это было ужасно, ужаснее, чем можно себе представить. Так продолжалось очень долго. Так долго, что я подумала, как бы это не свело меня с ума. Затмение кончилось, птицы перестали распевать свои утренние песни, исчезли светлячки (а может быть, я просто не могла их больше видеть), в бухте перекликались гудками лодчонки, но Джо все еще не успокоился. Он просил и умолял; называл меня самыми ласковыми словами, сулил мне золотые горы, если я вытащу его из колодца, говорил, что изменится, что построит нам новый дом и купит мне «бьюик», ведь ему всегда казалось, что я хочу машину. Потом он стал проклинать меня, говорил, что привяжет меня к столбу и будет прижигать каленым железом, наблюдая, как я извиваюсь от боли, пока не убьет меня.

Раз даже он попросил меня опустить ему в колодец бутылку виски. Представляете? Ему нужна была бутылка, а меня он всячески проклинал и поносил, когда понял, что я вовсе не собираюсь помогать ему.

Наконец снова начало темнеть — темнеть по-настоящему — значит, уже было полдевятого, может быть, даже девять. С Ист-лейн доносился шум проезжавших машин, но вскоре все смолкло. Это было хорошо, но я знала, что не стоит испытывать судьбу слишком долго.

Немного позже, опустив голову на грудь, я задремала. Это продолжалось недолго, потому что, когда я очнулась, на горизонте все еще мерцал закат, но светлячки снова вернулись, выполняя свое обычное дело, и снова где-то далеко заухала сова. Теперь ее голос звучал более удовлетворенно.

Пошевелившись, я сжала губы, так как все мое тело пронзили тысячи иголочек: слишком долго я просидела в одной и той же позе на коленях. Из колодца ничего не доносилось, и я стала надеяться, что он наконец-то умер — ушел в мир иной, пока я дремала. Но затем вновь раздались какие-то приглушенные звуки и всхлипывания. Хуже всего было слышать, как он плачет от боли.

Оперевшись на левую руку, я зажгла фонарь и снова посветила в колодец. Чертовски трудно было заставить себя сделать это, особенно теперь, когда наступила кромешная тьма. Каким-то образом Джо удалось встать на ноги, и я увидела, как свет фонаря отразился от двух-трех лужиц рядом с его ботинками. Это напомнило мне, как я смотрела на солнце, отраженное в осколках разбитого стекла, когда Джо устал душить меня и я упала на пол веранды.

Глядя вниз, я наконец-то поняла, что произошло, — я поняла, как ему удалось при падении вниз на глубину тридцати-тридцати пяти футов не разбиться насмерть. Дело в том, что теперь колодец не был абсолютно сух. Но он не был и полон воды — если бы это было так, то Джо утонул бы в нем, как крыса в дождевой бочке, — но дно колодца было влажным и вязким. Это немного смягчило его падение, к тому же он был пьян и не почувствовал всей остроты боли.

Джо стоял, опустив голову, раскачиваясь из стороны в сторону, цепляясь за каменные выступы, чтобы не упасть. Затем, взглянув вверх, он увидел меня и осклабился. От его усмешки мурашки пробежали по всему моему телу, Энди, потому что это был оскал мертвого человека — мертвеца, истекающего кровью, мертвеца, чьи глаза напоминали вставленные камни.

Затем он начал карабкаться вверх по стене.

Я смотрела и не верила своим глазам. Цепляясь руками за выступы камней, он подтягивался вверх, пока не находил опоры для ног. Немного отдохнув, он снова тянулся рукой вверх. Рука была похожа на лапу жирного белого паука. Найдя удобный выступ, Джо вцепился в камень двумя руками. Затем он снова подтянулся вверх. Дав себе передышку, он поднял окровавленное лицо вверх, и в свете фонаря я увидела кусочки мха, приставшие к его щекам и плечам.

Он все еще усмехался...

Можно мне еще попить, Энди? Нет, не из твоей бутылочки — на сегодня хватит. Обыкновенной воды

Спасибо. Огромное спасибо.

Конечно, он намеревался перебраться еще выше, но его ноги вдруг соскользнули, и он рухнул вниз. Послышался хлюпающий звук, когда Джо приземлился на задницу. Он застонал и схватился за грудь, как делают герои телесериалов, когда хотят показать, что у них сердечный приступ, а затем голова его свесилась на грудь.

Больше я уже не могла вынести этого. Спотыкаясь и цепляясь за кусты ежевики, я кинулась в дом. Вбежав в ванную, я вывернула кишки. Затем я пошла в спальню и легла на кровать. Я вся дрожала, в голове у меня вертелась одна и та же мысль: «Что, если он все еще жив? Что, если он не умрет и ночью? Что, если он будет жить еще несколько дней, утоляя жажду сочащейся сквозь камни влагой? Что, если он будет кричать, пока Кэроны, Лэнгидлы или Айландеры не услышат его и не позовут Гаррета Тибодо? А вдруг завтра кто-то заглянет к нам — например, один из его собутыльников, или его позовут починить мотор, или еще что-нибудь — и услышит крики, доносящиеся из зарослей ежевики? Что тогда, Долорес?

Но какой-то другой голос отвечал на все эти вопросы. Наверное, он принадлежал моему внутреннему глазу, но больше всего он соответствовал Вере Донован, а не Долорес Клейборн; он звучал сухо, четко, поцелуй-меня-в-задницу-если-тебе-не-нравится-это. «Конечно же, он мертв, — говорил этот голос, — а если даже и не мертв, то скоро умрет. Он умрет от шока, холода и травмы легких. Возможно, найдутся люди, которые не поверят, что можно замерзнуть насмерть в июльскую ночь, но они наверняка не проводили несколько часов в тридцати футах под землей, сидя на влажных камнях. Я знаю, что все это крайне неприятно, Долорес, но это по крайней мере избавляет тебя от беспокойства. Поспи хоть немного, а когда ты снова вернешься туда, то сама это увидишь».

Я не знала, есть ли правда в этих словах, но мне казалось, что есть, и я попыталась заснуть. Но не смогла. Каждый раз, когда я задремывала, мне казалось, что Джо подкрадывается к двери черного хода, и при каждом скрипе в доме я вскакивала.

Потом это стало просто нестерпимым. Сняв платье, я надела джинсы и свитер (закрыла дверь сарая на замок, когда лошадей уже украли, можете вы подумать), вытащила фонарь из-за шкафа в ванной, где оставила его, когда меня рвало. Затем я снова пошла к колодцу.

Темно было как никогда. Я не помню, светила ли в ту ночь луна или нет, но это было и не важно, потому что все небо снова было окутано тяжелыми тучами. Чем ближе подходила я к ежевичным кустам позади дровяного сарая, тем сильнее ноги мои наливались свинцом. Казалось, я вообще не смогу оторвать их от земли, когда в свете фонаря я различила крышку колодца.

Но я смогла — я заставила себя подойти к колодцу вплотную. Минут пять я прислушивалась, но доносилось только пиликанье сверчков, да ветер играл в зарослях ежевики, да где-то далеко-далеко ухала сова... может быть. та же самая. И откуда-то с востока доносился шум волн, разбивающихся об утесы, но все эти звуки были настолько привычными, что вряд ли они вообще воспринимаются слухом. Я стояла, зажав в руке фонарь Джо и направив поток света на дыру в крышке, чувствуя, как грязный, едкий пот стекает по моему телу, и я приказала себе опуститься на колени и заглянуть в колодец. Ведь именно для этого я и пришла сюда.

Да, для этого, но именно этого я и не смогла сделать. Я вся дрожала, глухой стон вырвался у меня из груди. Сердце мое трепыхалось, как птичка с перебитыми крыльями.

А затем белая рука, облепленная кровью, грязью и мхом, высунулась из колодца и ухватилась за мою лодыжку.

Я выронила фонарь. Он упал в кусты рядом с краем колодца, это было просто удачей для меня; если бы он упал в колодец, я бы не позавидовала себе. Но тогда я не думала ни о фонаре, ни об удаче, потому что тогда я была в еще более незавидном положении и могла думать только о руке на щиколотке, руке, тянущей меня к провалу. Об этом и о строке из Библии. Она звенела у меня в голове, как огромный железный колокол: «Я вырыл колодец для врагов своих, но сам упал в него».

Вскрикнув, я попыталась отскочить, но Джо так крепко держал меня, что, казалось, его рука сцементирована с моей ногой. Мои глаза уже привыкли к темноте, так что теперь я отчетливо видела его, несмотря на то, что фонарь светил совсем в другую сторону. Джо почти удалось выбраться из колодца. Одному Богу известно, сколько раз он срывался вниз, но в конце концов он добрался почти до самого верха. Наверное, он выбрался бы, если бы я не подоспела.

Голова его была всего в двух футах ниже того, что осталось от крышки колодца. Он все еще усмехался. Нижняя челюсть его немного выпирала изо рта — я до сих пор вижу это так же четко, как и то, что ты сидишь сейчас напротив меня, Энди — и это напоминало зубы лошади, когда та ржет. Зубы Джо были черными от крови.

— До-х-лооо-ресссс, — выдохнул Джо, продолжая тянуть меня. Вскрикнув, я упала на спину, продолжая скользить к этой проклятой дыре. Я слышала, как хрустели и потрескивали веточки кустов под тяжестью моего тела. — До-х-лооо-рессс, ты сука, — сказал он, но к тому времени это уже казалось мне песней. Я, помню, подумала: «Скоро он запоет «Коктейль из лунного света».

Ухватившись за кусты и ободрав в кровь ладони об колючки, я попыталась двинуть Джо свободной ногой по голове, но она была слишком низко; так что я пару раз проехалась подошвой по его волосам и только-то.

— Давай, До-х-лооо-рессс, — произнес он, как будто хотел угостить меня мороженым или пригласить на вечеринку с танцами.

Я зацепилась ягодицами за одну из досок, все еще остававшихся на этой стороне колодца, и поняла, что если не предприму что-либо прямо сейчас, то мы оба свалимся вниз и там и останемся, сцепившись в мертвой хватке. А когда нас обнаружат, то найдутся люди — в основном такие же дурочки, как Иветт Андерсон, — которые скажут, что вот оно доказательство того, насколько сильно мы любили друг друга.

И это подействовало. Откуда-то вдруг появились силы, и я рванулась назад. Джо почти удалось удержаться, но потом его рука соскользнула с моей щиколотки. Наверное, я ударила его башмаком по лицу. Он вскрикнул, рука его несколько раз судорожно проехала по моей ступне, а потом все кончилось. Я ожидала услышать звук падения его тела, но он не упал. Этот сукин сын никогда не уступал; если бы он жил так же, как и умирал, я не знаю, были бы между нами вообще какие-нибудь разногласия.

Я встала на колени и увидела его раскачивающимся над шахтой колодца... но все же он как-то держался. Джо взглянул на меня, сдул окровавленный клок волос с глаз и оскалился. Затем его рука снова высунулась из колодца и вцепилась в землю.

— Дол-ООХ-ресс! — как-то по-особенному прохрипел Джо. — Дол-ООХ-ресс, Дол-ОООООХ-ресс, Дол-ОООООООХХХ-рессс! — И затем он начал выкарабкиваться.

«Размозжи ему голову, ты, дурочка», — сказала тогда Вера Донован. Но этот голос прозвучал не в моей голове, как тогда, когда говорила та малышка, которая мне привиделась раньше. Понимаете, о чем я говорю? Я услышала голос Веры так же, как вы трое сейчас слышите меня, и если захотите, то сможете услышать мой голос, записанный на магнитофоне Нэнси Бэннистер, снова и снова. Я знаю это так же хорошо, как свое имя.

Так или иначе, но я ухватилась за камень, лежащий на земле рядом с краем колодца. Джо попытался вцепиться мне в запястье, но мне удалось вытащить камень из земли раньше, чем Джо ухватился за меня. Это был большой камень, покрытый засохшим мхом. Я занесла его над головой Джо. Теперь его голова уже торчала над колодцем. И на эту голову я обрушила камень. Я услышала, как щелкнула его нижняя челюсть. Как будто фарфоровая тарелка разбилась о цементный пол. А затем он исчез, падая обратно в глубь колодца, и камень последовал за ним.

И тут я потеряла сознание. Я не помню этого, вспоминаю только, как лежала на спине и смотрела в небо. Но смотреть там было не на что, все было затянуто низкими тучами, поэтому я закрыла глаза... и только когда я открыла их, на небе снова сияли звезды. Я сразу поняла, что была без сознания, а ветер разогнал тучи, пока я приходила в себя.

Фонарь все еще лежал у ежевичного куста рядом с колодцем и все так же ярко и исправно излучал свет. Подняв его, я посветила в глубь колодца. Джо лежал на дне, голова склонилась к плечу, руки покоились на коленях, ноги были раскинуты в стороны. Камень, которым я ударила Джо, лежал между его ног.

Еще минут пять я смотрела на него, ожидая, что он вот-вот пошевелится, но он так и не зашевелился. Я поднялась и медленно побрела к дому. Несколько раз я останавливалась, так как земля уплывала у меня из-под ног, и наконец-то я добралась до крыльца. Я направилась в спальню, снимая на ходу одежду и оставляя ее там, где она падала. Я открыла душ и стояла под горячими, обжигающими струями воды минут десять, не терла тело мочалкой, не мыла голову, ничего не делала, а просто стояла, подняв лицо вверх, подставляя его жгучим потокам воды. Наверное, я так бы и заснула прямо под душем, если бы вода вдруг не стала прохладнее. Я быстренько вымыла голову, пока вода не стала совсем ледяной, и вышла. Руки и ноги были расцарапаны, и горло чертовски болело, но не думаю, что я могла бы умереть от этого. Мне даже не приходило в голову, какие выводы может кто-нибудь сделать, увидев у меня царапины и синяки на шее, когда обнаружат Джо на дне колодца. По крайней мере, еще не тогда.

Натянув ночную рубашку, я рухнула на кровать и мгновенно заснула, даже не выключив свет. Где-то через час я с криком проснулась от ощущения, что Джо хватается за мою щиколотку. На секунду я вздохнула с облегчением, поняв, что это всего лишь сон, но потом подумала: «А что если он снова карабкается по стене колодца?» Я знала, что этого не может быть — я покончила с ним, ударив его камнем по голове, — но часть меня все же была уверена в том, что через пару минут он будет опять здесь. Как только он выберется, то сразу же придет ко мне.

Я попыталась заставить себя полежать и выждать, но не смогла — видение того, как он карабкается вверх по стене колодца, становилось все ярче и ярче, сердце мое билось с такой силой, что, казалось, вот-вот разорвется. Наконец я надела туфли, снова схватила фонарь и кинулась к колодцу. В этот раз я подползла к его краю — ничто на свете не могло меня заставить подойти. Я очень боялась, что белая рука Джо змеей вынырнет из темноты и вцепится в меня

Я посветила в глубь. Джо лежал в такой же позе, как и раньше, сложив руки на коленях и свесив голову на бок. Камень также лежал на прежнем месте, между его раскинутыми ногами. Я очень долго смотрела на Джо и, когда вернулась домой на этот раз, начала понимать, что он действительно мертв.

Забравшись на кровать, я выключила лампу и очень быстро заснула. Последняя запомнившаяся мне мысль была: «Теперь со мной все будет хорошо». Но это было не так. Пару часов спустя я проснулась от ощущения, что кто-то ходит по кухне. Конечно же, я услышала шаги Джо. Пытаясь вскочить с кровати, я запуталась в простынях и упала на пол. Наконец я поднялась и стала шарить рукой по стене в поисках выключателя, опасаясь, что прежде чем найду его, почувствую руку Джо у себя на горле.

Конечно, этого не случилось. Включив свет, я обошла весь дом. Он был пуст. Затем, схватив фонарь, я снова побежала к колодцу.

Джо все еще лежал на дне, опустив руки на колени, а голову — на плечо. Мне долго пришлось смотреть на него, прежде чем я смогла убедить себя, что он лежит в той же самой позе. Один раз мне даже показалось, что он пошевелил ногой, однако, скорее всего, это было просто движение теней. А их было очень много, потому что рука, державшая фонарь, вовсе не была устойчивой, должна я вам сказать.

Пока я припадала к земле, напоминая леди с этикеток «Белая скала», ко мне подкралась самая смешная опасность — я чувствовала, что позволяю себе слишком наклоняться вперед, рискуя сорваться в колодец. Они найдут меня рядом с ним — не слишком-то заманчивая перспектива, смею заметить, — но, по крайней мере, его руки не будут обхватывать меня... и я уже не буду просыпаться от мысли, что Джо находится в одной комнате со мной или от того, что мне нужно снова бежать к колодцу проверить, так же ли он мертв.

Затем снова заговорила Вера, только на этот раз уже у меня в голове. Я знаю это так же хорошо, как и то, что в первый раз услышала ее голос ушами. «Единственное место, куда тебе нужно упасть, — это твоя кровать, — сказал мне этот голос, — Тебе нужно поспать, а когда ты проснешься, вот тогда затмение закончится по-настоящему. Ты просто удивишься, насколько по-другому все будет выглядеть при солнечном свете».

Это показалось мне разумным советом, и я решила последовать ему. Однако предварительно я закрыла входные двери, и, прежде чем действительно лечь в кровать, я сделала то, чего не делала ни до, ни после этого: я просунула ножку стула в ручку двери. Мне стыдно признаться в этом — у меня так горят щеки, наверное, я вся пылаю, — но это, должно быть, помогло, потому что я заснула, как только голова моя коснулась подушки. Когда я снова открыла глаза, дневной свет струился сквозь окно. Вера сказала мне, что я могу взять выходной, — она сказала, что Джейл Лавески и еще несколько девушек и сами смогут привести дом в порядок после вечеринки, запланированной ею на двадцатое, — и я была этому даже рада.

Я поднялась и приняла душ, потом оделась. На это у меня ушло полчаса, потому что все тело ломило. В основном у меня болела спина; это было моим слабым местом, после того как Джо ударил меня скалкой. Я уверена, что снова надорвала ее, сперва выдирая камень из земли, а потом когда с размаху ударила им Джо по голове. Что бы там ни было, спина болела адски, должна я вам сказать.

Я уселась за кухонный стол, залитый ярким солнечным светом, и выпила чашечку крепкого черного кофе, обдумывая, что я должна сделать теперь. Хотя сделать я могла не так уж и много, даже несмотря на то, что все произошло не так, как я планировала раньше, но сделать все нужно было правильно; если я забуду что-то или прогляжу, то сразу же попаду в тюрьму. Джо Сент-Джорджа не слишком-то любили на Литл-Толл, и не многие стали бы обвинять меня в том, что я сделала, но все равно они не погладили бы меня по голове и не наградили бы орденом за убийство мужа, даже если он и был ничего не стоящим куском дерьма.

Я налила себе еще чашечку кофе и вышла на террасу, чтобы выпить ее... и оглядеться вокруг. Обе коробочки с отражателями и одно затемненное стекло снова лежали в сумочке, которую Вера дала мне. Кусочки второго стекла лежали там же, где они и были, когда Джо неожиданно вскочил, и оно соскользнуло с его колен и разбилось на множество осколков. Я немного поразмышляла об этих кусочках стекла. Затем я вошла в дом, взяла щетку и совок и тщательно собрала их. Я решила, что при моей любви к порядку, тем более многие на острове знают, какая я, было бы более подозрительно, если бы я оставила их неубранными.

Сначала я решила говорить, что вообще не видела Джо в тот день. Я собиралась сказать людям, что он уже ушел, когда я вернулась домой от Веры, и даже не оставил мне записки, куда это его понесло, и я от злости на него вылила на землю бутылку дорогого шотландского виски. Если тесты покажут, что он был пьян, когда упал в колодец, мне это вовсе не помешает; Джо мог напиться где угодно, даже под нашей собственной кухонной раковиной.

Один-единственный взгляд в зеркало убедил меня отказаться от подобной версии — если это не Джо заявился домой, чтобы оставить синяки на моей шее, тогда они захотят узнать, кто же так разукрасил меня, и что я тогда скажу? Санта-Клаус? К счастью, я подготовила себе пути к отступлению — я сказала Вере, что если Джо будет вести себя как варвар, то я оставлю его вариться в собственном соку, а сама буду наблюдать за затмением в Ист-Хед. Когда я говорила это, у меня и в мыслях не было ничего подобного, но теперь я благодарила Бога за это.

Сам по себе Ист-Хед не подходит — там было много людей, и они знали, что меня не было с ними, — но с Русского Луга по дороге к Ист-Хед открывался отличный вид, к тому же там никого не было. Я видела это собственными глазами, когда сидела на веранде и когда мыла тарелки.

Оставался один существенный вопрос.

Что, Фрэнк?

Нет, я нисколько не беспокоилась, что его грузовичок оставался дома. В 1959 году он три или четыре раза подряд нарушал правила дорожного движения, а потом его лишили водительских прав на месяц. Эдгар Шеррик, который в те годы был у нас констеблем, сказал ему, что Джо может пить сколько влезет, если ему этого так уж хочется, но если он поймает его пьяным за рулем, то тогда он, Эдгар, вызовет Джо в окружной суд и сделает все, чтобы его лишили прав на вождение автомобиля на целый год. Эдгар и его жена потеряли дочь в автомобильной катастрофе по вине пьяного водителя в 1948-м или 1949 году, и хотя он на многое закрывал глаза, но пьяным за рулем спуску не давал. Джо прекрасно знал об этом и не садился за руль, если выпивал больше двух рюмок подряд, после того разговора с Эдгаром на пороге нашего дома. Нет, когда я вернулась с Русского Луга и увидела, что Джо нет дома, то подумала, что за ним зашел кто-то из его дружков и забрал его отмечать где-нибудь День Солнечного Затмения.

Так вот, я начала говорить, что оставался еще один очень важный вопрос насчет бутылки из-под виски. Люди знали, что в последнее время я покупаю выпивку для Джо, так что с этим все было в порядке; я знаю, они думали, что я делаю это, чтобы он не избивал меня. Но сколько же должно было остаться виски в бутылке, если бы придуманная мною история происходила на самом деле? Это могло и не иметь значения, но могло и иметь. Когда совершается убийство, никогда не знаешь, как оно все обернется впоследствии. Это самая веская из известных мне причин, почему не следует, делать этого Я поставила себя на место Джо — это было не так уж и трудно, как вам это может показаться, — и сразу же поняла, что Джо никуда и ни с кем не пошел бы, если бы в бутылке оставалось так много виски. Оно должно отправиться в колодец вслед за ним, туда оно и последовало... все, кроме пробки. Ее я выкинула в кучу мусора, поверх осколков тонированного стекла.

Я шла к колодцу, неся в руке бутылку с остатками виски, и думала: «Ну что ж, он набрался спиртного, и это правильно, я и не ожидала от него ничего другого, но потом он перепутал мою шею с ручкой насоса, а это уже было неправильно, поэтому я взяла коробочку с отражателем и ушла на Русский Луг, проклиная себя за то, что купила ему эту бутылку виски. Когда я вернулась, он уже ушел. Я не знала, куда и с кем, да меня это и не интересовало. Я просто прибрала оставленный им кавардак и надеялась, что он будет в более хорошем настроении, когда вернется домой». Мне это показалось достаточно правдоподобным, и я решила, что это сработает.

Единственное, что мне не нравилось в этой бутылке, так это то, что отделаться от нее значило снова идти к колодцу и снова смотреть на Джо. Но, нравилось мне это или нет, другого выхода у меня не было

Я беспокоилась, как выглядят заросли ежевики, но они не были сильно примяты и поломаны, чего я опасалась, а некоторые из них даже снова распрямились. Я поняла, что они будут выглядеть как обычно к тому времени, когда я сообщу об исчезновении Джо.

Я надеялась, что в солнечном свете колодец не будет выглядеть столь пугающе, но он все так же пугал и страшил. Дыра посередине крышки зияла даже более устрашающе. Теперь она уже не напоминала глаз, но даже это не меняло ощущения ужаса. Вместо глаза она напоминала глазницу, в которой что-то совершенно сгнило и исчезло напрочь. И до меня снова донесся тот затхлый запах меди. И это снова навеяло на меня воспоминания о привидевшейся мне маленькой девчушке, и я подумала, как там она поживает в это утро.

Мне очень хотелось повернуть назад, к дому, но я все-таки подошла прямо к колодцу. Я хотела перейти к следующей части как можно скорее... и уже не оглядываться назад. С этого момента, Энди, я должна была думать только о детях и готова была к тому, чтобы встретить все, что бы ни случилось.

Нагнувшись, я посмотрела вниз. Джо все так же лежал на дне, опустив руки на колени и свесив голову на плечо. По его лицу сновали какие-то жучки-паучки, и теперь-то уж я наверняка знала, что он мертв. Я опустила в колодец руку с бутылкой, обернутой платочком вокруг горлышка, — дело было вовсе не в отпечатках, я просто не хотела прикасаться к ней, — и выпустила ее. Бутылка приземлилась рядом с ним, но не разбилась. Однако жучки разбежались; они сбегали по его шее, забираясь под ворот его рубашки. Я никогда не забуду этого.

Я уже собралась было уходить, когда мой взгляд остановился на досках, сваленных мною в кучу, когда я хотела взглянуть на Джо в тот первый раз. Не стоило оставлять их так; могут возникнуть ненужные вопросы.

Я задумалась, но потом, сообразив, что утро уже проходит и в любое время кто-нибудь может заскочить ко мне поболтать о солнечном затмении или об устроенном Верой шоу, послала все к черту и сбросила доски в колодец. Затем я пошла домой. Я действительно обрабатывала свой путь, потому что на кустах висели клочки моего платья и комбинации, и я снимала их настолько тщательно, насколько это было возможно. Позже в тот же день я вернулась и нашла еще три или четыре пропущенных мною клочка. Там было еще несколько пушинок, оставленных фланелевой рубашкой Джо, но их я оставила. «Пусть Гаррет Тибодо почерпнет из них все, что сможет, — подумала я, — Пусть любой делает какие угодно выводы. Все будет выглядеть так, будто Джо напился до беспамятства и упал в колодец, а с его репутацией все, что бы они ни решили, пойдет мне только на пользу».

Однако я не выбросила эти клочки в мусорное ведро рядом с осколками и пробкой от бутылки: позднее я выкинула их в океан. Я уже пересекла двор и собиралась подняться по ступеням террасы, когда вдруг как гром среди ясного неба одна мысль поразила меня. Джо схватил кусок кружева, оторвавшегося от моей комбинации, — что если он до сих пор сжимает его? Что если и сейчас он зажат в его руке, лежащей на колене?

Я вся похолодела... Я стояла во дворе под жаркими лучами июльского солнца, пронизываемая ознобом до костей. Затем внутри меня снова заговорила Вера. «Так как ты ничего не можешь поделать с этим, Долорес, — сказала она, — я советовала бы тебе не обращать на это внимания». Совет показался мне разумным, поэтому я поднялась на террасу и вошла в дом.

Большую часть утра я провела, расхаживая вокруг дома и по террасе, разыскивая... ну, я не знаю что. Я не знаю, что именно я искала. Может быть, я надеялась, что мой внутренний глаз наткнется еще на что-то, что нужно сделать или о чем нужно позаботиться, как, например, это случилось с досками, разбросанными вокруг колодца. Несмотря на всю мою тщательность, я ничего не заметила.

Около одиннадцати я предприняла следующий шаг, позвонив Джейл Лавески в Пайнвуд. Я спросила ее мнение о затмении и так далее и полюбопытствовала, как идут дела у Ее Милости.

— Хорошо, — ответила Джейл, — не могу ни на что пожаловаться с тех пор, как здесь остался один-единственный лысый старикашка с торчащими щеточкой усами — знаешь, кого я имею в виду?

Я сказала, что знаю.

— Он спустился вниз в девять тридцать и медленно вышел в сад, как-то странно держа голову, но он, по крайней мере, встал, чего нельзя сказать об остальных. Когда Карин Айландер спросила, не желает ли он стаканчик прохладного лимонада, он успел добежать только до угла веранды, и его вырвало на кусты петуньи. Ты бы слышала это, Долорес, — Блеееее — ахххх!

Я смеялась до слез.

— Наверное, у них был очень веселенький вечерок, когда они вернулись с парома, — заметила Джейл. — Если бы мне давали пять центов за каждый сигаретный бычок, я бы разбогатела, — всего пять центов, представляешь? — я бы смогла купить себе новый «шевроле». Но когда миссис Донован спустится вниз, все здесь будет сиять чистотой и порядком, можешь не беспокоиться об этом.

— Я знаю, — ответила я, — но если тебе понадобится помощь, то ты знаешь кому звонить, ведь так?

Джейл рассмеялась.

— Даже не рассчитывай, — сказала она. — Ты и так истерла здесь пальцы до костей за последнюю неделю — и миссис Донован это так же отлично известно, как и мне. Она не желает видеть тебя до завтрашнего утра, так же как и я.

— Хорошо, — согласилась я и замолчала. Джейл ждала, что я попрощаюсь с ней, а когда вместо этого я сказала нечто другое, эти слова особенно запомнились ей... именно этого я и добивалась. — Ты не видела там Джо? — спросила я.

— Джо? — удивилась она. — Твоего Джо?

— Ага.

— Нет — я никогда не видела здесь Джо. А почему ты спрашиваешь?

— Он не пришел ночевать домой.

— О Долорес! — ужаснувшись и удивившись, вскрикнула Джейл. — Запил?

— Конечно, — подтвердила я. — Не то чтобы я действительно беспокоюсь — это не первый раз, когда он не ночует дома, воя на луну. Ничего с ним не случится, но...

Затем я повесила трубку, довольная, что сделала все просто отлично, посеяв первые семена.

Я приготовила себе на завтрак тост с сыром, но не смогла съесть его. Запах сыра и поджаренного хлеба плохо подействовал на меня. Вместо этого я приняла две таблетки аспирина и прилегла. Я не думала, что смогу заснуть, но уснула. Когда я проснулась, было уже часа четыре, пора было разбросать еще немного семян. Я позвонила приятелям Джо — тем, у кого был телефон, — и каждого спросила, не видели ли они его Он не ночевал дома и не вернулся до сих пор, и я начинаю волноваться. Конечно, все они ответили, что не видели его, но все хотели знать подробности. Единственный, кому я хоть что-то рассказала, был Томми Андерсон — возможно, потому что я знала, как Джо хвастался перед ним своим умением держать женщину в узде, и доверчивый простачок Томми проглотил эту сказку. Но даже с ним я была осторожна и старалась не переборщить; я просто сказала, что мы поругались с Джо, и Джо как с ума сошел. Я сделала еще несколько звонков в тот вечер, даже тем людям, которым уже звонила, и обрадовалась, выяснив, что слушок уже начал распространяться.

Этой ночью я спала очень плохо, мне снились ужасные сны. Во-первых, мне снился Джо. Он стоял на дне колодца, глядя на меня снизу вверх, лицо у него было мертвенно-белым, а вместо глаз у него, казалось, были вставлены куски угля. Он сказал, что ему очень одиноко, и стал умолять меня спрыгнуть вниз и составить ему компанию.

Второй сон был еще страшнее, потому что он касался Селены. Ей было годика четыре, на ней было надето розовое платьишко, которое подарила ей бабушка Триша незадолго до своей смерти. Селена подошла ко мне, и я увидела портновские ножницы в ее руках. Я попыталась забрать их у нее, но Селена только отрицательно покачала головой. «Это моя вина, я и должна платить за все», — сказала она. Затем она подняла ножницы вверх и отрезала себе нос — клац. Кончик носа упал в грязь между ее маленькими черными туфельками из искусственной кожи, и я проснулась от собственного крика. Было всего четыре часа утра, но я не могла больше спать сегодня и отлично знала это.

В семь утра я снова позвонила Вере. На этот раз ответил Кенопенски. Я сказала ему, что Вера ждет моего прихода сегодня утром, но я не смогу прийти, по крайней мере до тех пор, пока не выясню, где находится мой муж. Я сказала, что его нет дома уже две ночи, а раньше он никогда не загуливал больше чем на одну ночь,

В конце нашего разговора с Кенопенски Вера сама взяла трубку параллельного телефона и спросила меня, что случилось.

— Кажется, я потеряла своего мужа, — ответила я. Несколько секунд Вера молчала, и я никак не могла догадаться, о чем именно она думает. А затем она сказала, что если бы была на моем месте, то потеря Джо Сент-Джорджа совсем не огорчила бы ее.

— Видите ли, — проговорила я, — у нас трое детей, и я как-то уже привыкла к нему. Я приду чуть позже, если он объявится.

— Хорошо, — ответила она, а потом добавила: — Ты все еще у телефона, Тед?

— Да, Вера, — ответил Кенопенски.

— Тогда иди сделай какую-нибудь мужскую работу, — сказала она. — Передвинь что-нибудь или разбей. Неважно, что именно.

— Да, Вера, — повторил он. Послышался щелчок положенной на рычаг трубки.

Вера помолчала еще несколько секунд, а затем произнесла:

— Наверное, с ним произошел несчастный случай, Долорес.

— Да, — сказала я, — это бы меня нисколько не удивило. Последние несколько недель Джо очень сильно пил, а когда я попыталась поговорить с ним о деньгах наших детей, он чуть не вытряс из меня душу.

— О, неужели? — спросила Вера. Прошла еще пара секунд, и она добавила: — Желаю удачи, Долорес.

— Благодарю, — ответила я. — Она может мне очень пригодиться.

— Если я смогу чем-нибудь помочь, дай мне знать.

— Это очень любезно с вашей стороны, — сказала я.

— Вовсе нет, — возразила Вера. — Просто мне бы не хотелось потерять тебя. В наши дни так трудно найти прислугу, которая не заметает сор под ковер.

«Как и служанку, которая помнит, какой именно стороной нужно располагать коврики у входной двери», — подумала я, но не сказала. Я поблагодарила ее и повесила трубку.

Выждав еще полчаса, я позвонила Гаррету Тибодо. Не было более чудаковатого человека на Литл-Толле в те дни, чем наш констебль Гаррет. Он принял эту должность в 1960 году, когда с Эдгаром Шерриком случился сердечный удар.

Я сказала ему, что Джо не появлялся дома последние две ночи, и я начинаю беспокоиться. Голос Гаррета звучал сонно — не думаю, что он давно встал, — но он сказал, что свяжется с полицией штата на материке и порасспрашивает людей здесь, на острове. Я знала, что это будут те же самые люди, которым я уже звонила — некоторым даже дважды, — но ему я этого не сказала. В конце разговора Гаррет высказал уверенность, что я увижу Джо еще до ленча. «Как бы не так, старый пердун, — подумала я, вешая трубку телефона, — когда рак свистнет». Я знаю, что у мужчин действительно достаточно мозгов, чтобы, опорожняясь, насвистывать веселенький мотивчик песенки, но я сильно сомневаюсь, чтобы они могли запомнить все ее слова.

Прошла целая томительная неделя, пока они нашли его; я чуть не сошла с ума. В среду вернулась Селена. Я позвонила ей вечером во вторник и сообщила, что пропал ее отец, и, кажется, это серьезно. Я спросила, не хочет ли она вернуться домой, и она согласилась. Мелисса Кэрон — мама Тани — поехала и забрала ее. Мальчиков я оставила там, где они и находились, — для начала было достаточно и Селены. Она отыскала меня в среду на огороде, за два дня до того, как они нашли Джо, и попросила:

— Мама, скажи мне кое-что.

— Хорошо, дорогая, — согласилась я. Мне казалось, что я говорю спокойно, но я догадывалась, о чем она спросит, — знала почти наверняка.

— Ты что-нибудь сделала с ним? — спросила она.

И мгновенно я вспомнила свой сон — четырехлетняя Селена в нарядном розовом платьице, поднимающая ножницы вверх и отрезающая себе кончик носа. — И я подумала — взмолилась: «Господи, помоги мне солгать своей дочери Пожалуйста, Господи. Я никогда и ни о чем не попрошу Тебя больше, если Ты просто поможешь мне солгать моей дочери так, чтобы она поверила и никогда больше не сомневалась».

— Нет, — ответила я. На мне были садовые перчатки, и я сняла их, чтобы положить руки ей на плечи. Я посмотрела ей прямо в глаза. — Нет, Селена, — сказала я. — Он был отвратительно пьян и чуть не задушил меня, оставив синяки на моей шее, но я ничего с ним не сделала. Единственное, что я сделала, — я ушла, ушла, потому что боялась оставаться. Ты ведь можешь это понять? Тебе ведь известно чувство страха перед ним, разве не так?

Она кивнула, но продолжала внимательно следить за мной. Глаза у нее были синие-синие, темнее, чем когда-либо, — цвета океана перед началом шторма. Своим внутренним глазом я увидела сверкавшую сталь ножниц и то, как падает в пыль маленькая пуговка ее носа. И я скажу, о чем я подумала, — я подумала, что Господь исполнил половину моей молитвы. Именно так Он и отвечает верующим. Вся та ложь, которую я рассказывала о Джо позже, не звучала более правдоподобно, чем в тот жаркий июльский день среди бобов и корнишонов... но поверила ли она мне?

Поверила и никогда не сомневалась? Как бы страстно я ни желала получить положительный ответ, я не могла утверждать это. Именно от сомнений ее глаза стали темнее, чем обычно.

— Самый большой мой грех в том, — добавила я, — что я купила ему бутылку виски — пытаясь умаслить его, — но мне следовало бы знать его лучше.

Она еще с минуту смотрела на меня, затем нагнулась и подняла с земли корзинку с огурцами, которые я собрала.

— Хорошо, — произнесла она. — Я отнесу это в дом.

И все. Мы никогда больше не говорили об этом — ни до того, как они нашли его, ни после. Наверное, до нее доходили сплетни насчет меня как на острове, так и в школе, но мы никогда больше не говорили об этом. Именно в тот день в саду между нами возникло отчуждение. Тогда в семейной стене появилась трещина, и между нами встал целый мир. С тех пор трещина становится все шире и шире. Селена регулярно звонит и пишет мне, в этом она образцовая дочь, но все равно мы далеки друг от друга. Мы как чужие. Я сделала это в основном из-за Селены, а не из-за мальчиков или денег, которые их папочка пытался украсть у них. В основном из-за Селены я подтолкнула его к смерти, и то, что я пыталась защитить ее от него, стоило мне самого сокровенного в ее любви. Однажды я услышала, как мой собственный отец сказал, что Господь Бог выкинул презабавную шутку, когда создавал мир, и годы спустя до меня начал доходить истинный смысл его слов. И знаете, что самое ужасное? Иногда это забавно. Иногда это настолько смешно, что невозможно удержаться от смеха, даже если все вокруг тебя рушится и распадается.

А в это время Гаррет Тибодо и его помощники сбивались с ног, разыскивая Джо. Дошло до того, что я начала уже подумывать о том, что, может быть, мне самой как-то подтолкнуть их на след. Я бы с радостью оставила Джо лежать там, где он лежал, до Страшного Суда. Но деньги лежали в банке на его счету, и я не собиралась ждать еще семь лет, пока его не признают официально умершим, чтобы я могла забрать их. Селена должна была поступать в колледж уже через два года, а для этого понадобятся деньги.

Мысль о том, что Джо мог, прихватив с собой бутылочку и отправившись в лес за домом, либо угодить в капкан, либо разбиться где-то, блуждая в темноте, витала в воздухе. Гаррет утверждал, что это его идея, но мне очень трудно поверить в это, особенно проучась с ним столько лет в одной школе. Но неважно. В среду днем он вывесил объявление, а в субботу утром — это было через неделю после затмения — он собрал поисковую группу из сорока или пятидесяти мужчин.

Они растянулись в линию от Ист-Хед до Хайгей-тского леса и прочесали лес, а потом и Русский Луг по направлению к дому. Я видела, как они, смеясь и перебрасываясь шутками, шли по лугу, но шутки сменились проклятиями, как только они вступили в наши владения и добрались до зарослей ежевики.

С замиранием сердца я следила за ними, стоя у входной двери. Я помню, как думала, что, слава Богу, Селены нет дома — она пошла навестить Лауру Лэнгилл. Потом я испугалась, что из-за колючек ежевики они пошлют все к черту и прекратят поиски, так и не добравшись до старого колодца. Но они продолжали идти. Я сразу же услышала крик Сонни Бенуа:

— Эй, Гаррет! Сюда! Иди сюда! — и я поняла, что Джо найден.

Конечно же, последовало вскрытие трупа. Они сделали это в тот же день. когда нашли Джо; кажется, оно еще продолжалось, когда Джек и Алисия Форберт с наступлением сумерек привезли мальчиков. Малыш Пит плакал, он был растерян — я не думаю, что он осознавал, что же в действительности произошло с его папочкой. Однако Джо-младший понимал, и, когда он отозвал меня в сторонку, я подумала, что он собирается задать мне тот же самый вопрос, что и Селена, и я приготовилась повторить свою ложь. Но он спросил меня абсолютно о другом.

— Ма, — сказал он, — если я обрадовался, что он умер, меня Господь пошлет в ад?

— Джо, человек не властен над своими чувствами, и мне кажется, Бог знает об этом, — ответила я.

А потом он расплакался и сказал нечто, что разбило мое сердце.

— Я пытался любить его, — вот что он сказал мне. — Я всегда пытался, но он не позволил мне.

Я обняла сына и изо всех сил прижала к себе. Мне показалось, что я сейчас тоже разрыдаюсь... вы же помните, что я плохо спала, к тому же у меня не было ни малейшего представления о том, как оно все повернется.

Во вторник было дознание, и Люсьен Мэрси, который за все время своей врачебной практики столкнулся с единственным подобным смертельным случаем на Литл-Толл, наконец-то сообщил, что мне позволено похоронить Джо в среду.

А вот в понедельник, за день до дознания, позвонил Гаррет и спросил, не могла ли бы я заглянуть к нему в офис на пару минут. Я ждала и боялась этого звонка, но у меня не было выбора, нужно было идти, поэтому я попросила Селену покормить мальчиков завтраком и ушла. Гаррет был не один. С ним был доктор Джон Мак-Олиф. К этому я тоже была более или менее готова, но все же мое сердце начало биться чаще.

В те годы Мак-Олиф был медицинским экспертом. Он умер три года спустя, когда снегоочиститель врезался в его «фольксваген». После смерти Мак-Олифа экспертом стал Генри Бриартон. Если бы в 1963 году экспертом был Бриартон, я чувствовала бы себя намного легче в тот день, готовясь к нашему маленькому разговору. Бриартон был умнее Гаррета Тибодо, но только немного. А вот Джон Мак-Олиф... ум его был острее лезвия.

Это был чистопородный шотландец, появившийся в наших местах после окончания второй мировой войны, громкоголосый и шумный. Я думаю, что он был американским гражданином, раз уж он занимал такую государственную должность, но вот говорил он совсем не так, как местные жители. Это не играло для меня особой роли, я знала, что вынуждена предстать перед ним, американец ли он, шотландец или вообще китаец.

У него были белые, как снег, волосы, хотя вряд ли ему было больше сорока пяти, и пронзительные ярко-голубые глаза. Когда он смотрел на вас, возникало такое ощущение, будто он проникает вам прямо в душу и расставляет там ваши мысли в алфавитном порядке. Как только я увидела его сидящим рядом с Гарретом и услышала щелчок закрывшейся за мной двери, я поняла, что то, что произойдет завтра на дознании, не имеет абсолютно никакого значения. Настоящий допрос произойдет прямо сейчас в этой маленькой комнатке городского констебля, на одной стене которой висел календарь, а на другой — фото матери Гаррета.

— Прошу извинить, что надоедаю тебе в дни печали и траура, Долорес, — произнес Гаррет. Он как-то нервно потирал руки, напомнив мне этим жестом мистера Писа из банка. На ладонях у него, должно быть, были мозоли, потому что при потираний слышался такой шорох, будто кто-то водил наждачной бумагой по сухой доске. — Но вот доктор Мак-Олиф хотел бы задать тебе несколько вопросов.

По растерянному взгляду, брошенному им на доктора, я поняла, что он не догадывается, что это будут за вопросы, и это еще больше испугало меня. Мне не понравилось, что этот шотландец считает дело настолько серьезным, что предпочел личное доследование, не давая бедняжке Гаррету Тибодо ни малейшего шанса довести дело до конца самостоятельно.

— Мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент-Джордж, — с сильным шотландским акцентом произнес Мак-Олиф. У этого невысокого, ладно скроенного мужчины были маленькие аккуратные усики, такие же седые, как и его волосы, на нем был шерстяной костюм-тройка, да и по всему его виду, как и по акценту, сразу было видно, что он шотландец. Эти синие глаза как буравчики вонзились в мой лоб, и я поняла, что он вовсе не сочувствует мне, несмотря на все его слова. Возможно, он вообще никому не сочувствует... даже самому себе. — Мне очень, очень жаль, сочувствую вашему горю.

«Конечно, и если я поверю в это, вы скажете мне еще кое-что, — подумала я. — В последний раз, док, вы сожалели тогда, когда, сходив в платный туалет, вдруг обнаружили, что на ширинке сломалась молния». Но уже тогда я решила, что не покажу ему, насколько сильно я испугана. Возможно, он подозревал меня, а может быть, и нет. Вы же помните, что из того, что было известно мне, он мог сказать только то, что, когда они положили Джо на стол в морге окружной больницы и разжали его кулаки, то из них выпал маленький кусочек белого нейлона — кружево от женской комбинации. Хорошо, такое вполне могло быть, но я все равно не хотела доставлять удовольствие Мак-Олифу, корчась и извиваясь под взглядом его пронзительных глаз. А ведь он привык видеть, как люди ежатся, когда он смотрит на них; он воспринимал это как должное, и это нравилось ему.

— Благодарю вас, — сказала я.

— Присаживайтесь, мадам, — пригласил он, коверкая слова на шотландский манер, таким тоном, словно это был его собственный кабинет, а не бедного, смущенного Гаррета.

Я села, и он спросил у меня разрешения закурить. Я ответила, что, насколько я понимаю, от моего разрешения здесь ничего не зависит. Он захихикал, как будто я рассказала смешной анекдот... но глаза его не смеялись. Он вытащил большую старую черную трубку из кармана пиджака и набил ее табаком. Но, проделывая все это, он не сводил с меня своих пронзительных глаз. Даже когда он пытался поудобнее зажать трубку между зубами, он не отводил взгляда. Меня била нервная дрожь, когда эти глаза пробуравливали меня сквозь табачный дым, и я снова подумала о свете маяка — говорят, что его свет виден в двух милях даже в те ночи; когда туман настолько густой, что ничего не заметно уже на расстоянии вытянутой руки.

Несмотря на всю свою решимость, я стала извиваться под этим взглядом, но потом вспомнила, что говорила Вера Донован: «Чепуха — мужья умирают каждый день, Долорес». Я подумала, что Мак-Олиф мог бы смотреть на Веру, пока у него глаза не повылазили бы, а она даже не переменила бы позы. Мысль об этом принесла мне небольшое облегчение, и я немного успокоилась; положив руки на сумочку, я ждала, пока он заговорит.

Наконец, когда Мак-Олиф понял, что я не собираюсь падать на колени и признаваться в убийстве собственного мужа, обливаясь слезами раскаяния, — как это он себе представлял, — он вытащил трубку изо рта и произнес:

— Вы сказали констеблю, что это ваш муж оставил синяки на вашей шее, миссис Сент-Джордж.

— Ага, — ответила я.

— И что вы сидели с ним на террасе и наблюдали затмение, а потом возникла ссора.

— Ага.

— Позвольте мне узнать причину скандала.

— В основном из-за денег, — ответила я, — но подспудно из-за его пьянства.

— Однако именно вы купили ему спиртное, которое он пил в тот день, миссис Сент-Джордж! Разве не так?

— Ага, — согласилась я. Я почувствовала, что хочу еще что-то добавить, как-то оправдаться, но я не сделала этого, хотя и могла. Видите ли, именно к этому и подводил меня Мак-Олиф — хотел, чтобы я забежала вперед, раскрыла свои карты, оправдываясь и объясняя, и засадила бы тем самым себя в тюрьму.

Наконец ему надоело ждать. Он побарабанил пальцами по столу, как будто ему все это смертельно надоело, а потом снова уставился на меня своими глазами-прожекторами:

— После скандала вы покинули мужа; вы отправились на Русский Луг наблюдать за затмением в одиночестве.

— Ага.

Внезапно он весь подался вперед, упершись маленькими кулачками в свои маленькие коленки, и спросил:

— Миссис Сент-Джордж, известно ли вам, в каком именно направлении в тот день дул ветер?

Это было, как в тот день в ноябре 1962 года, когда я отыскала заброшенный колодец, чуть не свалившись туда, — мне показалось, что я услышала тот же самый треск, — и я подумала: «Ты должна быть осторожной, Долорес Клейборн; ты должна быть — о! — очень осторожной. Сегодня здесь полно колодцев, и этот человек знает месторасположение каждого из них».

— Нет, — сказала я, — я не знаю. — А когда я не знаю, откуда дует ветер, это значит, что день очень тихий.

— Действительно, был всего лишь легкий бриз, — попытался вмешаться Гаррет, но Мак-Олиф движением руки остановил его.

— Ветер дул с запада, — сказал он. — Западный ветер, западный бриз, если вам так больше нравится, от семи до девяти миль в час, с порывами до пятнадцати. Мне кажется очень странным, миссис Сент-Джордж, что ветер не донес до вас криков вашего мужа, когда вы стояли на Русском Лугу в какой-то полумиле от него.

Секунды три я молчала. Я решила мысленно считать до трех, прежде чем отвечать на любой из его вопросов. Это удержит меня от излишней торопливости, расплатой за которую будет падение в одну из ям, которые он вырыл для меня. Но Мак-Олиф, должно быть, подумал, что своим вопросом лишил меня дара речи, потому что подался вперед на своем стуле, и я клянусь и присягаю, что на секунду или две его глаза из ярко-голубых превратились в ослепительно-белые.

— Меня это не удивляет, — возразила я. — Во-первых, семь миль в час — это не больше, чем легкое дуновение ветерка в сырой и душный день. Во-вторых, в бухте находилось больше тысячи лодок, и все они сигналили и перекликались гудками. И откуда вам известно, что он вообще кричал? Вы ведь не слышали этого.

Разочарованный, он откинулся назад.

— Это вполне разумный довод, — признал он. — Мы знаем, что падение само по себе не убило его, и, согласно результатам медицинского освидетельствования, он еще какое-то время находился в сознании. Миссис Сент-Джордж, если бы вы упали в заброшенный колодец и у вас были бы переломаны все кости, разве вы не стали бы звать на помощь?

Я дала себе трехсекундную передышку, а потом ответила:

— Но ведь это не я упала в колодец, доктор Мак-Олиф. Упал Джо, а он был пьян.

— Да, — согласился доктор Мак-Олиф. — Вы купили ему бутылку шотландского виски, хотя все, с кем я разговаривал, утверждали, что вы терпеть не могли, когда ваш муж пил; вы купили ему бутылку, несмотря на то что в пьяном виде он становился невыносимым и драчливым; вы купили ему бутылку, и он не просто выпил, он напился. Он был очень пьян. У него был полон рот крови, вся его рубашка была залита кровью. Сопоставление этого факта с тем, что у него были переломаны ребра и повреждены легкие, наводит на мысль... Знаете, что это предполагает?

Раз, моя лошадка... два, моя лошадка... три, моя лошадка.

— Нет, — ответила я

— Несколько переломанных ребер проткнули его легкие. Такие разрывы всегда приводят к кровотечению, но очень редко к такому обильному. Такое кровотечение, должен вам сказать, могли вызвать только продолжительные крики с риском для жизни.

— Так он и сказал, Энди, — с риском.

Это не было вопросом, но я все равно сосчитала до трех, прежде чем сказать:

— Значит, вы думаете, что он звал на помощь, насколько я поняла из ваших слов.

— Нет, мадам, — убежденно ответил он. — Я не просто так думаю, я уверен в этом.

В этот раз я не стала выжидать.

— Доктор Мак-Олиф, — твердо спросила я, — уж не считаете ли вы, что это я столкнула своего мужа в этот колодец?

Это немного поколебало его. Его глаза-прожекторы замигали и как-то потускнели на несколько секунд. Он повертел свою трубку в руках, потом снова всунул ее в рот и затянулся, все это время пытаясь решить, как ему быть с этим.

Но тут заговорил Гаррет. Лицо его было красным, как редиска.

— Долорес, — сказал он, — я уверен, что никто не думает... никто даже не рассматривает возможность того, что...

— Я, — прервал его Мак-Олиф. На несколько секунд мне удалось отвести его поезд на запасной путь, но я поняла, что ему без особого труда удалось вернуть его на центральную магистраль. — Я рассматриваю такую возможность. Поймите, миссис Сент-Джордж, это входит в мои служебные обязанности.

— Ох, да бросьте вы называть меня миссис Сент-Джордж! — сказала я. — Если уж вы обвиняете меня в том, что сначала я столкнула своего мужа в колодец, а потом стояла и слушала его крики о помощи, так уж зовите меня просто Долорес.

Честно говоря, я не пыталась загнать его в угол в этот раз, Энди, но будь я проклята, если мне не удалось это — второй раз за такой короткий промежуток. Сомневаюсь, что подобное случалось с ним с тех пор, как он окончил медицинский факультет.

— Никто ни в чем вас не обвиняет, миссис Сент-Джордж, — как-то сдавленно произнес он, но в глазах его промелькнуло: «По крайней мере, пока».

— Ну что ж, это хорошо, — сказала я, — Потому что мысль, что я могла столкнуть Джо в колодец, просто глупа. Он весил больше меня фунтов на пятьдесят — а может быть, даже намного больше. За последние несколько лет он сильно поправился. К тому же он не боялся пускать в ход кулаки, если кто-то вставал на его пути. Я говорю это вам как его жена, а я была ею больше шестнадцати лет, но любой может сказать вам то же самое.

Конечно, Джо давно уже не бил меня, но я никогда не пыталась изменить общее мнение, сложившееся на острове, что он поколачивает меня. И теперь, когда внимательные глаза Мак-Олифа пытались пробуравить меня насквозь, я была чертовски рада этому.

— Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец, — произнес шотландец. Теперь он уже быстренько отступал. По выражению его лица было видно, что он знает об этом, но не имеет ни малейшего представления, как это произошло. Его лицо говорило, что это я должна была отступать. — Но ведь он же кричал. Он долго взывал о помощи — возможно, несколько часов — к тому же достаточно громко.

Раз, моя лошадка... два, моя лошадка... три.

— Возможно, теперь я понимаю вас, — сказала я. — Возможно, вы думаете, что он случайно провалился в колодец, но я, услышав его крики, притворилась глухой. Ведь на это вы намекаете?

По его лицу я поняла, что именно так он считает. Я также видела, что он в бешенстве от того, что все идет не так, как он предполагал, не так, как это происходило всегда на подобных беседах. Крошечные красные пятнышки появились на его щеках. Я обрадовалась, увидев их, потому что очень хотела, чтобы он вышел из себя. С людьми типа Мак-Олифа намного легче управляться, когда они в бешенстве, потому что они привыкли сохранять хладнокровие и самообладание, тогда как их собеседники теряют их.

— Миссис Сент-Джордж, будет очень трудно достичь чего-нибудь, если вы будете отвечать вопросом на вопрос.

— Почему же вы не задаете вопросов, доктор Мак-Олиф? — широко раскрыв глаза, сказала я. — Вы сказали мне, что Джо кричал — «взывал», как вы выразились, — поэтому я просто спросила...

— Хорошо, хорошо, — прервал он меня и опустил свою трубку на пепельницу Гаррета с такой силой, что она звякнула. Теперь глаза его сверкали, а на лбу появилась полоска такого же красного цвета, как и пятна на щеках. — Вы слышали, как он звал на помощь, миссис Сент-Джордж?

Раз, моя лошадка... два, моя лошадка...

— Джон, я не думаю, что есть хоть какие-то основания так изводить бедную женщину, — вмешался Гаррет. Голос его звучал еще более смущенно, но провалиться мне на этом месте, если это снова не пробило брешь в игре шотландца. Я чуть не рассмеялась. Мне не поздоровилось бы, если бы я сделала это, но все равно мне было смешно.

Мак-Олиф метнул на Гаррета разъяренный взгляд:

— Вы согласились доверить это дело мне!

Бедный старина Гаррет так резко отпрянул от него, что чуть не упал со своего стула; я уверена, что он проклинал себя.

— Хорошо, хорошо, не нужно подливать масла в огонь, — примирительно пробормотал он.

Мак-Олиф повернулся ко мне, готовый повторить свой вопрос, но я не позволила ему утруждать себя. У меня было достаточно времени, чтобы сосчитать до десяти.

— Нет, — твердо сказала я. — Я ничего не слышала, только перекличку катеров в бухте да крики людей, когда они увидели, что началось затмение.

Он ждал, что я скажу что-то еще — старый трюк, когда ты остаешься спокойным, позволяя другим лезть напролом, набивая себе шишки, — в комнате повисла напряженная тишина. Мои руки покоились на сумочке. Мак-Олиф смотрел на меня, а я смотрела на него.

«Ты расскажешь мне, женщина, — говорили его глаза. — Ты расскажешь мне все, что я захочу узнать... дважды, если мне это понадобится».

А мои глаза отвечали: «Нет, приятель. Ты можешь сидеть здесь, пронзая меня своими сверкающими ярко-голубыми глазами, пока пылающий огонь не превратится в замерзший каток, но ты не выбьешь из меня ни слова, пока сам не откроешь рот и не спросишь».

Эта дуэль глаз продолжалась почти минуту, и к самому концу я почувствовала слабость и желание сказать хоть что-нибудь, хотя бы: «Разве мама не учила вас, что невежливо глазеть на человека?» Затем заговорил Гаррет — вернее, его желудок. Раздалось громкое бу-у-ур-р-р-р-рча-а-а-ние-е-е-е-е.

Мак-Олиф посмотрел да Гаррета с отвращением, а тот вытащил перочинный ножичек и стал вычищать грязь из-под ногтей. Мак-Олиф достал записную книжечку из внутреннего кармана шерстяного пиджака (шерсть! в июле!), что-то просмотрел в ней, а потом спрятал ее обратно.

— Он пытался выкарабкаться наружу, — наконец произнес он так небрежно, как будто говорил: «Меня пригласили на ленч».

Ощущение было такое, будто кто-то воткнул вилку мне в бок, но я попыталась не показать этого.

— О, неужели? — изумилась я.

— Да, — подтвердил Мак-Олиф. — Шахта колодца выложена огромными булыжниками (только он произнес «булишниками», Энди, как говорят в Шотландии), мы нашли окровавленные отпечатки пальцев на нескольких камнях. Оказывается, ему удалось подняться на ноги, а потом медленно, камень за камнем, вскарабкаться вверх. Наверное, на это потребовались усилия Геркулеса, превращающие нестерпимую боль в адские муки.

— Мне очень жаль, что он так страдал, — произнесла я как можно спокойнее, чувствуя в то же время, как пот выступает у меня под мышками (помню, я испугалась, что капельки пота появятся на лбу и висках, и он сможет заметить их). — Бедняга Джо.

— Да, — согласился Мак-Олиф, его глаза-прожекторы, устав, мигнули. — Бедный... старина... Джо. Я считаю, что он вполне мог бы самостоятельно выбраться из колодца. Возможно, он вскоре бы умер, даже если бы и выбрался, но он мог сделать это. Однако что-то помешало ему.

— Что же? — спросила я.

— У него оказался пробитым череп, — ответил Мак-Олиф. Взор его был все таким же острым, а вот голос напоминал мурлыканье кошки. — Между его ног мы обнаружили большой камень. Он весь покрыт кровью вашего мужа, миссис Сент-Джордж. И в этой крови мы обнаружили множество фарфоровых осколков. Знаете, к какому заключению я пришел?

Раз... два... три...

— Похоже, что этот камень выбил его искусственные зубы, так же как и проломил ему голову, — сказала я. — Ужасно — Джо очень нравились его зубы, и я не представляю, как это Люсьену Мерсею удалось угодить ему.

Губы Мак-Олифа дрогнули, когда я высказала это предположение и посмотрела на его зубы. Никаких пломб. Мне кажется, он предполагал, что это будет выглядеть как улыбка, но ему это не удалось. Ни грамма.

— Да, — произнес он, демонстрируя оба ряда беленьких аккуратненьких зубов. — Да, я тоже пришел к такому выводу — это фарфоровые осколки его нижней челюсти. А теперь, миссис Сент-Джордж, — есть ли у вас хоть какое-то предположение, как мог этот камень ударить вашего мужа, когда он уже почти выбрался из колодца?

Раз... два... три.

— Нет, — сказала я. — А у вас?

— Да, — ответил он. — Я подозреваю, что кто-то вырвал камень из земли и изо всей силы ударил в обращенное вверх умоляющее лицо.

Вновь в кабинете повисло тяжелое молчание. Одному Богу известно, что я хотела сказать; я хотела вскочить и сказать: «Это не я. Может быть. кто-то и сделал это, но только не я». Однако я не сделала этого, потому что снова была в этот момент в зарослях ежевики, и теперь повсюду меня окружали проклятые колодцы.

Вместо того чтобы заговорить, я молча смотрела на Мак-Олифа, чувствуя, как меня кидает в пот, а руки вот-вот судорожно сожмутся. У меня побелели ногти... и он заметил это. Мак-Олиф был рожден, чтобы замечать такие вещи; глаза его снова засияли, как прожекторы на маяке. Я попыталась снова призвать на помощь Веру: как бы она смотрела на него — как будто бы он был всего-навсего комочком собачьего дерьма, — но под его пронзительным, буравящим взглядом это не удалось. Раньше мне казалось, что Вера здесь, в этой комнате, со мной рядом, но теперь все было по-другому. Теперь здесь не было никого, кроме меня и этого маленького, аккуратного шотландского доктора, который, возможно, развлекался, как детектив-любитель в журнальных рассказах (и чьи свидетельские показания, как я выяснила позже, отправили в тюрьму уже больше дюжины человек), и я чувствовала, что все ближе и ближе подхожу к тому моменту, чтобы открыть рот и выдать что-нибудь. И, черт побери, Энди, я не имела ни малейшего представления, что я скажу, когда настанет этот момент. Я слышала тиканье часов на столе Гаррета — они очень громко отсчитывали время.

И я уже собиралась что-то сказать, когда человек, о котором я совсем забыла — Гаррет Тибодо, — заговорил вместо меня. Он заговорил, волнуясь и торопясь, и я поняла, что он не может больше выдержать этого молчания — наверное, ему показалось, что оно будет длиться, пока кто-либо из нас не закричит, чтобы хоть как-то разрядить обстановку.

— Послушай, Джон, — сказал он. — Я считал, что мы уже согласились с тем, что Джо сам ударился об этот камень и...

— О, почему бы тебе не заткнуться! — взвизгнул Мак-Олиф высоким, расстроенным голосом, и я расслабилась. Все было позади. И я знала это, и верила, что маленький шотландец тоже знает это. Это было так, будто мы оба с ним находились в темной комнате, и он щекотал мне лицо лезвием бритвы... а потом старина констебль Тибодо неуклюже зацепился ногой об окно, и темнота с грохотом и шумом растворилась в свете дня, и я увидела, что он прикасался ко мне всего-навсего пушинкой.

Гаррет пробормотал что-то насчет того, что Мак-Олифу не следовало бы разговаривать с ним подобным образом, но док не обратил на него ни малейшего внимания. Он снова повернулся ко мне.

— Ну так что же, миссис Сент-Джордж? — голос его звучал жестко, напористо, как будто он загнал меня в угол, но тогда мы уже оба знали, как все обстоит. Ему оставалось только надеяться, что я сделаю ошибку... но мне нужно было думать о троих детях, а имея детей, вы становитесь очень осторожными.

— Я сказала вам все, что знала, — произнесла я. — Он напивался, пока мы ждали начала затмения. Я приготовила ему сэндвич, надеясь, что это хоть как-то смягчит его, но напрасно. Он орал, а потом ударил меня и помотал мне нервы, поэтому я и ушла на Русский Луг. Когда я вернулась, его уже не было. Я думала, что он ушел с кем-нибудь из своих дружков, но, оказывается, в это время он уже лежал на дне колодца. Наверное, он хотел сократить дорогу. Может быть, он искал меня, желая попросить прощения. Этого я так никогда и не узнаю... и, может быть, это хорошо. — Я смело взглянула ему в глаза. — Вы можете испробовать это на себе, доктор Мак-Олиф.

— Я не нуждаюсь в ваших советах, мадам, — ответил Мак-Олиф, и красные пятна на его щеках стали еще ярче и больше. — Вы рады, что он умер? Ответьте мне!

— Какое, черт побери, это имеет отношение к тому, что случилось с Джо? — спросила я. — Господи, что это с вами?

Он не ответил — только схватил свою почти потухшую трубку дрожащей рукой и принялся снова зажигать ее. Больше он не задавал мне вопросов; последний вопрос, обращенный ко мне в этот день, был задан Гарретом Тибодо. Мак-Олиф не задал его, потому что для него он не имел никакого значения. Однако для Гаррета это что-то значило, а для меня это было даже более важно, чем для него, потому что ничего не закончилось, когда я вышла из полицейского участка в тот день; в каком-то смысле мой уход был только началом. Этот последний вопрос и то, как я ответила на него, были очень важны, потому что обычно то, что не имеет никакого значения для суда, бурно и с удовольствием обсуждается за изгородями домов, пока женщины развешивают выстиранное белье, а мужчины, сидя за столом спиной к рулевой рубке, поглощают свой завтрак. Все это не может отправить вас в тюрьму, но вас могут распять в глазах всего города.

— Ответь, ради Бога, почему ты купила ему эту бутылку шотландского виски? — промычал Гаррет. — Что на тебя нашло, Долорес?

— Я думала, что он оставит меня в покое, если у него будет что-нибудь выпигь, — ответила я. — Я подумала, что мы сможем мирно посидеть вместе, наблюдая за затмением, и он оставит меня в покое.

Я не плакала, действительно, но почувствовала, как слезинка скатилась у меня по щеке. Иногда мне кажется, что именно поэтому я смогла прожить после этого на Литл-Толле еще тридцать лет — из-за этой одной-единственной слезинки. Если бы не она, люди могли бы выжить меня с острова сплетнями, осуждением, злословием за моей спиной — да, вполне могли бы. Я очень сильная и выносливая, но не знаю, смог ли бы кто-нибудь вынести тридцать лет жизни среди людей, страдая от их пересудов и получая анонимные записки вроде: «Убирайся отсюда, убийца». Я получила таких несколько — и я прекрасно знаю, кто написал их, хотя их уже давно нет с нами, — но все это прекратилось к тому времени, когда в ту осень возобновились уроки в школе. Поэтому вы можете сказать, что всей своей остальной жизнью обязана одной-единственной слезинке... и Гаррету, который сказал, что не такое уж у меня каменное сердце, раз уж у меня нашлись слезы оплакивать Джо. В этом не было никакого расчета, и не думайте, что я сделала это умышленно. Я думала вот о чем: жаль, что Джо страдал так, как это описывал маленький шотландец. Несмотря на все, что сделал Джо, и на то, как страстно я возненавидела его, узнав, что он пытается сделать с Селеной, я никогда не хотела причинять ему страдания. Я думала, что падение убьет его, Энди, — именем Господа клянусь, думала, что он умрет мгновенно.

Старина Тибодо покраснел, как стоп-сигнал. Он порылся в ящике своего стола и, достав оттуда платочек, не глядя передал его мне — представляю, как он подумал, что за первой слезинкой хлынет целый фонтан, — извиняясь, что подверг меня «такому мучительному допросу». Клянусь, это были самые научные слова, известные ему.

Мак-Олиф хмыкнул и сказал что-то насчет того, что он будет присутствовать завтра на дознании, чтобы выслушать мои показания, и когда уходил — горделиво выпрямившись, — так хлопнул дверью, что зазвенели стекла в окнах. Гаррет подождал, пока он удалился, а потом проводил меня к двери, поддерживая меня под руку, но не глядя мне в лицо (это было так комично), и все время что-то бормотал. Не знаю, о чем он там мурлыкал, но что бы там ни было, это был способ Гаррета приносить извинения. У этого человека было такое мягкое сердце, что он не выносил вида чужих страданий и несчастий, я скажу ему об этом... и я скажу кое-что еще о Литл-Толле: где еще человек, подобный ему, сможет не только проработать констеблем почти двадцать лет, но и удостоиться званого обеда с овациями в его честь, когда он наконец-то ушел на покой? Я скажу вам, что думаю: место, где мягкосердечный человек может преуспеть в должности полицейского, не такое уж и плохое, чтобы провести в нем всю жизнь. Очень даже неплохое. Но даже если это и так, я никогда так не радовалась, услышав, как закрылась за мной дверь.

Итак, это были Содом и Гоморра, и дознание на следующий день не шло с этим ни в какое сравнение. Мак-Олиф задавал мне множество подобных вопросов. и все они были коварны, но они больше не имели власти надо мной, и мы оба знали это. Слезинка — это было хорошо, но вопросы Мак-Олифа (плюс то, что все видели, как он окрысился на меня) породили все эти слухи и сплетни, разлетевшиеся по острову. Ну что ж; все равно ведь должны были возникнуть какие-то пересуды и домыслы, ведь так?

Вердикт был таким: смерть от несчастного случая. Мак-Олифу это не понравилось, и он прочитал свое заключение заупокойным голосом, ни разу не оторвав взгляд от бумажки, но то, что он произнес, было официальной версией: напившись, Джо упал в колодец; возможно, он звал на помощь, но безуспешно, затем попытался взобраться по стене и выбраться собственными силами. Он добрался почти до самого верха, но потом оперся о шаткий камень, тот сорвался, ударив его по голове и проломив череп (о протезах ничего не было сказано), и Джо упал обратно на дно колодца, где и умер.

Возможно, самым главным было то — но я поняла это только намного позже, — что они не могли найти мотив преступления, чтобы обвинить меня. Конечно, местные жители (не сомневаюсь, что и доктор Мак-Олиф тоже) считали, что если я и сделала это, то только для того, чтобы Джо прекратил избивать меня, но само по себе это не могло быть предъявлено в качестве обвинения. Только Селена и мистер Пис знали, какие веские мотивы для убийства были у меня, но никто, даже проницательный старина доктор Мак-Олиф, не догадался расспросить мистера Писа. А он сам и не подумал ничего рассказывать. Если бы он сделал это, то наша беседа в маленьком кафе стала бы достоянием гласности, а это, конечно, привело бы к огромным для него неприятностям в банке. Ведь я же уговорила его преступить строжайшие правила.

Что же касается Селены... ну что ж, мне кажется, Селена судила меня своим судом. Часто я вспоминаю тот взгляд ее потемневших глаз, слышу заданный ею вопрос: «Ты с ним что-то сделала, мама? Это моя вина? Это я должна расплачиваться?»

Мне кажется, она заплатила — и это самое ужасное. Маленькая провинциальная девочка, до восемнадцати лег никогда не покидавшая границ штата Мэн, отправившись однажды в Бостон на соревнования по плаванию, так и не вернулась и вдруг превратилась в элегантную, преуспевающую, деловую женщину, ныне проживающую в Нью-Йорке, — два года назад ей была посвящена целая статья в «Нью-Йорк таймс»! Она сотрудничает со множеством журналов, но все же находит время, чтобы писать мне раз в неделю... правда, это больше похоже на письма по обязанности, как и ее телефонные звонки раз в месяц. Мне кажется, что этими звонками и паршивыми записочками она успокаивает свое сердце за то, что так больше и не вернулась домой, и за то, что разорвала со мной все узы. Да, я думаю, она заплатила; мне кажется, что наименее виновный расплачивается вдвойне — она все еще платит.

Сейчас ей сорок четыре, она так и не вышла замуж, она очень худа (я вижу это по тем фотографиям, которые она время от времени присылает мне), и, мне кажется, она пьет — я поняла это по ее голосу, когда она звонила мне несколько раз. Может быть, это одна из причин, почему она не приезжает домой; она не хочет, чтобы я видела, что она пьет, как и ее отец. А может быть, она боится того, что сможет сказать мне, если мы будем вместе. Или того, что сможет спросить.

Ну да чего уж там теперь; сколько воды уже утекло с тех пор. Важно то, что я вышла сухой из воды. Если бы Джо был застрахован и если бы мистер Пис открыл рот, то мне бы не поздоровилось. Из этих двух причин солидная страховка была бы хуже. Менее всего в этом огромном мире я нуждалась в пронырливом представителе страховой фирмы, который составил бы компанию подозрительному шотландскому докторишке, и так выходящему из себя по причине того, что его обвела вокруг пальца невежественная провинциалка. Да, если бы их было двое, они смогли бы загнать меня в угол.

Итак, что же было потом? То, что всегда бывает, когда совершается убийство, а убийцу так и не находят. Жизнь потекла дальше, вот и все. Никто не ворвался в зал заседаний с дополнительной информацией в последнюю минуту, как это бывает в кино, я не пыталась убить кого-то еще, и Господь не поразил меня молнией. Возможно, Он считал, что не стоит тратить на меня электричество из-за Джо Сент-Джорджа.

Жизнь продолжалась. Я вернулась в Пайнвуд к Вере. Селена вернулась к своим друзьям, когда пошла в школу той осенью; иногда я слышала, как она смеется, болтая с кем-то по телефону. Малыш Пит очень тяжело перенес известие о смерти отца... так же, как и Джо-младший. Джо перенес это тяжелее, чем я ожидала. Он похудел, осунулся; по ночам его мучили кошмары, но к следующему лету он вполне оправился и пришел в себя. Единственное, что действительно изменилось в 1963 году, так это то, что я позвала Сита Рида, и он зацементировал разрушенную крышку заброшенного колодца.

Через шесть месяцев после смерти Джо было вынесено официальное решение по поводу его завещания. Мне даже не пришлось никуда ехать. Где-то через неделю после этого я получила бумагу, подтверждающую, что все теперь принадлежит мне, — я могла все продать, или обменять, или вышвырнуть все это в море. Такой широкий выбор вполне устраивал меня. Однако одно открытие удивило меня: если у вас неожиданно умирает муж, очень удобно, чтобы все его друзья оказались такими же идиотами, как и он. Я продала старый коротковолновый приемничек, который служил Джо более десяти лет, Норрису Пинетту за двадцать пять долларов, а три стареньких грузовичка переселились на задний двор Томми Андерсона. Этот простофиля был просто счастлив купить их, а на вырученные деньги я купила «шевроле» 1959 года выпуска, у которого стучали клапаны, но ездил он все же отлично. На меня была переоформлена и чековая книжка Джо, и я снова открыла в банке счета на имена детей.

И еще одно — в январе 1964 года я снова взяла себе девичью фамилию. Я не строила никаких особых иллюзий на этот счет, но я не хотела, чтобы фамилия Сент-Джордж висела на мне до конца жизни, как консервная банка, привязанная к хвосту собаки. Я думаю, что вы можете сказать, будто я перерезала веревки, державшие банку... но я не избавилась от него так же легко, как от его фамилии, должна я вам сказать.

Да я и не ожидала этого; мне шестьдесят пять, и лет пятьдесят из них я знаю, что человеку приходится делать выбор и платить, когда наступает время расплаты. Иногда выбор бывает чертовски болезненным, но все равно это не дает права человеку обходить острые углы — особенно когда он отвечает за других и должен сделать за них то, чего сами они сделать не в состоянии. В таком случае вы должны принять самое оптимальное решение, а потом расплачиваться за это. Для меня ценой стали ночи, когда я просыпалась вся в поту, мучимая кошмарами, или ночи, когда я вообще не могла заснуть; это и звук, произведенный камнем, когда я ударила Джо по голове, пробив ему череп и выбив зубы, — звук разбиваемой о каменную плиту фарфоровой тарелки. Он звучит во мне уже тридцать лет. Иногда я просыпаюсь от него, иногда не могу заснуть вовсе, а иногда он поражает меня средь бела дня. Я могу подметать террасу своего дома, или протирать столовое серебро у Веры, или завтракать, включив телевизор, как вдруг я слышу его. Этот звук. Или глухой звук упавшего на дно колодца тела. Или его голос, доносящийся из колодца: «До-х-лоооо-реесссс...»

Мне кажется, все эти звуки, которые я иногда слышу, по сути то же самое, что действительно видела Вера, когда пугалась проводов в углу или комочков пыли под кроватью. Бывало, особенно когда Вера действительно стала плоха, я забиралась к ней на кровать, обнимая ее и думая о звуке, произведенном камнем, а потом закрывала глаза и видела фарфоровую тарелку, вдребезги разбивающуюся о каменную плиту. Когда я видела это, то прижималась к Вере, как будто она была моей сестрой или мною самой. Мы лежали в кровати, каждая со своими страхами, и вместе засыпали — она со мной, чтобы я прогоняла зайчиков из пыли, а я с ней, чтобы не слышать звука разбивающейся тарелки, — и иногда, прежде чем заснуть, я думала: «Вот так. Вот расплата за стервозность. И бессмысленно говорить, что если бы ты не была стервой, то тебе не пришлось бы платить, потому что иногда жизнь заставляет тебя быть стервой. Когда кругом разруха и мрак и только ты можешь зажечь и поддерживать огонь, ты просто обязана быть стервой. Но вот цена. Ужасная цена.

Энди, как тебе кажется, могу я сделать еще один глоточек из твоей бутылки? Я никому не расскажу.

Спасибо. Спасибо и тебе, Нэнси Бэннистер, за терпение, оказываемое такой болтливой и грубой старухе, как я. Как это выдерживают твои пальчики?

Правда? Хорошо. Не теряй мужества; я знаю, что рассказала много лишнего, но наконец-то я подхожу к той части рассказа, которую вам хотелось услышать больше всего. Это хорошо, потому что уже поздно, и я устала. Всю свою жизнь я работала, но не помню себя такой уставшей, как сейчас.

Вчера утром я развешивала белье — кажется, что прошло ухе шесть лет, хотя все произошло только вчера, — у Веры был один из дней просветления. Именно поэтому все произошло так неожиданно, отчасти поэтому я так волновалась. Когда у Веры наступали такие дни, иногда она бывала стервозной, но это был первый и последний раз, когда она была взбешенной.

Итак, я развешивала белье во дворике внизу, а она сидела наверху в своем кресле на колесиках и наблюдала за операцией так, как любила делать это. Она покрикивала на меня: «Шесть прищепок, Долорес! Шесть прищепок на каждую простыню! Не вздумай отделаться четырьмя, я внимательно слежу за тобой!»

— Да, — ответила я. — Я знаю и, клянусь, знаю, что единственное, чего бы ты хотела, — чтобы было градусов на сорок холоднее и дул порывистый ветер.

— Что? — заорала она. — Что ты сказала, Долорес Клейборн?

— Я говорю, что кто-то, должно быть, удобрил землю навозом в своем саду, — сказала я, — потому что сегодня несет дерьмом сильнее, чем обычно.

— Ты что умничаешь, Долорес? — хриплым, дрожащим голосом спросила Вера.

Она говорила так, как в те дни, когда больше солнечных лучей находили дорогу в ее чердак. Я знала, что позже она может затеять со мной ссору, но не очень-то волновалась на этот счет — тогда я просто радовалась, что она хоть что-то понимает. Честно говоря, это напоминало мне старые времена. Три или четыре месяца она была просто бесчувственной колодой, и приятно было видеть ее возвращение... или возвращение той прежней Веры, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Нет, Вера, — откликнулась я. — Если бы я была умной, то давным-давно отказалась бы от работы у тебя.

Я ожидала, что Вера прокричит мне что-нибудь в ответ, но она этого так и не сделала. Поэтому я продолжала развешивать ее простыни, панталоны и все остальное. В корзинке оставалась еще половина белья, когда я замерла. У меня возникло плохое предчувствие. Я не могу сказать, почему и когда оно возникло.

И на какое-то мгновение странная мысль промелькнула у меня в голове: «Эта девчушка в беде... та, которую я видела в день солнечного затмения, та, которая видела меня. Сейчас она уже взрослая, почти такого же возраста, как и Селена, но она в ужасной беде».

Я оглянулась и посмотрела вверх, почти уверенная, что увижу теперь уже ту малышку в ярком полосатом платьишке и с помадой цвета перечной мяты на губах, но я никого не увидела, и это было плохо. Это было плохо потому, что...

Вера должна была быть здесь, чуть не вываливающаяся из окна, наблюдающая за тем, сколько прищепок использую я, развешивая простыни. Но она исчезла, и я не поняла, как такое могло случиться, потому что, я сама усадила ее в кресло, а потом придвинула его к окну так, как она любила.

Потом я услышала ее крик:

— До-х-лоооо-рессс!!!

Я чуть не остолбенела, услышав это. Энди! Как будто Джо воскрес из мертвых. На секунду я застыла на месте. Затем снова раздался крик, и я поняла, что это кричит Вера.

— До-х-лооо-рессс! Пыльные зайчики! Они повсюду! О Господи! До-х-лооо-рессс, помоги! Помоги мне!!!

Я повернулась, чтобы бежать в дом, но перевернула проклятую корзинку с бельем, а потом запуталась в только что развешанных простынях. Мне пришлось пробивать себе путь, и целую минуту казалось, что у простынь выросли руки, и они пытаются задушить или задержать меня. И пока продолжалась моя борьба, Вера не переставала кричать, и мне вспомнился виденный мною однажды сон, когда мне пригрезилась голова из пыли с острыми, как кинжалы, зубами. Только теперь мой внутренний взгляд увидел, что у этой головы лицо Джо, глаза его были пусты и темны, как будто кто-то вставил два куска угля в облако пыли, в котором они и парили.

— Долорес, умоляю, иди быстрее! Быстрее, пожалуйста! Пыльные зайчики! ПЫЛЬНЫЕ ЗАЙЧИКИ ПОВСЮДУ!!!

Потом она просто визжала. Это было ужасно. Даже в самом кошмарном сне не могло присниться, что такая старая жирная сука, как Вера Донован, может так громко орать. Ощущение было такое, будто геенна огненная, Всемирный потоп и конец света — все вместе обрушилось на меня.

Каким-то образом мне удалось избавиться от удушающих объятий простынь, и, поднимаясь на террасу, я почувствовала, что у меня лопнула бретелька комбинации, совсем как в день затмения, когда Джо чуть не убил меня, а я лишь чудом смогла отделаться от него. Вам, наверное, известно чувство, когда вам кажется, что вы уже были здесь и знаете все, что люди скажут вам еще до того, как они произнесут хоть слово. Это чувство было настолько сильным, будто меня со всех сторон обступили привидения, тыкающие в меня невидимыми пальцами.

И вот что интересно. Они ощущались как привидения из пыли.

Пробежав через кухню, я молнией взлетела по ступенькам, и все это время Вера не переставала орать и визжать, визжать. Комбинация начала сползать вниз, и когда я уже оказалась на лестничной площадке, то была почти уверена, что, оглянувшись, увижу Джо, готового вцепиться в меня.

И тут я увидела Веру. Она направлялась к лестнице, повернувшись ко мне спиной и крича что есть мочи. Сзади у нее на халате было огромное коричневое пятно — но теперь она обделалась не из-за стервозности или назло мне — это было результатом охватившего ее панического ужаса.

Ее кресло-каталка стояло у двери в спальню. Должно быть, она высвободилась из него, когда увидела то, что так сильно испугало ее. Прежде, когда ее охватывали страхи, она застывала на месте и взывала о помощи, и найдется множество людей, которые подтвердят, что она не могла двигаться, но вчера она сделала это; клянусь вам. Она каким-то образом ослабила тормозной привод, развернула кресло, пересекла комнату, кресло врезалось в дверной проем, а потом Вера встала и, теряя равновесие, двинулась в холл.

Я застыла на месте, следя за ее движениями и думая, насколько же ужасным было увиденное ею, раз ух ей удалось сделать это: встать и пойти после стольких лет неподвижности — так что же было тем, что она называла пыльными зайчиками?

Но я видела, куда она направляется — как раз к началу лестницы.

— Вера, — закричала я. — Вера, прекрати валять дурака! Ты упадешь! Остановись!

Я бросилась вслед за ней. Чувство, что все это уже было, снова охватило меня, только теперь мне казалось, что это я и Джо, что это я пытаюсь удержаться и спастись.

Я не знаю, слышала ли меня Вера, а если и слышала, то не показалось ли ей, что я нахожусь впереди нее, а не сзади. Наверняка я знаю только то, что она продолжала кричать,

«Долорес, помоги! Помоги мне, Долорес! Зайчики из пыли!» — и продолжала двигаться вперед.

Она уже почти миновала коридор. Я промчалась мимо дверей ее комнаты и чертовски больно ударилась ногой о кресло — вот здесь, видите, синяк? Я мчалась на всех парусах, выкрикивая:

«Остановись, Вера! Остановись!» — пока не сорвала голос.

Она пересекла лестничную площадку и ступила одной ногой в пустоту — я не могла бы уже спасти ее — единственное, что я могла бы сделать, так это упасть вместе с ней, — но в подобных ситуациях действуют не раздумывая, не помышляя о возможных последствиях. Я подлетела к ней в тот самый момент, когда ее нога зависла в воздухе, а тело стало крениться вперед. Мельком я взглянула на ее лицо. Не думаю, чтобы она понимала, что падает; лицо ее отражало панический ужас — я видела это выражение и раньше, но никогда оно не было настолько страшным, и, должна вам сказать, оно не имело никакого отношения к страху, связанному с падением. Она думала о том, что было позади, а не о том, что впереди.

Я попыталась схватить Веру, но между указательным и средним пальцами зацепилась только складка ее халата. Она проскользнула между пальцами, как шепот.

— До-х-лооо... — успела выкрикнуть Вера, а потом последовал громкий, тяжелый стук. От воспоминания о подобном звуке кровь застыла у меня в жилах; точно такой же звук был, когда Джо ударился о дно колодца. Я увидела, как Вера кувыркнулась в воздухе, а потом последовал хлопок. Звук был таким же чистым и резким, как будто о колено ломали лучину. Я увидела, как из Вериной головы хлынула кровь, и это было и так слишком много, что я хотела бы видеть. Я так быстро отвернулась, что мои ноги запутались одна о другую, и я упала на колени. Я посмотрела на коридор, ведущий в ее комнату, и то, что я увидела, заставило меня вскрикнуть. Там стоял Джо. Несколько секунд я видела его так же четко, как сейчас вижу тебя, Энди, я увидела его ухмыляющееся лицо из пыли, взирающее на меня сквозь переплетения спиц колеса кресла, врезавшегося в дверной проем.

Потом лицо Джо исчезло, и я услышала плач и стоны Веры.

Я не могла поверить, что она выжила после такого падения; до сих пор не могу поверить. Джо тоже умер не сразу, но он был мужчиной, а она была дряхлой старухой, пережившей полдюжины сердечных приступов и по крайней мере три микроинфаркта. К тому же здесь не было слоя грязи, чтобы смягчить удар при падении, как это произошло с Джо.

Я не хотела спускаться к ней, не хотела видеть, что у нее сломано и откуда течет кровь, но выбора у меня, конечно, не было; я была в доме одна, а это значило, что я обязана. Когда я поднялась (держась за столбик лестницы, чтобы помочь себе, ноги у меня налились свинцом), то наступила на кружево своей комбинации. Вторая бретелька комбинации тоже оборвалась, и я приподняла платье, чтобы стянуть ее через ноги.. и это тоже было как раньше. Помню, как я посмотрела на свои ноги, ожидая увидеть на них кровоточащие царапины, оставленные шипами ежевики, но, конечно же, ничего подобного не увидела

Меня лихорадило. Если вы когда-нибудь действительно болели и температура у вас поднимались достаточно высоко, то вы поймете, о чем я говорю, вы не чувствуете себя исчезнувшим из этого мира, но и в нем вы себя не ощущаете Кажется, что все

отгорожено прозрачным стеклом, и вы теперь не можете ни к чему прикоснуться, все такое зыбкое и ускользающее. Вот так я чувствовала себя, стоя на лестничной площадке, мертвой хваткой вцепившись в перила и глядя вниз, где лежала Вера.

Она лежала на лестнице, так подобрав под себя ноги, что их почти не было видно. Кровь стекала по ее несчастному морщинистому лицу. Когда я, пошатываясь и все еще держась за перила, спустилась вниз, один ее глаз открылся, заметив меня Это был взгляд загнанного животного.

— Долорес, — прошептала она — Этот сукин сын преследовал меня все эти годы.

— Ш-ш-ш, — остановила я ее. — Не разговаривай.

— Да, он преследовал, — продолжала она, как будто я возражала ей. — Подонок. Похотливый подонок.

— Я спущусь вниз, — сказала я. — Позвоню доктору.

— Нет, — возразила Вера. Она подняла руку и ухватила меня за запястье. — Не надо врачей. Не надо больниц. Пыльные зайчики... даже там. Везде. Повсюду.

— Ты поправишься. Вера, — высвобождая руку, произнесла я. — Если ты будешь лежать тихонько и не двигаться, с тобой все будет в порядке,

— Долорес Клейборн сказала, что со мной все будет в порядке! — произнесла она тем безжалостным, обжигающим тоном, которым разговаривала, когда на нее накатывало бешенство и все путалось в голове. — Как здорово слышать мнение профессионала!

Услышать снова этот голос, после стольких лет забвения, было все равно что получить пощечину. Это вывело меня из шокового состояния, и я впервые по-настоящему взглянула ей в лицо; так вы смотрите на человека, который знает и понимает каждое произнесенное им слово.

— Мне так же хорошо, как мертвым, — продолжала она, — и тебе это известно так же отлично, как и мне. Мне кажется, у меня сломан позвоночник.

— Ты ведь не знаешь этого наверняка, Вера, — ответила я. Теперь я уже не стремилась к телефону так, как раньше. Мне казалось, я знала, что последует вскоре, и если она попросит то, что, мне показалось, она собирается попросить, я не смогу отказать ей. Я задолжала ей с того дождливого осеннего дня, когда сидела на ее кровати и выплакивала свое горе, прикрыв лицо фартуком, а Клейборны всегда платят свои долги.

А когда она снова заговорила, то была так же разумна, как и тридцать лет назад, когда Джо был еще жив, а дети не разлетелись из дома.

— Осталась только одна проблема, достойная обсуждения, — произнесла Вера, — и это то, умру ли я собственной смертью или буду мучиться в больнице. Там время, их время, может продлиться слишком долго. Мое время пришло, Долорес. Я устала видеть лицо своего мужа в углах комнаты. Я устала видеть одну и ту же картину: как на берег, освещенный туманным лунным светом, вытаскивают с помощью лебедки «корвет» и как вода выливается через опущенное стекло его дверцы как раз с той стороны, где место пассажира.

— Вера, я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала я.

Она подняла руку и нетерпеливо помахала ею — совсем как прежде; затем рука снова опустилась на ступеньки рядом с ней.

— Я устала мочиться в постель и уже через полчаса не помнить, кто заходил в мою комнату. Я хочу умереть. Ты поможешь мне?

Я встала на колени рядом с ней, взяла ее руку и прижала к своей груди. Я вспомнила о звуке, произведенном камнем, когда он ударился о голову Джо, — напоминающем звук разбивающейся о каменную плиту фарфоровой тарелки. Я не знала, не сойду ли я с ума, услышав его еще раз. Но я знала, что он прозвучит так же, потому что голос Веры напоминал голос Джо, когда она выкрикивала мое имя с таким же придыханием, как и Джо, она упала на ступеньки, разбившись подобно тому, как (чего она всегда боялась!) в руках неосторожной горничной могут разбиться хрупкие стеклянные безделушки, расставленные в гостиной, а моя комбинация лежала на лестничной площадке второго этажа маленьким белым комочком, с оборванными бретельками, совсем как в тот раз. Если я сделаю это, то звук будет таким же самым, как в тот раз, когда я столкнула Джо, я знала это. Да. Я знала это так же хорошо, как и то, что Ист-лейн заканчивается на этих шатких старых ступеньках со стороны Ист-Хед.

Я держала ее за руку и думала об этом мире — как иногда с отвратительными мужчинами происходят несчастные случаи, а хорошие женщины превращаются в отъявленных стерв. Я смотрела на то, как она подняла глаза, чтобы видеть меня, и я заметила, как кровь, сочащаяся из раны в голове, стекает по глубоким морщинам ее лица — так стекают весенние потоки по ложбинам с гор.

И я ответила:

— Если это то, что ты хочешь, Вера, я помогу тебе.

И тут она расплакалась. Впервые в жизни я видела, что она плачет в здравом состоянии ума.

— Да, — ответила она. — Да, это то, чего я хочу. Благослови тебя Господь, Долорес.

— Не беспокойся, — произнесла я. Я поднесла ее сморщенную ладонь к своим губам и поцеловала.

— Поторопись, Долорес, — произнесла она. — Если ты действительно хочешь помочь мне, пожалуйста, поторопись.

«Прежде чем мы обе потеряем мужество», — казалось, говорили ее глаза.

Я снова поцеловала ее руку, потом, опершись на ее живот, поднялась. В этот раз не возникло никаких проблем: сила снова вернулась к моим ногам. Я спустилась по лестнице и направилась в кухню. Утром, прежде чем пойти развешивать белье, я приготовила все для выпечки хлеба; мне казалось, это удобный день, чтобы испечь хлеб. У Веры была скалка — большой, тяжелый предмет, сделанный из серого мрамора. Она лежала на столе, возле пластмассовой банки с мукой. Я взяла скалку, двигаясь как во сне, и пошла обратно через эту комнату, набитую прекрасными старинными вещами, и мне сразу вспомнились все те случаи, когда я проделывала здесь свой трюк с пылесосом, и как она иногда отыгрывалась на мне. В конце концов Вера всегда брала реванш... разве не поэтому я сейчас здесь?

Я вышла из гостиной в холл и поднялась к Вере по лестнице, держа скалку за одну из деревянных ручек. Когда я подошла к тому месту, где Вера лежала головой вниз с подвернутыми под себя ногами, я не собиралась медлить; я знала — если остановлюсь, то никогда не смогу сделать того, что собиралась. Говорить больше было не о чем. Подойдя к Вере, я собиралась встать на колено и обрушить скалку ей на голову со всей силой, на которую только была способна. Возможно, все выглядело бы так, будто это случилось с ней во время падения, а может быть, и нет, но я все равно решила сделать это.

Но когда я опустилась на колени рядом с ней, то поняла, что делать уже ничего не нужно; она сделала все по-своему, как и всегда поступала в течение всей своей жизни. Пока я была в кухне, разыскивая скалку, дли когда я проходила по гостиной, она просто закрыла глаза и испустила дух. Я села рядом с ней, опустив скалку на ступеньки, взяла ее руку и положила себе на колени. В жизни человека бывают такие моменты, когда время не поддается счету, когда нельзя сказать, сколько прошло минут, Я знаю только, что сидела рядом и разговаривала с ней. Не знаю, говорила ли я вслух или про себя. Мне кажется, что да, вслух, — я думаю, что благодарила ее за то, что она отпустила меня, за то, что не заставила меня пройти через все это снова, — но, может быть, я только думала об этом. Я помню, как прижалась щекой к ее ладони, а потом повернула руку и поцеловала ее. Я помню, как смотрела на ее ладонь и думала, какая она розовая и чистая. Линии почти исчезли, и это напоминало ладонь младенца. Я знала, что мне нужно встать и кому-то позвонить, рассказать о случившемся, но я чувствовала себя уставшей — страшно уставшей.

И тут позвонили в дверь. Если бы этого не произошло, я просидела бы с ней намного дольше. Но вы же знаете, какое возникает чувство, когда звонят в дверь, — вы должны откликнуться на зов, что бы там ни случилось. Я поднялась и очень медленно спустилась по ступенькам, как будто сразу стала старше на десять лет (правда в том, что я действительно чувствовала себя постаревшей на десять лет), цепко хватаясь за поручни лестницы. Я помню, что весь мир для меня был отгорожен прозрачным стеклом, и я должна была быть чертовски осторожной, чтобы не наткнуться на него и не порезаться, спускаясь по ступенькам и подходя к входной двери.

Это был Сэмми Маршан в сдвинутой по-дурацки назад шапочке почтальона — наверное, ему казалось, что такая залихватская манера носить кепку делает его похожим на рок-звезду. В одной руке он держал газеты, а в другой — один из тех раздутых конвертов, которые еженедельно приходили из Нью-Йорка, — в них содержался отчет о финансовых делах. Приятель Веры по имени Гринбуш заботился о ее деньгах, я уже говорила вам об этом?

Говорила? Хорошо, спасибо. Я так много наболтала здесь, что ухе не помню, что говорила, а чего нет.

Иногда в этих заказных конвертах были бумаги, которые нужно было подписать, и Вере удавалось сделать это, только если я держала ее ладонь в своих руках, но иногда она находилась в таком состоянии, что я сама ставила за нее подпись. Но никогда по этому поводу не возникало ни единого вопроса. Последние три или четыре года ее подпись напоминала закорючку. Так что при желании вы можете обвинить меня еще и в подделке документов.

Как только я открыла дверь, Сэмми протянул мне заказное письмо — желая, чтобы я расписалась в его получении, — но когда он внимательно посмотрел на меня, глаза его расширились от ужаса, и он попятился назад. Скорее, он даже отпрянул, а учитывая, что это был Сэмми Маршан, то «конвульсия» будет наиболее подходящим словом.

— Долорес! — воскликнул он. — С тобой все в порядке? На тебе кровь!

— Это не моя кровь, — ответила я таким спокойным тоном, будто он спросил меня, что я смотрела по телевизору. — Это кровь Веры. Она свалилась с лестницы. Она мертва.

— Боже праведный! — выдохнул он, а затем вбежал в дом; почтовая сумка хлопала его по бедру, Мне даже на ум не пришло не впустить его и спросить себя: чем бы это помогло, если бы я не впустила его?

Я медленно последовала за ним. Прежнее ощущение стеклянности прошло, но мне казалось, что мои ноги приросли к земле. Когда я подошла к подножью лестницы, Сэмми был уже на ее середине, стоя на коленях перед Верой. Предварительно он снял свою сумку, и она, раскрывшись, скатилась по лестнице, так ччо вокруг были разбросаны письма, газеты, журналы.

Я поднялась к Сэмми, с трудом переставляя ноги с одной ступеньки на другую. Никогда я не чувствовала себя такой уставшей. Даже после убийства Джо я не чувствовала себя такой уставшей, как вчера утром.

— Да, она мертва, — обернувшись произнес он.

— Ага, — ответила я. — Я же сказала тебе об этом.

— Я думал, что она не может ходить, — выдавил он. — Ты всегда говорила мне, что она не может ходить, Долорес.

— Ну что ж, — пожала плечами я. — Кажется, я ошибалась. — Я чувствовала, насколько глупо говорить подобные вещи, когда Вера лежит здесь вот так, но что еще оставалось говорить? В некоторой степени разговаривать с Джоном Мак-Олифом было намного легче, чем с этим тупицей Сэмми Маршаном, хотя бы потому, что я прекрасно понимала, в чем меня подозревает Мак-Олиф. В невиновности заключена одна проблема: более или менее вы не можете отделаться от правды.

— А что это? — спросил он и указал на скалку. Я оставила ее на ступеньках, когда прозвучал звонок.

— А ты как думаешь, что это? — ответила я вопросом на вопрос. — Клетка для птиц?

— Похоже на скалку, — ответил он.

— Очень хорошо, — произнесла я. Мне показалось, что мой голос доносится откуда-то издалека, будто он находится в одном месте, а я абсолютно в другом. — Ты можешь удивить всех, Сэмми, и представить интерес для науки.

— Да, но что скалка для теста делает на ступеньках? — спросил он, и я сразу же увидела, как он смотрит на меня. Сэмми не больше двадцати пяти, но его отец был в той поисковой партии, которая нашла Джо, и я вдруг поняла, что Дюк Маршан воспитал Сэмми и всех остальных своих недоумков с мыслью, что Долорес Клейборн-Сент-Джордж убила своего мужа. Вы помните, что невинный человек всегда более или менее зависит от правды? Когда я увидела, какими глазами Сэмми смотрит на меня, я сразу же решила, что в этот раз лучше менее зависеть, чем более.

— Я находилась в кухне и собиралась печь хлеб, когда она упала, — ответила я.

Еще одно относительно невиновности — любая ложь, которую вы решили высказать, всегда незапланированная ложь, невиновные люди не проводят часы, выстраивая свое алиби, как это сделала я, когда решила, что скажу о том, как пошла на Русский Луг, чтобы наблюдать за затмением, и больше не видела своего мужа. В ту секунду, когда ложь о выпечке хлеба сорвалась с моих уст, я поняла, что это вылезет мне боком, но если бы ты, Энди, увидел его взгляд — потемневший, подозрительный и испуганный, — ты бы тоже солгал.

Он поднялся на ноги и вдруг замер на месте, глядя вверх. Я проследила за его взглядом. То, что я увидела, было моей комбинацией, лежавшей на лестничной площадке.

— Мне кажется, она сняла рубашку, прежде чем упасть, — произнес он, не отрывая от меня взгляда, — Или спрыгнуть. Или сделать что бы там ни было. Как тебе кажется, Долорес?

— Нет, — ответила я. — Это моя рубашка.

— Если ты пекла хлеб в кухне, — очень медленно, как ребенок у доски, затрудняющийся решить задачку по математике, произнес он, — тогда что делает твое нижнее белье на площадке второго этажа?

Я не знала, что ответить. Сэмми спустился на одну ступеньку, потом еще на одну, двигаясь так же медленно, как и говорил, держась за перила и не сводя с меня глаз, и я сразу же поняла, что он делает: увеличивает расстояние между нами. Отступал, потому что боялся, что я могу столкнуть его так же, как, думал он, я столкнула Веру. И именно тогда я поняла, что буду сидеть вот здесь, где и сижу сейчас, и рассказывать то, что рассказываю. Его глаза почти кричали: «Тебе удалось это однажды, Долорес Клейборн, и, судя по тому, что рассказывал мой отец о Джо Сент-Джордже, это, возможно, было справедливо. Но что сделала тебе эта женщина, кроме того, что кормила тебя, предоставила тебе крышу над головой и платила тебе?» Однако еще больше в его глазах было

уверенности, что женщина, толкнув раз, может сделать это и дважды; а если сложится подходящая ситуация, она обязательно толкнет и в третий раз. А если она толкнет недостаточно сильно, чтобы произошло то, что она задумала, то она не станет слишком долго раздумывать, чтобы довести дело до конца другим образом. При помощи скалки из мрамора, например.

— Это тебя не касается, Сэм Маршан, — сказала я. — Занимайся своим делом. Мне нужно позвонить в «скорую помощь». Убедись, что собрал всю почту, прежде чем уйти, иначе тебе не поздоровится.

— Миссис Донован не нужна «скорая помощь», — ответил он, спускаясь еще на две или три ступеньки вниз, все так же не сводя с меня глаз, — и я никуда не уйду. Мне кажется, вместо «скорой» тебе лучше позвонить Энди Биссету.

Что, как ты знаешь, я и сделала. Сэмми Маршан стоял и наблюдал за мной. Когда я положила трубку, он подобрал разбросанные письма (постоянно оглядываясь через плечо, опасаясь, наверное, что я подкрадусь к нему со спины, держа скалку в руках), а потом встал у подножья лестницы, как сторожевой пес, загнавший в угол ночного вора. Мы молчали. Я подумала, что могу пройти через столовую и кухню по лестнице черного хода и забрать комбинацию. Но разве это поможет? Ведь он же видел ее. К тому же скалка все еще лежала на ступеньках, где я и оставила ее.

А вскоре пришел ты, Энди, вместе с Фрэнком, а чуть позже я пришла в наше новое, красивое здание полиции и дала показания. Это было вчера утром, так что, надеюсь, нет необходимости повторять все заново. Ты знаешь, что я ничего не сказала о комбинации, а когда ты, Энди, спросил меня о скалке, я ответила, что и сама не понимаю, как она оказалась там. Это все, что я могла придумать, по крайней мере до тех пор, пока кто-то не пришел и не снял запретную табличку с моих мозгов.

Подписав показания, я села в машину и поехала домой. Все прошло так быстро и спокойно — я имею в виду дачу показаний, — что это чуть не убедило меня, что мне не о чем беспокоиться. В конце концов я не убивала Веру; она действительно упала. Я продолжала повторять это и, когда уже подъезжала к своему дому, была почти убеждена, что все будет хорошо.

Но этого чувства хватило только, чтобы дойти от машины до дверей дома. В них торчала записка. Просто белый листок бумаги, вырванный из блокнота, который некоторые мужчины носят в заднем кармане брюк. «ТЕБЕ НЕ УДАСТСЯ СНОВА ВЫЙТИ СУХОЙ ИЗ ВОДЫ» — было написано в записке. И все. Черт, но этого было достаточно, правда?

Я вошла в дом и с треском распахнула окна в кухне, чтобы выветрить затхлый запах. Я ненавижу этот запах, кажется, теперь в доме пахнет так постоянно, несмотря на то что я ежедневно проветриваю комнаты. И это не только потому, что живу в основном у Веры — или жила, — ну, конечно же, частично и из-за этого тоже; но прежде всего потому, что дом мертв... так же мертв, как Джо и Малыш Пит.

У домов есть своя собственная жизнь, которую они получают от людей, живущих в них; я действительно так считаю. Наш маленький одноэтажный домишко пережил смерть Джо и отъезд двух старших детей на учебу; Селена уехала учиться в Вассар, получив полную стипендию (ее часть денег на обучение, о которых я так волновалась, ушла на покупку одежды и учебников), а Джо-младший поступил в университет в Ороно. Дом выжил даже после известия о том, что Малыш Пит погиб при взрыве казармы в Сайгоне. Это случилось почти сразу после его приезда туда и меньше чем за два месяца до окончания всей этой заварухи. Я видела по телевизору, стоящему в гостиной Веры, как последние вертолеты поднимались в небо над зданием посольства, и плакала, плакала. Я могла сделать это, не боясь того, что она может сказать, потому что в тот день Вера отправилась в Бостон на вечеринку.

Но после похорон Малыша Пита жизнь стала уходить из этого дома; после того как из дома ушли соболезнующие и мы остались втроем — я, Селена и Джо-младший, — мы как бы оказались одни во всем мире. Джо-младший говорил о политике. Он получил работу в городском управлении Мачиаса — не так уж и плохо для юнца, в чьем дипломе об окончании колледжа еще не высохли чернила, — и он подумывал о работе в законодательном органе штата через год-другой.

Селена немного рассказала о курсах, которые она вела в Олбани Джуниор Колледже — это было еще до того, как она перебралась в Нью-Йорк и стала писать для журналов, — а потом и она замолчала. Мы с ней убирали тарелки со стола, и вдруг я почувствовала себя неуютно. Резко обернувшись, я поймала на себе ее потемневший взгляд. Могу сказать вам, что я прочла ее мысли, — видите ли, родители иногда могут читать мысли своих детей, — но дело в том, что в этом не было никакой необходимости; я знала, о чем она думает, я знала, что эта мысль никогда не покидает ее. В ее глазах я прочла те же самые вопросы, что и двенадцать лет назад, когда она разыскала меня в огороде среди бобов и артишоков: «Ты сделала что-нибудь с ним?», и «Это моя вина?», и «Сколько мне еще расплачиваться за это?»

Я подошла к ней, Энди, и обняла ее. Она обняла меня в ответ, но тело ее было напряженным и твердым, как кочерга, и именно тогда я почувствовала, что жизнь ушла из дома. Это ощущалось, как последний вздох умирающего человека. Мне кажется, Селена тоже почувствовала это. Но только не Джо-младший; он до сих пор помещает фотографии нашего дома на предвыборных листовках — это напоминает, что он выходец из простой семьи, и я, заметила, что избирателям это нравится, — да, он так никогда и не почувствовал, что дом умер, потому что никогда по-настоящему не любил его. За что же ему было любить его? Для Джо-младшего этот дом был местом, куда он возвращался из школы, местом, где его отец издевался над ним и называл книжным червем-слюнтяем. Камберленд-холл — студенческое общежитие, где он жил, обучаясь в университете, стал для него более домом, чем семейное гнездо на Ист-лейн.

Однако это было домом для меня и Селены. Мне кажется, моя малышка продолжала жить в нем и после того, как стряхнула пыль Литл-Толла со своих ног; мне кажется, она живет здесь в своих воспоминаниях... в своем сердце... в своих снах. В своих кошмарах.

Этот затхлый запах — вы уже не можете избавиться от него, раз уж он появился в вашем доме.

Как-то я седа перед одним из раскрытых окон подышать свежим морским воздухом, когда у меня возникло какое-то странное чувство: я решила, что должна закрыть дверь. Парадное закрылось очень легко, но вот задвижка у задней двери была настолько неподатлива, что мне пришлось смазать ее машинным маслом. Наконец задвижка поддалась, и я поняла причину такого упрямства: обыкновенная ржавчина. Иногда я проводила пять-шесть дней подряд в доме Веры, но все же не могла припомнить, чтобы когда-нибудь у меня возникали проблемы с замками.

От одной мысли об этом мне стало дурно. Я пошла в спальню и прилегла, положив подушку на голову, как делала еще совсем маленькой девочкой, когда меня отсылали спать раньше времени за плохое поведение. Я плакала, плакала, плакала. Я бы никогда не поверила, что во мне столько слез. Я оплакивала Веру, Селену и Малыша Пита; мне кажется, я даже плакала о Джо. Но в основном я плакала из-за себя. Я плакала, пока у меня не заложило нос и не закололо в боку. Потом я заснула.

Когда я проснулась, было уже темно. Зазвонил телефон. Я поднялась и на ощупь добралась до гостиной, чтобы взять трубку. Как только я сказала «алло», кто-то — женский голос — произнес:

— Ты не должна была убивать ее. Надеюсь, тебе это понятно. Если закон не накажет тебя, это сделаем мы. Не такая уж ты и ушлая, как думаешь. Мы не хотим жить рядом с убийцей, Долорес Клейборн; по крайней мере пока на острове жив хоть один верующий христианин, чтобы воспрепятствовать этому.

Я была как в дурмане; сначала мне даже показалось, что я сплю. Когда же я поняла, что это не сон, на другом конце провода уже повесили трубку. Я направилась в кухню, намереваясь сварить кофе или достать баночку пива из холодильника, когда телефон зазвонил снова. В этот раз тоже говорила женщина, но уже другая. Она начала сквернословить, и я бросила трубку. Слезы комком застревали у меня в горле, но будь я проклята, если позволила себе расплакаться. Вместо этого я отключила телефон. Я вернулась в кухню и достала пиво, но мне не понравился его вкус, и я вылила содержимое банки в раковину. Я подумала, что единственное, чего я действительно хочу, так это глоточек шотландского виски, но после смерти Джо в доме не было ни капли крепких напитков.

Я налила себе стакан воды и тут поняла, что не могу выносить этого запаха — вода пахла медными монетками, которые какой-то ребенок целый день проносил в своем потном кулачке. Запах напомнил мне о той ночи в зарослях ежевики — как этот же самый запах донесло до меня легкое дуновение ветра, — и это навеяло на меня воспоминания о девчушке в полосатом платьице и с помадой цвета перечной мяты на губах. Я вспомнила и о том, как мне показалось, что женщина, в которую она превратилась, попала в беду. Я подумала о том, что с ней и где она, но я никогда даже не задумывалась, была ли она вообще, если вы, конечно, понимаете, что именно я имею в виду; я знала, что она была. Есть. Я никогда не сомневалась в этом.

Но это не важно; мой ум снова блуждает, а рот плетется за ним, как барашек за своей пастушкой. А я собиралась сказать только, что вода из кухонного крана нисколько не помогла мне — даже парочка кубиков льда не перебьет этот запах меди, — и я скоротала вечер у телевизора, смотря какой-то глупый водевильчик, прихлебывая экзотический напиток из одной из тех баночек, которые у меня всегда были припасены для сынишек-близнецов Джо-младшего в недрах моего холодильника. Я приготовила себе холодный ужин, но у меня пропал аппетит, так что, поковыряв в тарелке, я выбросила все в помойное ведро. Вместо этого я взяла еще одну баночку напитка и уселась в гостиной перед телевизором. Одно шоу уступало место другому, но я не заметила между ними ни малейшей разницы. Наверное, потому, что я не слишком-то вникала в суть происходящего на экране.

Я не пыталась решить, что же буду делать; говорят, что утро вечера мудренее, так как вечером мозг более склонен диктовать плохое. Что бы вы ни решили после захода солнца, девять шансов из десяти, что утром вам придется изменить свое решение. Поэтому я просто сидела, а когда закончились местные новости и началось ночное шоу, я заснула.

Мне приснился сон. Он был о Вере и обо мне, только Вера была такой, какой я впервые увидела ее, когда еще был жив Джо, а все наши дети — как ее, так и мои — были с нами и вертелись поблизости большую часть времени. В моем сне мы убирали посуду — она мыла, а я вытирала. Только делали мы это не в кухне; мы стояли перед маленькой плитой в гостиной моего дома. И это было странно, потому что Вера никогда не была в моем доме — ни разу за всю свою жизнь.

Однако в этом сне она была здесь. Она складывала тарелки в стоявшую на плите пластмассовую миску-не мои старенькие тарелки, а ее чудесный китайский фарфор. Она мыла тарелки, а затем передавала их мне, и каждая выскальзывала у меня из рук и разбивалась о кирпичи, на которых стояла плита. Вера говорила: «Ты должна быть осторожнее, Долорес, потому что когда происходят несчастные случаи, а ты неосторожна, то возникает чертовски много проблем».

Я обещала ей быть осторожной, и я старалась, но и следующая тарелка выскальзывала у меня из рук, и следующая, и следующая.

«А вот это уже нехорошо, — наконец-то произнесла Вера. — Посмотри, что ты натворила!»

Я посмотрела вниз, но вместо осколков тарелок кирпичи были усеяны мелкой крошкой фарфоровых зубов Джо и кусочками камня. «Не передавай мне больше ничего, Вера, — сказала я и расплакалась. — Мне кажется, я не могу больше мыть тарелки. Возможно, я слишком стара, я не знаю, но я не хочу разбить их все, это я знаю».

Однако Вера продолжала передавать мне тарелки, а я продолжала ронять их, — а производимый ими звук, когда они разбивались о кирпичи, становился все громче и, казалось, уходил в глубину, пока не перешел в непрерывный гул. Сразу же я поняла, что сплю, и этот гул не относится к моему сну. Просыпаясь, я так дернулась, что чуть не свалилась с кресла на пол. Раздалось еще несколько таких же гудящих звуков, и теперь я поняла, что это такое — дробовики, ружья.

Я встала и подошла к окну. Два пикапа ехали по дороге. В кузовах сидели люди, и казалось, что у всех них в руках ружья и каждую пару секунд они палят в небо. Последовала яркая вспышка, затем раздался жуткий грохот. По тому, как мужчины (я считаю, что это были мужчины, хотя не могу сказать наверняка) раскачивались из стороны в сторону — и по тому, как грузовички болтало из стороны в сторону, — я бы сказала, что вся эта компания была чертовски пьяна. Узнала я и один из грузовичков.

Что?

Нет, я не собираюсь рассказывать тебе этого — у меня и своих проблем достаточно. Я не хочу вмешивать кого-нибудь еще, кроме себя, в это дело с пьяной пальбой. В конце концов, может быть, я и обозналась.

Как бы там ни было, я подняла окно, когда увидела, что они целятся в низко висящие облака, а не во что-то конкретное. Я подумала, что они развернутся на широкой площадке у подножия нашего холма. Так они и сделали. Один из грузовичков чуть не перевернулся ~ ну разве это не было смешно!

Они вернулись, вопя и непрерывно стреляя. Сложив руки рупором, я крикнула что есть мочи:

— Убирайтесь отсюда! Не мешайте людям, которые пытаются заснуть! — Один из грузовичков так занесло, что он чуть не съехал в кювет. Так что мне кажется, я тоже здорово напугала их. Один из мужчин, стоявший в кузове этого грузовичка (тот, которого, как мне показалось, я узнала), вылетед за борт. У меня отличные легкие, и я спокойно могу перекричать всех их вместе взятых, если захочу.

— Убирайся с Литл-Толла, ты, проклятая убийца! — выкрикнул кто-то из них и пальнул в воздух. Но мне кажется, они просто хотели показать мне, какие они крутые ребята, потому что больше не повторили своей выходки... Я слышала, как шум моторов удалялся в направлении городка — и того проклятого бара, открывшегося в прошлом году, — мужчины раскачивались, размахивали руками и кричали, ну вы же знаете, как ведут себя пьяные мужики.

Что ж, это развеяло все мое плохое настроение. Я уже больше не боялась и уж, конечно, не хотела больше плакать. Я разозлилась, но не утратила способности думать и понимать, почему люди делают то, что делают. Когда моя ярость достигла предела, я остановила ее воспоминанием о Сэмми Маршане, о том, как выглядели его глаза, когда он стоял на коленях на лестнице и увидел мою комбинацию, а потом посмотрел на меня, — такие же темные, как океан перед штормом, такие же, как у Селены в тот день в огородике.

Я уже знала, что мне предстоит вернуться сюда, Энди. Но только после того, как уехали эти мужчины, я перестала тешить себя надеждой, что еще моту выбирать, что сказать, и что у меня есть путь к отступлению. Я поняла, что мне придется рассказать обо всем. Я легла в постель и мирно проспала до четверти девятого. Это было моим самым поздним пробуждением с тех пор, как я вышла замуж. Наверное, я отдыхала перед столь длинным ночным разговором,

Проснувшись, я намеревалась сделать это как можно скорее — горькое лекарство лучше принимать сразу, — но что-то отвлекло меня от этой мысли, прежде чем я вышла из дома, иначе я давно уже рассказала бы вам свою историю.

Я приняла ванну и, прежде чем одеться, включила телефон. Ночь прошла, и я чувствовала себя достаточно бодрой. Я решила, что если кто-то захочет позвонить и оскорбить меня, то я и сама смогу отпустить в его адрес парочку ругательств. Уверена, что не успела я еще надеть чулки, как телефон действительно зазвонил. Я сняла трубку, готовая дать отпор кому бы то ни было, когда женский голос произнес:

— Алло? Могу я поговорить с мизс Долорес Клейборн?

Я сразу же поняла, что звонят издалека, но не только из-за шума, отдающегося эхом в трубке. Я поняла это потому, что никто на острове не называет женщин «мизс». Вы можете быть «мис», а можете быть и «миссис», но никак уж не «мизс».

— Это я.

— Вам звонит Алан Гринбуш, — продолжала женщина.

— Забавно, — заметила я, — вы вовсе не похожи на Алана Гринбуша.

— Это звонят из его офиса, — сказала она, как будто я была неимоверной тупицей. — Вы будете разговаривать с мистером Гринбушем?

Она застала меня врасплох, я даже не сразу уловила имя — я знала, что слышала это имя прежде, но не могла вспомнить — где.

— А в чем, собственно, дело? — спросила я. Возникла пауза, как будто говорившей нельзя было раскрывать информацию подобного рода, а потом она сказала:

— Мне кажется, это касается миссис Веры Донован. Так вы будете разговаривать, мизс Клейборн?

Затем до меня дошло — Гринбуш, человек, присылавший все эти пухлые заказные письма.

— Ага, — ответила я.

— Простите? — не поняла она.

— Буду, — сказала я.

— Благодарю, — послышалось в ответ. Затем последовал щелчок, и я осталась стоять в нижнем белье. Ожидание продлилось недолго, но мне это показалось вечностью. Как раз перед тем, как он заговорил, я подумала, что разговор пойдет относительно тех случаев, когда я подписывала бумаги вместо Веры, — они поймали меня. Это было вполне возможно; разве вы не замечали, как одно несчастье влечет за собой другие?

Наконец Гринбуш отозвался:

— Мисс Клейборн?

— Да, это Долорес Клейборн, — ответила я.

— Вчера мне позвонили из местного отделения полиции на Литл-Толле и сообщили, что Вера Донован умерла, — сказал он, — Было уже поздно, когда я узнал об этом, поэтому я подождал до утра, чтобы позвонить вам.

Я подумала, что на острове есть люди, которые не особенно заботятся, в какое время они звонят мне, но, конечно же, я не сказала этого вслух.

Откашлявшись, он продолжил:

— Пять лет назад я получил письмо от миссис Донован, в котором содержалось указание сообщить вам о состоянии ее имущества в течение двадцати четырех часов после ее смерти. — Он снова откашлялся и добавил: — Хотя я потом частенько разговаривал с ней по телефону, это было последнее письмо, полученное от нее.

У него был сухой, нервный голос. Такой голос невозможно слушать.

— О чем вы говорите? — удивилась я. — Оставьте все эти отступления и наконец скажите мне!

Он мне сказал:

— Я рад сообщить вам, что, кроме небольшого пожертвования на сиротский приют в Новой Англии, вы единственная наследница, указанная в завещании миссис Донован.

У меня пересохло в горле; единственное, о чем я могла думать, так это то, как она все же попалась на трюк с пылесосом.

— Позднее сегодня вы получите подтверждающую телеграмму, — произнес он, — но я рад поговорить с вами еще до ее получения — миссис Донован очень настаивала на своем желании по этому вопросу.

— Ага, — заметила я, — она умела быть настойчивой.

— Я уверен, что вы скорбите о смерти миссис Донован — мы все скорбим, — но я хочу, чтобы вы знали, что теперь вы будете очень богатой женщиной, и если я могу помочь вам чем-нибудь в вашем новом положении, я буду так же рад, как и рад был помогать миссис Донован. Конечно, я позвоню вам после официального утверждения завещания, но я не думаю, что возникнут какие-то проблемы или отсрочки. Действительно...

— Подожди, приятель, — сказала я, скорее как-то прохрипела, проквакала, как лягушка в высохшем пруду. — О какой сумме денег вы говорите?

Конечно, я знала, что Вера богата, Энди; дело в том, что последние несколько лет она носила только фланелевые рубашки и сидела на диете, состоявшей из протертого супчика и детского питания, но это ничего не меняло. Я видела дом, видела машины, а иногда я отыскивала в бумагах, приходивших в пухлых конвертах, немного больше, чем только место для подписи. В некоторых были счета, а я знаю, что когда вы продаете пакет акций компании «Апджон» количеством в две тысячи или покупаете четыре тысячи акций компании «Миссисипи вэлли энд пауэр», то вряд ли вы закончите свои дни в приюте для бедных.

Я спрашивала не для того, чтобы потребовать кредитные карточки и заказать вещи из шикарных магазинов, — даже и не думайте об этом. У меня была более веская причина, чем эта. Я знала, что количество людей, считающих, что я убила Веру, скорее всего возрастет с каждым долларом, оставленным ею мне, и я хотела знать, чего мне ждать. Я думала, что это будет шестьдесят или семьдесят тысяч долларов... однако он сказал, что она пожертвовала определенную сумму на сиротский приют, следовательно, денег должно было оказаться меньше.

Было еще нечто, укусившее меня, — так в июне овод кусает вас за шею. Что-то неправильное было в том, что сказал Гринбуш. Однако я не могла понять, что именно не так, точно так же, как не могла сразу понять, кто такой Гринбуш, когда секретарша в первый раз произнесла его имя,

Он произнес нечто, что я не совсем расслышала. Звучало это вроде: «Лаб-даб-дэ — около-тридцати-миллионов-долларов».

— Что вы сказали, сэр? — переспросила я.

— Что после официального утверждения завещания, уплаты налогов и небольших издержек общая сумма составит около тридцати миллионов долларов.

Моя рука, державшая телефонную трубку, начала чувствовать себя так, будто я проспала на ней большую часть ночи... онемела внутри, а кожу пронзали тысячи иголочек. Ноги у меня тоже онемели, и сразу же весь мир снова стал стеклянным.

— Извините, — сказала я. Я слышала, что мой рот произносит слова очень четко и ясно, но вряд ли я имела хоть какое-то отношение к произносимым им словам. Он просто хлопал, как ставни на ветру. — У нас не очень хорошая связь. Мне показалось, что вы употребили слово «миллион». — Затем я рассмеялась, чтобы показать, что знаю, насколько это глупо, но какая-то часть меня думала, что это вовсе не глупо, потому что это был самый придурковатый смех, которым я когда-либо смеялась — гаа-гааа-гааа, что-то вроде этого.

— Я действительно сказал «миллион», — подтвердил он. — Чтобы быть точным, я сказал тридцать миллионов. — И знаете, мне показалось, что он бы захихикал, если бы эти деньги достались мне не через труп Веры Донован. Я думаю, что он был взволнован — что под его сухим, торопящимся голосом скрывается чертовское волнение. Я думаю, что он чувствовал себя вторым Джоном Бирсфордом, богатым чудаком, бросающим на ветер миллион баксов ради забавы в той старой телевизионной постановке. Он хотел продолжать вести мои дела, конечно, в этом была какая-то доля причины его взволнованности — у меня возникло чувство, что деньги — это как электропоезда для ребят его типа, и ему бы не хотелось молча наблюдать, как такое большое богатство, как Верино, уплывает из его рук, — но, я думаю, забавнее всего ему все же было слышать, как я бормочу что-то себе под нос.

— Я не слышу, — сказала я. Теперь мой голос был действительно настолько слаб, что я сама слышала себя с трудом.

— Мне кажется, я понимаю ваше состояние, — произнес он. — Это очень большая сумма, и, конечно, потребуется время, чтобы привыкнуть к этому.

— Но сколько это в действительности? — переспросила я, и в этот раз он рассмеялся. Если бы я могла добраться до него, Энди, мне кажется, я наподдала бы ему под зад.

Он снова повторил мне — тридцать миллионов долларов, а я подумала, что если моя рука будет продолжать неметь, то я просто выроню трубку из рук. Я почувствовала, как во мне нарастает паника. Как будто кто-то забрался внутрь моей головы и раскручивал там стальной трос. Я думала: «Тридцать миллионов», — но это были всего лишь слова. Когда я попыталась представить, что это значит, то в голове у меня возникла одна-единственная картинка из комиксов о Скрудже Мак-Даке, которые Джо-младший читал Малышу Питу, когда ему было годика четыре или пять. Я представила огромный подвал, набитый монетами и счетами, только вместо Скруджа Мак-Дака в смешных, спадающих с носа круглых очках, суетящегося вокруг всего этого богатства и размахивающего своими крылышками, я увидела себя, проделывающую то же самое в своих комнатных тапочках. Затем эта картинка исчезла, и я вспомнила, какими глазами Сэмми Маршан смотрел на меня, потом на скалку, а потом снова на меня. Они напомнили мне глаза Селены в тот день в огородике — такие же темные и вопрошающие. Затем я вспомнила о женщине, сказавшей мне по телефону, что на острове еще остались благочестивые христиане, которые не хотят жить рядом с убийцей. Я представила, что будут думать эта женщина и ее приятели, когда узнают, что смерть Веры принесла мне тридцать миллионов долларов... и от этой мысли я чуть было не запаниковала.

— Вы не можете сделать этого! — в отчаянии закричала я. — Вы не можете меня заставить взять их!

Теперь наступила его очередь сказать мне, что он плохо слышит — что связь очень плохая. И я тоже не удивилась. Когда человек типа Гринбуша слышит, как кто-то говорит, что ему не нужно тридцать миллионов, он считает, что это где-то испортилось оборудование. Я уже было открыла рот, чтобы повторить ему снова, что ему придется забрать все назад, что он может отдать все до последнего цента в приют для сирот, когда внезапно поняла, что именно было не так в происходящем. Это не просто ударило меня; это обрушилось на мою голову, как мешок, полный кирпичей.

— Дональд и Хельга! — воскликнула я. Наверное, я произнесла их имена, как участник какого-то телевизионного шоу, вспомнивший в последнюю секунду правильный ответ.

— Простите? — в замешательстве произнес он.

— Ее дети! — ответила я. — Ее сын и ее дочь! Эти деньги принадлежат им, а не мне! Они ее родственники! А я лишь всего-навсего экономка!

Последовала настолько продолжительная пауза, что я подумала, что нас разъединили, но я нисколько не сожалела. Честно говоря, мне становилось дурно. Я уже хотела повесить трубку, когда он произнес своим тихим странным голосом:

— Вы не знаете.

— Не знаю чего? — выкрикнула я. — Я знаю, что у нее были сын по имени Дональд и дочь по имени Хельга! Я знаю, что они были слишком заняты, чтобы навестить ее, но она всегда держала комнаты для них наготове, и, я думаю, у них найдется время разделить кучу монет, о которой вы говорили, теперь, когда она умерла!

— Вы не знаете, — снова повторил он. А потом, как бы задавая вопрос самому себе, а не мне, он произнес:

— Могли ли вы не знать, проработав у нее столько времени? Могли ли? Разве Кенопенски не говорил вам? — И, прежде чем я смогла выдавить из себя хоть слово, он начал отвечать на свои же вопросы. — Конечно, это возможно. Ведь был только пасквиль, появившийся на одной из внутренних полос местной газеты, и она держала это в секрете — тридцать лет назад это можно было сделать, если вы могли платить за свои привилегии. Я даже не уверен, были ли напечатаны некрологи. — Помолчав, он заговорил снова, как человек, только что открывший нечто новое для себя — нечто очень важное — о ком-то, кого он знал всю свою жизнь. — Она говорила о них, как будто они были живы. Все эти годы!

— О чем это вы там бормочете? — закричала я. Чувство было такое, будто что-то опустилось внутрь меня, и сразу же все вещи — мельчайшие подробности — стали складываться вместе в моем уме. Я не хотела этого, но это все равно продолжалось — Конечно, она говорила о них как о живых! Будто они были живы! У него была огромная компания в Аризоне — «Голден вест ассошиэйтс»! А она была модельером в Сан-Франциско... «Гайлорд фешенс»!

Знаете, Вера всегда читала толстые исторические романы, в которых женщины в сильно декольтированных платьях целовали мужчин в рыцарских доспехах (компания, выпускающая их, называлась «Голден вест» — это было написано золотыми буквами на обложке каждой книги), и почему-то в связи с этим я сразу же вспомнила, что Вера родилась в маленьком городишке Гайлорд, штат Миссури. Мне хотелось думать, что он назывался как-то по-другому — Гален или, может быть, Гальсбург — будто в тех книжках, — но я знала, что это не так. Однако дочь вполне могла назвать свое предприятие по производству одежды по названию городка, в котором родилась ее мать.

— Мисс Клейборн, — произнес Гринбуш, выговаривая слова тихим, немного взволнованным голосом. — Муж миссис Донован погиб в результате несчастного случая, когда Дональду было пятнадцать, а Хельге тринадцать...

— Я это знаю! — ответила я так, будто хотела убедить его, что раз уж мне известно это, значит, я должна знать все.

— ...и между миссис Донован о ее детьми возникли трения.

Это я знала тоже. Я вспомнила, какими притихшими были Дональд и Хельга, когда приехали на остров в День Поминовения в 1961 году на обычный летний отдых, и как люди заметили, что теперь они нигде не появляются все вместе, втроем, что было особенно странным, учитывая внезапную смерть мистера Донована год назад; обычно события, подобные этому, как-то сближают людей... хотя, мне кажется, горожане немного по-другому относятся к таким вещам. А потом я вспомнила еще нечто — то, что рассказал мне Джимми Де Витт осенью того года.

— Они поссорились во время обеда в ресторане четвертого июля 1961 года, — сказала я. — Мальчик и девочка уехали на следующий день. Я помню, как Кенопенски перевез их на материк на большом катере.

— Да, — согласился Гринбуш. — Так уж случилось, что от Теда Кенопенски мне известна причина их ссоры. Той весной Дональд получил водительские права, и миссис Донован подарила ему в день рождения машину. Девочка, Хельга, сказала, что она тоже хочет машину. Вера — миссис Донован — кажется, пыталась объяснить дочери, насколько это глупая затея, что машина ей ни к чему, ведь у нее нет прав, и она не сможет пользоваться ею до пятнадцати лет. Хельга ответила, что это справедливо для Мэриленда, но не для штата Мэн — здесь она может получить права в четырнадцать... а ей столько и было. Это могло быть правдой, мисс Клейборн, или это только юношеская фантазия?

— В те годы это так и было, — ответила я, — хотя мне кажется, что сейчас нужно достичь пятнадцатилетнего возраста. Мистер Гринбуш, машина, которую она подарила мальчику в день рождения... это был «корвет»?

— Да, — ответил он, — откуда вам это известно, мисс Клейборн?

— Наверное, когда-то я видела ее фотографию, — ответила я, но вряд ли сама слышала свой голос. Я слышала голос Веры. «Я устала видеть, как они вытаскивают лебедкой этот «корвет» в лунном свете, — сказала мне Вера, лежа на ступеньках лестницы, — Устала видеть, как выливается вода через открытое стекло дверцы со стороны пассажира».

— Странно, что она хранила эту фотографию, — заметил Гринбуш, — Видите ли, Дональд и Хельга погибли в этой машине. Это случилось в октябре 1961 года, почти день в день через год после смерти их отца. Кажется, за рулем была девочка.

Он продолжал говорить, но вряд ли я слышала его, Энди, — моя голова слишком была занята собственным заполнением пустот и проделывала это настолько быстро, что я подумала, что, должно быть, знала, что они умерли... где-то в глубине души я знала это. Гринбуш сказал, что они выпили и ехали на машине со скоростью более ста миль в час, когда девочка просмотрела поворот и влетела в карьер; он сказал, что, скорее всего, оба были мертвы задолго до того, как эта двухместная жестянка затонула.

Он сказал, что эта тоже был несчастный случай, но я наверняка знала намного больше о несчастных случаях, чем он.

Возможно, Вера тоже разбиралась в них лучше, и, возможно, она всегда знала, что ссора в то лето не имела никакого отношения к тому, получит или нет Хельга водительские права в штате Мэн; это просто была самая подходящая кость, которую они могли выбрать. Когда Мак-Олиф спросил меня, о чем мы спорили с Джо до того, как он принялся душить меня, я ответила: в основном из-за денег, но подспудно из-за пьянства. Поверхностная сторона людских ссор частенько отличается от мотивов, толкающих к ссорам, насколько мне известно. Вполне возможно, что в действительности они спорили о том, что случилось с Майклом Донованом год назад.

Вера и ее управляющий домом убили мужа, Энди, — она сделала это, но выкрутилась и рассказала мне об этом. Ее тоже никто не обвинил, но иногда в семье находятся люди, знающие отгадку головоломки, не известную закону и полиции. Такие, как Селена, например... а возможно, и такие, как Дональд и Хельга Донованы. Представляю, как они смотрели на Веру в то лето до того, как возникла ссора в ресторане, и они покинули Литл-Толл навсегда. Я снова и снова пыталась вспомнить, какими были их глаза, когда они смотрели на нее, были ли они похожи на глаза Селены, когда она смотрела на меня, но не могла сделать этого. Возможно, со временем мне это удастся, но теперь я уже ничего не загадываю наперед, если вы понимаете, о чем я говорю.

Я знаю, что шестнадцать лет — это слишком мало для такого озорника, каким был Дон Донован, чтобы пользоваться водительскими правами, — он был слишком молод, а если еще учесть и такую скоростную машину, вот вам и рецепт несчастья. Вера была достаточно умна, чтобы понимать это, и она должна была быть напугана до смерти, она ненавидела мужа, но сына любила больше жизни. Я знаю это. Однако она все равно подарила ему машину. Несмотря на все свое упрямство и выносливость, она положила эту ракету ему в карман и, как выяснилось позже, в карман Хельге тоже, хотя Дон, возможно, только начинал бриться. Мне кажется, это было чувство вины, Энди. Может быть, мне хочется думать, что это было только это, потому что мне не хочется думать, что к этому примешивался страх, что парочка богатеньких детишек, таких как они, могли шантажировать свою мать и вымогать что-то за смерть своего отца. Я действительно так не думаю... но и это возможно; это вполне возможно. В мире, где мужчина может потратить месяцы, пытаясь затащить в постель собственную дочь, мне все кажется возможным.

— Они мертвы, — сказала я Гринбушу. — Это вы пытаетесь сказать мне?

— Да, — ответил он.

— Они были мертвы более тридцати лет, — произнесла я.

— Да, — снова подтвердил он.

— И все, что она рассказывала мне о них, — продолжала я, — было ложью.

Он снова прокашлялся — этот человек, наверное, один из самых великих чистильщиков горла в мире, если взять нашу с ним сегодняшнюю беседу за образец, — а когда он снова заговорил, то голос его почти напоминал человеческий.

— Что она рассказывала вам о них, мисс Клейборн? — спросил он.

А когда я подумала об этом, Энди, я поняла, что она чертовски много говорила о них начиная с лета 1962 года, когда приехала постаревшей лет на десять и похудевшей фунтов на двадцать. Я помню, как она сказала мне, что Дональд и Хельга, возможно, проведут здесь август, и попросила позаботиться, чтобы в доме было достаточно их любимого печенья — единственное, что они ели на завтрак. Я помню ее приезд в октябре — именно в ту осень Кеннеди и Хрущев решали, подносить или нет горящую спичку к фитилю, — когда она сказала мне, что в будущем я буду видеть ее чаще. «Надеюсь, детей ты тоже увидишь», — сказала она, но что-то еще было в ее голосе, Энди... и в ее глазах...

В основном я думала о выражении ее глаз, когда стояла, держа в руке телефонную трубку. Все эти годы она рассказывала мне о них тысячи подробностей: в какую школу они ходят, чем они занимаются, с кем встречаются (Дональд женился, и у него двое детей, согласно Вере; Хельга вышла замуж и развелась), но я поняла, что с лета 1962 года ее глаза говорили мне только одно, повторяя это снова и снова: они умерли. Ага... но, может быть, не полностью умерли. Хотя бы пока тощая, костлявая дурнушка — экономка на острове у побережья штата Мэн — продолжает верить, что они живы.

Отсюда мои мысли перекинулись к лету 1963 года-к лету, когда я убила Джо, к лету солнечного затмения. Вера была увлечена затмением, но не только потому, что это было неповторимое в жизни событие. Ничего подобного. Она влюбилась в него потому, что считала, что оно сможет привлечь Дональда и Хельгу обратно в Пайнвуд. Она повторяла мне это снова и снова. И нечто в ее глазах, нечто, знавшее, что они мертвы, исчезло из ее глаз весной и в начале лета того года.

Знаешь, о чем я думаю? Я думаю, что в период марта — апреля 1963 года и до середины июля Вера Донован была сумасшедшей; мне кажется, что в эти несколько месяцев она действительно считала их живыми. Она стерла воспоминания об этом вытаскиваемом лебедкой «корвете» из своей памяти; она вернула себе веру в то, что они живы, огромным усилием води. Веру в то, что они живы? Нет, это не совсем так. Затмение разума вернуло их в жизнь.

Она сошла с ума, я уверена, что она хотела оставаться сумасшедшей — может быть, чтобы вернуть их, может, в наказание себе, а может, и то и другое одновременно, — но под конец в ней оказалось слишком много здравого смысла, и она не смогла сделать это. В последнюю неделю, дней за десять до затмения, все начало рушиться. Я помню это время, когда все мы, работавшие на нее, готовились к этой безбожной экспедиции в день солнечного затмения и к последовавшей за ней вечеринке, как будто все это происходило только вчера. Она была «в хорошем расположении духа весь июнь и начало июля, и где-то к тому времени, когда я отослала своих детей, все пошло в тартарары. Именно тогда Вера стала действовать, как Красная Королева из «Алисы в Стране Чудес», орала на людей, как только они попадали в ее поле зрения, увольняла прислугу направо и налево. Мне кажется, именно тогда ее последняя попытка вернуть их к жизни разлетелась вдребезги. Она знала, что они мертвы и никогда уже больше не оживут, но она все равно продолжала подготовку к вечеринке. Можешь ли ты представить, какой волей и силой духа нужно для этого обладать?

Я помню, как Вера сказала мне еще кое-что — это случилось после того, когда я вступилась за уволенную ею девочку Айландеров. Когда Вера позже подошла ко мне, я была уверена, что она тоже уволит меня. Вместо этого она протянула мне сумочку с приспособлениями для наблюдения за затмением и произнесла то, что было — по крайней мере, для Веры Донован — извинением. Она сказала, что иногда женщине приходится быть заносчивой стервой. «Иногда, — сказала она мне, — стервозность остается единственным, на чем еще может держаться женщина».

«Ага, — подумала тогда я. — Когда не остается ничего другого, то только это. Это всегда остается»...

— Мисс Клейборн? — донесся до меня голос, и тогда я вспомнила, что все еще разговариваю по телефону; я абсолютно забыла об этом. — Мисс Клейборн, вы слышите меня?

— Да, — ответила я,

Он спросил меня, что Вера рассказывала мне о них, и его вопрос навеял на меня воспоминания о тех томительно печальных и грустных старых временах ., но я не могла понять, как я могу рассказать ему все это, как можно рассказать обо всем этом человеку из Нью-Йорка, которому ничего не известно о нашей жизни на Литл-Толле. О том, как она жила на Литл-Толле. Иначе говоря, человеку, досконально осведомленному в делах могущественных «Апджон» и «Миссисипи вэлли энд пауэр», но абсолютно не разбирающемуся в проводах, вылезающих из углов. Или в зайчиках из пыли.

Он снова заговорил:

— Я спросил, что она рассказывала вам...

— Она просила меня держать их комнаты наготове и запасаться их любимым печеньем, — ответила я. — Она говорила, что хочет быть готовой, потому что они могут решить вернуться в любой момент. — И это было очень близко к правде, Энди, — в любом случае достаточно близко к истине для Гринбуша.

— Это поразительно! — воскликнул он тоном какого-то чудаковатого доктора, выносящего приговор: «Это опухоль мозга!»

Потом мы поговорили еще немного, но я плохо помню, о чем именно. Кажется, я снова говорила ему, что ничего не хочу, ни единого цента, и по его голосу — пытающемуся понравиться мне и немного подбодрить одновременно — я поняла, что, когда он разговаривал с тобой, Энди, ты ни единым словом не обмолвился ему о тех подробностях, которые сообщил тебе и всем желающим слушать на Литл-Толле Сэмми Маршан. Наверное, ты посчитал, что это его не касается, по крайней мере пока.

Я помню, как говорила ему, чтобы он передал все сиротскому приюту, а он отвечал, что не может сделать этого. Он говорил, что это смогу сделать я, как только состоится официальное утверждение завещания (но ничто в мире не сможет его убедить в том, что я сделаю это, когда наконец-то пойму, что именно произошло), но сам он не может распоряжаться деньгами.

В конце я пообещала, что позвоню ему, когда буду чувствовать себя «в более ясном состоянии ума», как это определил он, а затем повесила трубку. Я еще долго простояла на месте как вкопанная — минут пятнадцать, может, даже больше. Меня... била дрожь. Я чувствовала себя так, будто все эти деньги были на мне, прилипнув ко мне так же, как прилипали мухи к клейкой ленте, которую мой отец развешивал у дверей дома каждое лето, когда я была еще маленькой. Я боялась, что они еще плотнее прилипнут ко мне, как только я пошевелюсь, что они просто задушат меня.

Когда я наконец-то пошевелилась, я совсем забыла, что собиралась прийти в полицейский участок, чтобы встретиться с тобой, Энди. Честно говоря, я чуть не забыла, что все еще не одета. Я натянула старенькие джинсы и свитер, хотя платье, которое я собиралась надеть, аккуратно лежало на кровати (оно и до сих пор лежит там, если кто-нибудь не ворвался в дом и не сделал с ним то, что хотел бы сделать с человеком, которому оно принадлежит). Вдобавок ко всему я надела старенькие галоши.

Я обогнула огромный белый камень, торчавший между сараем и зарослями ежевики, и остановилась, чтобы послушать, как ветер шумит в этих колючих зарослях. Оглянувшись, я увидела светлый цементный квадрат на месте нашего колодца. От увиденного по моему телу пробежала дрожь, как бывает с больным гриппом, когда он выходит на холод. Я пересекла Русский Луг и спустилась вниз, туда, где Ист-лейн переходит в Ист-Хед. Там я постояла немного, позволив морскому ветру откинуть назад мои волосы и омыть меня чистотой, как он всегда делал это. Затем я спустилась по ступеням.

О, не беспокойся, Фрэнк, — веревка у их начала и предупреждающий знак все еще там; просто меня уже не пугала эта шаткая лестница после всего, через что мне пришлось пройти.

Пошатываясь, я спустилась к подножью лестницы. Когда-то там была старая городская пристань — так старожилы называют Симмонс-док, — но теперь от нее ничего не осталось, кроме нескольких блоков и двух огромных железных колец, вбитых в гранит и полностью покрытых ржавчиной. Мне они казались глазницами в черепе дракона, если, конечно, такие существа вообще есть. В детстве я часто ловила рыбу на этом месте, Энди, и мне кажется, я считала, что этот док всегда был здесь, но море уносит и разрушает все.

Я села у подножья лестницы, подложив под себя галоши, и провела там следующие семь часов. Начался отлив, потом прилив, а я все еще сидела там.

Я пыталась подумать о деньгах, но не могла собраться с мыслями. Возможно, люди, обладающие таким богатством всю жизнь, могут, но я не могла. При каждой попытке я вспоминала взгляд Сэмми Маршана, когда он увидел скалку.. а потом посмотрел на меня. Это все, что значат деньги для меня сейчас — потемневший взгляд Сэмми Маршана и его слова: «Я думал, что она не может ходить. Ты всегда говорила мне, что она не может ходить, Долорес».

Потом я подумала о Дональде и Хельге. «Обманешь меня раз — позор тебе», — ни к кому не обращаясь, произнесла я, сидя у кромки воды так близко, что иногда волны накатывали мне на ноги, вздымая вокруг белые фонтанчики пены. «Обманешь меня дважды — позор мне». Но ведь Вера никогда не обманывала меня по-настоящему... ее глаза никогда не обманывали меня.

Я вспомнила, как однажды меня поразил один факт — это произошло в конце шестидесятых ~ ведь я никогда больше не видела их, ни разу с того времени, когда управляющий отвез их на материк в тот июльский день 1961 года. И это настолько выбило меня из колеи, что я нарушила свою давно установившуюся привычку никогда не заговаривать о них, пока Вера сама не заговорит о них первой. «Как поживают дети, Вера? — спросила я ее — слова слетели с моего языка прежде, чем я успела даже подумать, — клянусь Господом, что именно так оно и было. — Как они действительно поживают?»

Я помню, что Вера вязала в гостиной, сидя в кресле у окна, а когда я спросила, то она замерла и взглянула на меня. В тот день солнце сильно припекало, оно отбрасывало яркие полоски на ее лицо, и было нечто настолько пугающее в том, как она выглядела пару секунд, что я чуть не закричала. И только потом, когда это ощущение прошло, я поняла, что причиной возникшего страха были ее глаза. Глубоко посаженные черные круги в лучах яркого солнца, когда все остальное было светлым. Они напомнили мне его глаза, когда он смотрел на меня из глубины колодца... как будто маленькие черные камешки или кусочки угля вдавили в белую пасту.

Секунду или две мне казалось, что я вижу привидение. Потом она слегка пошевелила головой, и это снова была Вера, это она снова сидела здесь и выглядела так, будто слишком много выпила с вечера. Такое бывало уже не раз.

«Я действительно не знаю, Долорес, — ответила она. — Мы отдалены друг от друга».

Это все, что она сказала, и это все, что ей нужно было сказать. Все эти ее рассказы об их жизни — придуманные истории, как я теперь уже знаю, — не открыли мне больше, чем эти несколько слов: «Мы отдалены друг от друга». Большую часть времени, проведенного мной в Симмонс-доке, я размышляла над этим ужасным словом. Отдалены. От одного звука этого слова мурашки пробегают у меня по коже.

Я сидела там и собирала все эти старые кости в последний раз, а потом я отложила их в сторону и ушла с того места, где провела большую часть дня. Я решила, что для меня не так уж и важно, чему поверишь ты или кто-то другой. Все кончено, видишь ли, — для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги... и для Долорес Клейборн тоже. Так или иначе, но все мосты, соединяющие прошлое с настоящим, сожжены. Знаешь, у времени тоже есть свое пространство, как то, что находится между островом и материком; только единственный паром, на котором можно пересечь его, это память, а она как корабль-призрак — если тебе захочется, чтобы она исчезла, то со временем так и произойдет.

Но прочь все это — забавно, как все поворачивается, разве не так? Я помню, что промелькнуло у меня в голове, когда я снова поднималась по этим шатким ступеням, — то же самое, что и в тот момент, когда Джо высунул свою руку из колодца и чуть не сбросил меня вниз: «Я вырыл яму для своих врагов, но сам упал в нее». Мне казалось, когда я ступала по этим полуразрушенным ступеням (допуская, что они выдержат меня и во второй раз), что это наконец-то произойдет и что я всегда знала, что этим кончится. Просто мне понадобилось больше времени, чтобы упасть в мой колодец, чем это потребовалось Джо.

У Веры тоже была своя яма — и, если я и благодарю судьбу, так это за то, что мне не пришлось грезить о том, чтобы мои дети вернулись в жизнь, как это делала она... хотя иногда, когда я разговариваю по телефону с Селеной и слышу, как заплетается у нее язык, я думаю, существует ли какой-нибудь выход для любого из нас из боли и печали наших жизней. Я не смогла обмануть ее, Энди, — позор мне.

Но все равно, я приму все, что будет, и, стиснув зубы, все выдержу — совсем как раньше. Я не устану помнить о том, что двое из моих детей все же живы и что они преуспевают вопреки тому, чего ожидали от них на Литл-Толле, когда они были еще детьми, преуспевают наперекор тому, кем они могли бы стать, если бы их папаша не накликал на себя несчастный случай 20 июля 1963 года. Видишь ли, жизнь — это не выбор и предложение, и если я когда-нибудь забуду поблагодарить Бога за то, что моя девочка и один из моих сыновей живы, в то время как Верины дети мертвы, я отвечу за грех неблагодарности, когда предстану перед Высшим Судом. Мне бы не хотелось этого. На моей совести и так достаточно грехов — и, возможно, на моей душе тоже. Но послушайте меня, вы трое, выслушайте хоть это, если вы так ничего и не поняли: все, что я сделала, я сделала ради любви... из-за естественной материнской любви к своим детям. Это самая сильная любовь в этом мире, и самая смертельная. Нет на земле человека сильнее и страшнее, чем мать, которая боится за своих детей.

Когда я снова поднялась на вершину лестницы, я вспомнила свой сон и замерла наверху, как раз за веревкой ограждения, глядя на море, — сон, в котором Вера продолжала передавать мне тарелки, а я продолжала ронять их. Я вспомнила звук камня, пробивающий голову Джо, и то, насколько эти два звука похожи.

Но в основном я думала о Вере и о себе — двух суках, живших на каменном выступе у побережья штата Мэн, живших вместе последние несколько лет. Я подумала о том, как эти две суки засыпали вместе, когда на старшую наваливались страхи, и о том, как они проводили годы в этом огромном доме, — две стервы, которые закончили тем, что большую часть времени тратили на то, чтобы досадить друг другу. Я вспоминала, как она обманывала меня, а я отвечала ей тем же, и как радовалась каждая из нас, когда ей удавалось выиграть раунд. Я думала о том, каково ей приходилось, когда зайчики из пыли наседали на нее, как она визжала и дрожала, будто животное, загнанное в угол более сильным соперником, собирающимся разорвать его на куски. Я вспомнила, как садилась на ее кровать, обнимала ее и чувствовала эту ее дрожь. Я ощущала ее слезу на своей шее, и я гладила ее жиденькие ломкие волосы и говорила:

«Ш-ш-ш, дорогая... ш-ш-ш. Эти проклятые зайчики все ушли. Ты в безопасности. Со мной ты в безопасности».

Но если я и поняла что-нибудь, Энди, так это то, что они никогда не исчезают по-настоящему, никогда. Может показаться, что вы избавились от них и что больше нигде нет ни пылинки, а потом они появляются снова, они напоминают лица, они всегда похожи на лица, и лица, на которые они похожи, всегда те, которые вы никогда не хотели бы видеть снова — во сне или наяву.

Я думала и о том, как она лежала на ступеньках лестницы и говорила, что устала и хочет умереть. И когда я стояла на той шаткой площадке у моря в мокрых галошах, я отлично понимала, почему именно я стою на этих настолько прогнивших ступенях, что даже озорники не станут играть здесь после уроков, Я тоже устала. Я прожила свою жизнь так, как смогла. Я никогда не боялась работы, никогда не плакала из-за того, что мне предстоит сделать, даже когда это были ужасные вещи. Вера была права, когда говорила, что иногда женщине приходится быть стервой, чтобы выжить, но быть стервой — это тяжкая работа, должна я вам сказать, и я очень устала. Я хотела умереть, и мне показалось, что еще не поздно снова спуститься вниз, но что в этот раз мне вовсе не обязательно спускаться до подножья... если я не хочу этого.

Затем я снова услышала ее — Веру. Я услышала ее голос так же, как в ту ночь у колодца, не только внутри себя, но и ушами. Только в этот раз голос был более глухим, должна я вам сказать, тогда, в 1963 году, он был более живым.

— О чем это ты можешь еще думать, Долорес? — спросила она своим противным тоном Поцелуй-Меня-в-Задницу. — Я заплатила большую цену, чем ты; я заплатила больше, чем кто-либо когда-нибудь, но я все равно продолжала жить с этой покупкой. Я сделала даже больше, чем это. Когда у меня остались только зайчики из пыли и сны, я взяла сны и сама составляла их. Пыльные зайчики? Ну что ж, они добрались до меня в самом конце, но я же прожила с ними до этого столько лет. Теперь и у тебя их целое стадо, но если тебя покинуло мужество, которое было у тебя, как в тот день, когда ты сказала мне, что увольнение девочки Айландеров самое несправедливое дело, тогда давай. Давай, прыгай. Потому что без мужества, Долорес Клейборн, ты всего-навсего еще одна глупая старуха.

Я вздрогнула и оглянулась, но вокруг простирался только Ист-Хед, темный и мокрый от морской пыли, висящей в воздухе в ветреные дни. Кругом не было ни души. Я еще немного постояла там, наблюдая за плывущими по небу облаками — мне нравится наблюдать за ними, они так высоко, и они такие свободные и молчаливые, как будто там у них есть свои пути и задачи, — а затем я повернулась и направилась к дому. Раза два или три я останавливалась, чтобы немного передохнуть, потому что от долгого сидения на сыром воздухе у подножья лестницы у меня стала невыносимо ныть спина. Но я переборола и это. Вернувшись домой, я приняла три таблетки аспирина, села в машину и отправилась прямо сюда.

Вот и все.

Нэнси, я вижу, что у тебя накопилась уже целая дюжина этих маленьких кассеток, а твой чертов магнитофончик, должно быть, сейчас уже выйдет из строя. Как и я, но я пришла сюда, чтобы сказать свое слово, и я сказала его — каждое слово, и каждое мое слово — правда. Поступи со мной как полагается, Энди; я сыграла свою роль, теперь я в согласии с самой собой. Я считаю, что это единственное, что действительно имеет значение; это и знание того, кто ты на самом деле. Я знаю, кто я: Долорес Клейборн, через два месяца мне исполнится шестьдесят шесть, я демократка и всю свою жизнь прожила на острове Литл-Толл.

Мне кажется, я хочу добавить еще две вещи, Нэнси, прежде чем ты нажмешь на кнопочку «СТОП». В конце концов, во всем мире выживают только стервы... а что касается зайчиков из пыли — да черт с ними!

ЭПИЛОГ

«Элсуортс Америкэн», 6 ноября 1992 года, страница 1:

ЖЕНЩИНА С ОСТРОВА ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

С Долорес Клейборн с острова Литл-Толл, давней компаньонки миссис Веры Донован, также с Литл-Толл, были сняты всяческие подозрения в смерти миссис Донован на прошедшем вчера в Мачиасе специальном заседании суда, ведущем дела о скоропостижной смерти. Целью дознания было определить, умерла ли миссис Донован «неправильной смертью», что означает смерть в результате небрежности или преступления. Спекуляции, касающиеся роли мисс Клейборн в смерти ее хозяйки, были основаны на том, что миссис Донован, которая психически была абсолютно здорова в момент своей смерти, оставила своей компаньонке большую часть своего имущества. Из некоторых источников стало известно, что имущество оценивается в десять миллионов долларов...

«Бостон глоб», 20 ноября 1992 года, страница 1:

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В СОМЕРВИЛЛЕ

АНОНИМНЫЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ ЖЕРТВУЕТ 30 МИЛЛИОНОВ ДЕТСКОМУ ПРИЮТУ

Ошеломленные директора детского приюта в Новой Англии объявили сегодня на пресс-конференции, что Рождество пришло несколько раньше для 150 сирот в этом году благодаря тридцатимиллионному пожертвованию от анонимного благодетеля.

«Мы получили известие об этом удивительном пожертвовании от Алана Гринбуша, очень известного адвоката из Нью-Йорка», — сказал заметно шокированный Брендон Джеггер, председатель директоров приюта. — Это совершенно невероятно, но человек, скрывающийся за подарком — я бы сказал, ангел, стоящий за ним, — серьезно решил скрыть свое имя. Безусловно, все люди, имеющие отношение к приюту, исполнены благодарности».

«Уикли тайд» 4 декабря 1992 года, страница 16:

НОВОСТИ С ОСТРОВА ЛИТЛ-ТОЛЛ

По сообщениям Вездесущей Нэтти

Миссис Лотта Мак-Кенделесс на прошлой неделе выиграла в рождественской лотерее двести сорок долларов, вот так подарочек к Рождеству! Вездесущей Нэтти та-а-а-а-к завидно! А если серьезно, то поздравляю, Лотти!

Филио, бpaт Джонсона Керона, приехал из Дерри помочь Джону законопатить его катер «Дипстар», пока катер находится на пристани. В этом благословенном сезоне ничто уже не напоминает «братскую любовь», не так ли, мальчики?

Джолан Абушон, проживающая вместе со своей внучкой Патрицией, наконец-то сложила картинку-головоломку, состоящую из двух тысяч кусочков, в прошлую среду; Джолан говорит, что она собирается отметить свое девяностолетие в следующем году, сложив головоломку из пяти тысяч кусочков. Да здравствует Джолен! Так держать!

Долорес Клейборн придется сделать летние покупки на этой неделе! Она узнала, что ее сын Джо — «Мистер Демократ» — собирается отдохнуть от трудов праведных в августе и провести Рождество на острове вместе с семьей. Она также сообщила, что ее дочь, известная журналистка Селена Сент-Джордж, впервые за двадцать лет навестит родные места! Долорес говорит, что чувствует себя «очень благословенной». Когда Вездесущая Нэтти спросила, будут ли они обсуждать последнюю статью Селены, опубликованную в «Атлантик мансли», Долорес только улыбнулась и сказала: «Уверена, нам найдется о чем поговорить».

В реанимационном отделении местной больницы Нэтти слышала, что Винсент Брэгг, сломавший руку во время игры в футбол в октябре...